ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

6

1987

6 НОВЫЙ МИР 1987

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. **№ 6** **Июнь, 1987 г.**

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ — **Стихи разных лет** 3

ОЛЕГ БАЗУНОВ — **Мореплаватель.** Распространенные комментарии к одному ненаписанному рассказу 7

СЕМЕН ЛИПКИН — **Девять стихотворений** 45

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — **Котлован,** повесть. Публикация, подготовка текста и примечания М. А. Платоновой. Вступительное слово С. Залыгина 50

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ — **Дренаж,** стихи 124

В. ПЬЕЦУХ — **Два рассказа** 128

ДМИТРИЙ КЕДРИН — **Из ранних стихов.** Публикация Светланы Кедриной 140

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ — **Авансы и долги** 142

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ФРИДКИН — **Воронцово** 159

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. ВИЛЬМОНТ — **Борис Пастернак.** Воспоминания и мысли. Публикация и подготовка текста Е. Н. Вильмонт Вступительное слово О. Чухонцева 165

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. БУРТИН — **«Реальная критика» вчера и сегодня** 222

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стр.

Литература и искусство 240

Е. Старикова. Люди обыкновенные и необыкновенные.

Константин Кедров. Отчет о трудном пути.

Ю. Лотман. Возвращаясь к истокам.

Александр Носов. Живой образ Толстого.

Политика и наука 253

В. Кантор. Трудный путь к цивилизации.

Михаил Буянов. Странствия Георга Форстера.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. ЯКОВЛЕВ — **Закон бетонной стены** 260

КОРОТКО О КНИГАХ:

Евг. Канчуков.— Фридеберт Туглас. Небесные всадники. Новеллы, миниатюры, маргиналии Фридеберт Туглас Маленький Иллимар. Роман, новеллы, миниатюры, маргиналии ✦

В. Сикорский.— Евгений Винокуров. Ипостась. Стихи. Евгений Винокуров. Самая суть. Стихи ✦

Илья Фоняков.— Д. Максимов Русские поэты начала века. ✦

Н. Макарова — Григорий Улаев В дни годины горькой ✦

А. Гангнус.— Е. В. Анисимов Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. ✦

С. Белов.— И. Е. Баренбаум, Н. А. Костылева Книжный Петербург — Ленинград 267

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

© Журнал «Новый мир», 1987.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Женский портрет

Дочурку чудную баюкая,
Разнеженная в прах и в пух,
тысячегрудая, сторукая,
стоишь под завистью старух,

блестишь здоровьем в палисаднике,
свежа, как утренний надой,
и за тобою день на заднике
написан краской молодой.

На нем в воздушной пене мылятся
пеленки или облака,
и ты сияешь, мать кормилица,
слепой бутылью молока.

Петропавловский собор

На чухонском камне и трясине
бесновался царственный топор.
По монаршей милости Трезиний
прямо к небу выводил собор.

В Гаге, Копенгаге и в Стекольне
бомбардиру дикому Петру
тихо откликались колокольни,
стоя на предутреннем ветру.

И на грани ветхого рассвета
прямо в космос на какой-то съезд
ангел улетает, как ракета,
ставя на земном пространстве крест.

***

Под шапками каштанов старых
на грядках лавочек, чисты —
пенсионеры на бульварах,
как бледноглазые цветы.

Из полинялых незабудок,
как бы открыв тихонько дверь,
смиренно смотрится рассудок
в такое краткое теперь.

От рук, трудами удрученных,
от мудрых рук куда-то вбок,
как пончик, катится внучонок,
стряпухи-жизни колобок.

В те дни

В те дни, когда ужом мой дикий пращур
еще не вился возле Перводрева
и тело тощее тащил и плющил ящер,
по животу земли распластывая чрево
и голову подняв, как кособокий ящик,
боялся неба и планет звенящих,
во дни свирепого накала и нагрева,
во дни великих вод, кишмя кипящих,
и папоротников чешуйчатопокровных,
во дни любовной страсти хладнокровных
и скользкой похоти чудовищ полуспящих,
в те дни, когда летали, и катались,
и сталкивались, и братались,
друг другу и гудели и трубили
родные поезда, и монопланы,
и броненосцы, и автомобили,
когда пропарывали океаны
ракеты, взмахивая плавниками,
еще тогда, орудуя веками,
природа-рукосуйка во припадке
веселой силы строила догадки,
изображая вживе на модели,
что с ней самой случится в самом деле.

Рерих

Фуга

Ты смесь из снега, льда, и неба, и заката,
отравленная высотой лазурь.
По каменным хребтам стучит арба арата,
где зорь разлита розовая дурь.
Ах эта вышина и бездна нежилая,
где можно медленно сходить с ума!
Перед тобой разверзлась Himalaya —
страна, где блещет вечная зима.
Но все в тенях, как будто неживые,
стоят тибетские костры сторожевые
и охраняют в Божью Землю [1] вход.
Мохнатый бродит возле скал народ.
Не шелохнется каменная масса,
и из скупой земли не бьет родник,
и говорит скуластый проводник:
— Монастыри и храмы — это Хласа[2].
А на большом снегу стоят, как знаки,
как иероглифы диковинные, яки.
Они стоят горбатою стеной,
рогатой и лохмато-шерстяной.
Они жируют мирно и легко,
несут тяжелое, по пуду, молоко.

[1] Перевод слова «Лхаса».
[2] Более правильное название Лхасы.

А при вратах буддического храма,
разодранный, как божья монодрама,
огромный, сизо-черный, словно яма,
сидит разинутый бог смерти Яма
и лижет брюхо красным языком.
С такою темной сказкой я знаком,
и пахнут свечки красной панихидой,
и я стою в куренье ста свечей,
и молча я молюсь: «Эх, Боже мой, не выдай
меня великой ямине вещей!»

На ярых высях, в стороне от бед,
у хриплой смерти на кругом пороге,
разламывая горные отроги,
и на сползающей бог весть куда дороге
стоит жемчужным чучелом Тибет,
и в Ведах его веденье сокрыто,
во шлоках [3] заклинательных санскрита.

Бегом от жара в горы скачут льдины,
снега сухие порохом шуршат.
От чистой белизны недвижимы вершины,
и в них сквозит душа Упанишад,
когда таинственно бормочет ум:
«Ом мани падме хум,
Ом мани падме хум» [4].

А ламы лысы, и сам Будда пас их,
отары в желтых или в красных рясах.
Бесчисленно в стадах монгольских приращенье.
Спит в Петербурге Азия твоя,
о позлащенное коловращенье
с пугливой ланью бытия.

«Ом мани падме хум»,— бормочет стадо
и смотрит в небо угловатым лбом.
Открыто, словно в грозный храм ограда,
бессмысленное слово «о м».

Что наша жизнь?
Не ячья, не коровья,
а человечья? И тибетский врач
мне говорит и врет в ответ: «Не плачь!
Противу смерти есть запас здоровья».
Здоровье в нас — как личной смерти завязь,
и мы живем, самим себе не нравясь,
и говорим надгробные слова,
и криком врач прокалывает завесь:
«Что? Крыса там? Бьюсь об заклад, мертва!»

Да кто же сдох? Мышонок или я?
Течет Нева простором нелюдским.
По Петербургу Азия моя
проходит бастионом Щербатским [5],
с лицом бурхана [6], долу не клонясь,
как брахман в шубе или русский князь.

---

[3] Размер санскритской (древнеиндийской) поэзии и, соответственно, священные изречения, написанные этим размером.

[4] Буддийская молитва. Примерный перевод: «Привет тебе, сокровище в цветке лотоса». Слово «ом» — фактически непереводимый священный возглас.

[5] Князь Ф. И. Щербатской — выдающийся индолог и тибетолог.

[6] Монгольская литая статуя, изображение буддийского святого.

А петербургская зима поет
по-блоковски и по-кабацки,
и бастион мне лапу подает
по-княжески и просто по-щербатски.
И я когда-то честью дорожил —
нет, не монашеской, а всероссийской! —
и я когда-то как отшельник жил
поблизости от храмины буддийской.
И вспоминается мне невзначай:
пугливый, словно в зоопарке лама,
в Дарджиллинге сосет душистый чай,
как гость и пленник, далай-лама.
Средь строгих бриттов тяжелы ему
монашеские нудные оковы,
и приглашает в Хласу потому
размашистого князя Щербатского.
А лань — как лама в круге бытия,
беспомощно-смиренная мадонна.
И в Петербурге Азия моя
и в золоте, и в камне, и бездонна.
И не грущу я о своих потерях,
пусть я в годах и пусть мой груз велик,
я, как дубовый древлерусский Рерих,
подъемлю в горы свой мордовский лик.
И шерпы над вершиной вознеслися
и заперли последние слова:
Россия, Азия, не мышь, не крыса,
но тварь животная, и все еще жива.

И, в челюсти зажав, как бы бессмертья кара,
меня жует, и душит, и трясет
глубь ледяная Гауризанкара [7]
со стужей — стражею космических высот.
Я ханский внучек, маленький малай [8] я,
обличий мне не надобно иных!
И дыбится судьбою Himalaya.
Жизнь — как скопленье пауз ледяных.

---

[7] Санскритское название горы Эверест.
[8] Мальчик (*татарск.*).

ОЛЕГ БАЗУНОВ

★

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

Распространенные комментарии к одному ненаписанному рассказу

Произведение художественной литературы не нуждается в предисловиях. Это означало бы в какой-то мере оправдывать его появление. Печатаем же мы Мандельштама и Цветаеву, Пастернака и Заболоцкого без предисловий. «Мореплаватель» Олега Базунова также не нуждается в каких-либо предисловиях-оправданиях: вдумчивый, внимательный читатель сам поймет, что перед ним явление, событие нашей литературы. И тем не менее мне хочется сказать несколько слов об этом произведении.

Я думаю, что в наш век, когда мы так невнимательно относимся к окружающей природе: проносимся мимо нее на автомобилях, теплоходах, самолетах, на поездах, не замечаем нового, что в ней делается,— очень важно остановиться, присмотреться к мелочам природы, к ее нуждам, ко всему тому, что происходит в микромире природы. Макромиром природы занимаются — серьезно занимаются — наши писатели-публицисты. Но микромир также заслуживает внимания. Заслуживает внимания и тот мир, который существует в комнате, непосредственно за окном, повадки домашних животных, даже поведение воды, ее частиц, поведение волны. Ведь эти наблюдения связаны с красотой, это тоже ведь вопросы экологии, экологии эстетической и нравственной, потому что внимательное отношение к деталям окружающей жизни — это то, что современному человеку нужно, нужно для его психологического здоровья. Произведения Базунова взывают к этому психологическому здоровью, к необходимой в нашей жизни неторопливости, которой мы сейчас лишены. Мы должны прикоснуться к земле, чтобы получить от нее силу.

Я верю в то, что XXI век будет веком гуманитарной культуры прежде всего потому, что техническая культура уже зашла в такую стадию, когда она перестает быть управляемой, она начинает пожирать сама себя, и природа начинает пожираться ею независимо даже от желания человека: это вызывается необходимостью. Какая-то остановка, какая-то передышка, какой-то взгляд на природу человека не спешащего, человека доброго крайне необходимы в нашей жизни. Я верю, что Базунова не только будут читать в спокойной обстановке люди спокойного XXI века (я оптимист), но что у него появится довольно много сторонников, которые поймут необходимость такой прозы.

«Мореплаватель» Базунова — это произведение музыкальное, это музыкальная проза, и, как во всяком музыкальном произведении, в нем нельзя выкинуть одну ноту и заменить ее другой: либо произведение принимается в целом, либо не принимается. Это произведение культуры. Оно требует от читателя медленного чтения. В дороге, на ходу можно читать детективы.

Мне бы хотелось написать большую статью о прозе Базунова и об ее эстетическом значении: я просто чувствую потребность поделиться с читателем тем, что я испытываю при чтении Базунова.

Д. С. ЛИХАЧЕВ.

«В то раннее утро, когда море, в самом конце ночи — так как еще недавно, проснувшись в очередной раз, мальчик слышал все тот же угрожающий рокот — решившее, видимо, вдруг и неузнаваемо измениться, превратившись в лазурное, сверкающее на солнце, ласковое и нежное пространство, только еле-еле, у самого края бормо-

тавшее само с собою о чем-то крохотными волнами и похожее почему-то на прекрасную женщину, поутру с задумчивой и нежной улыбкой перебиравшую пряди еще не заплетенных волос... В то раннее утро мальчик...»

Итак, приступая к настоящим комментариям, я до самой последней минуты, до последнего мгновения находился в некотором колебании. Дело в том, что хотя я собираюсь комментировать рассказ, не написанный мною, но не написанный не в том смысле, что его вовсе даже как намека на что-либо реальное не существует, а в том, что не существует ни продолжения, ни конца этого рассказа, существует же — вот уже полтора-два года — одно лишь единственное его начало.

В колебании же до самого последнего мгновения я находился потому, что, не написав еще и первой строки будущих комментариев, я уже носился с этим своим началом как с писаной торбой, не зная, куда же в конце концов поместить его — в конец, в начало, в середку,— или вовсе вынести его за пределы и поместить в примечание или в приложение. Ведь дело-то в том, что начало это, будучи написано полтора-два года назад, по духу, по манере своей должно заметно отличаться от комментариев и, являясь первотолчком их возникновения, в их потоке должно оказаться совершенно инородным телом наподобие той самой писаной торбы, о которой я уже нашел случай упомянуть.

Но вот чем ближе придвигался ко мне во времени то и дело малодушно отодвигаемый мною в будущее момент решающего приступа и, можно сказать, уже в самую последнюю фазу этого приближения, когда до черепахи, как говорится, нельзя уже было не дотянуться, я наконец окончательно решил не выносить наличествующее начало за пределы, а поместить его в самом начале. Раскинув умом, я припомнил, что и в природе встречаются варианты, когда вроде бы совершенно инородное тело становится вроде бы неотъемлемой частью совершенно нового целого. Возьмем, к примеру, какой-нибудь минерал... Посмотрите, как привольно вкраплен в него (о, конечно же, под неумолимым воздействием бушевавших когда-то температур и давлений!) какой-либо иной минерал, являясь уже неотторжимой частью первого минерала. И ведь свободная комбинация этих двух минералов и становится отныне как раз той характерной особенностью проистекшего минерала, за которую, любуясь ею, мы теперь-то как раз и ценим его.

Или взять хотя бы дерево, которое в процессе развития, роста обволокло собою кусок какой-либо чугунной ограды,— остальную ограду потом, за ветхостью, могли снести, ликвидировать, а обломок ее мог так и остаться в живом дереве погруженным в ствол его, обволоченным оплывающей древесиной, и мы любуемся этим возникшим во времени вроде бы совершенно случайным соединением металла и дерева, тогда как само то дерево вопреки превратной случайности, претворяя вред в пользу, годами, а может, и десятилетиями разъедает этот обломок железа своими едкими древесными соками и разносит частицы его по всему составу, по всему стволу своему, в каждую веточку и в каждый листок.

Что же касается самого факта моего вдруг возникшего желания комментировать начало ненаписанного рассказа, то об этом, пожалуй, можно сказать лишь следующее: нет ничего удивительного, что у меня когда-то был начат, но не окончен какой-то рассказ. Ведь даже у великих писателей, во всякие их особо плодообильные осени (или же лета, весны и зимы), появлялись на свет божий начала, в будущем так и не увидевшие своего продолжения. То ли в дрогнувшей гениальной руке ломались вдруг гусиные перья и, как перебежавший дорогу заяц, отвращали этим от продолжения; то ли само по себе начало это, явившись мимолетным капризом гениального и щедрого до расточи-

тельности воображения, не понесло в себе внутренних энергий и импульсов для полного своего воплощения, став тем самым мертворожденным или скорее обреченным на скорую гибель бесплодным побегом; то ли, наконец, продолжению его — начала — помешала какая-то внешняя, но серьезная причина, после рокового воздействия которой автор, по стечению жизненных обстоятельств, несмотря на постоянно живущее в нем и периодически воспламеняющееся в его сознании желание, зов к осуществлению когда-то оставленного начала, к своей, а еще более к нашей досаде, так и не мог осуществить его... Но во всех перечисленных и, может быть, во многих еще не перечисленных случаях, хотя каждый раз в разной степени, все или почти все неосуществленные начала помянутых нами великих писателей доносят до нас некоторую своеобразную прелесть, некоторую влекущую тайну. Ныне мы можем лишь так или иначе гадать, под какой уклон потекло бы то или иное гениальное воображение, как и почему бы происходили там события, куда бы повлекли их развивающиеся характеры... А так как в тайне произведения, а тем более гениального произведения, а тем более начатого, но не оконченного гениального произведения, всегда мерцает, становясь то менее, то более доступной нашему прозрению, тайна личности и судеб самого гениального автора... И вот эта возведенность тайны в тайну и в еще одну тайну незавершенности, оставшейся в тайне, и сообщает не имеющему ни продолжения, ни конца началу своеобразную прелесть будто вдруг найденного обрывка манускрипта в самом расцвете необъяснимо погибшей цивилизации.

Но то — начало гениального автора... Что же касается не завершенного мною начала, то, само собой разумеется, моя творческая натура никогда не порождала никакого такого хотя и обреченного на затухание, но мощного и прекрасного протуберанца фантазии. Никогда, спешу вас заверить, оно — какое-либо начало мое — не могло бы само по себе донести до грядущих времен ни своеобразной прелести, ни таинственно привлекающей тайны...

Причиной же, полтора или два года назад прервавшей мою работу над более чем скромным началом моим, явились не резвый зверек, не сломанные гусиные перья, а неожиданное и серьезное недомогание одной моей дальней родственницы, страстной почитательницы знаменитого иноплеменного императора и полководца,— недомогание, как всегда потребовавшее предельного напряжения не столько даже физических,— да и конечно же, не столько физических,— сколько моральных и нервных сил и энергий, ну а через последние, потом уже, как следствие, конечно же, и физических сил.

Если же постараться быть еще более точным, то необходимо будет признать, что эта внешняя чисто причина, пресекшая мою творческую работу, совпала с жестоким кризисом, заложенным, так сказать, в развитии самой этой работы, то есть писомого мною рассказа. Я имею в виду, так сказать, внутренний, и окончательный, крах его.

Но о плачевном крахе этом несколько ниже, а здесь я хочу еще раз подчеркнуть, что в отличие от великих и гениальных писателей, и даже просто больших писателей, и даже писателей средней руки я в своем личном, более чем скромном литературном хозяйстве, далеко не насчитывающем ста разных начал, не могу да и не желаю, возможно, позволить себе расточительствовать, оставляя без дела, без полезного употребления даже малый кусочек, малый совсем отрывочек, хотя бы в виде этого вот моего непродолженного и незаконченного начала, не имеющего в себе сколько-нибудь заметной событийной завязки или какой-либо любопытной интриги.

Пуская же в ход в данный момент именно это начало, я имею в виду использовать со временем, если то суждено будет, и все прочие накопившиеся в моих ящиках куски и начала и все те куски и начала, которые, возможно, появятся у меня впоследствии.

Итак: «Когда мальчик...»

Но нет, я все же не стану полностью приводить здесь все пять или шесть страниц текста начала моего ненаписанного рассказа — минерал минералом и дерево деревом, мои же комментарии все же не минерал и не дерево. Я лучше постараюсь изложить вкратце содержание упомянутого начала, сопровождая изложение это, изредка лишь, подлинной выдержкой.

Дело в том, что на маленькую железнодорожную станцию на берегу южного моря однажды, по причинам глубоко семейного кризиса, прибывал и временно оставался на попечении бабушки некий мальчик, приблизительно десятилетнего возраста.

Впервые оказавшийся на берегу безостановочно бегущего к его стопам моря, наш мальчик...— нужно сказать, что именно с этого мгновения главным и одним из двух единственных действующих героев рассказа оставался лишь мальчик, мать же, привезшая его и сдавшая с рук на руки бабушке, вскоре убывала с фигурирующей субтропической станции надолго и в не известном никому направлении. Итак, наш мальчик вскоре же «совершенно определенно уразумевал, что ровный угрожающий шум или рокот, который все рос и рос, пока они к нему приближались,— это шум морского прибоя и что шум этот, как-то странно сливаясь с оглушительной тишиной, недавно испытанной им на платформе, а также с тревогой, вот уже около месяца как поселившейся где-то внутри его, над животом, и жившей там, не покидая его ни на минуту независимо от того, что он делал, что говорил, куда спешил, над чем смеялся или о чем думал»... «и потому, наверное, а может быть... да и наверняка не только потому, когда на следующее утро»... «после тревожного сна на новом месте, под шум моря и шум проносящихся где-то над ним и пронзительно вскрикивающих поездов»... рано-рано утром, когда только что встало солнце, мальчик, вышедший взглянуть на море и обследовать бабушкин сад, внезапно встречал в саду этом (или на самой границе этого сада) некую девочку, «что с такой же легкостью и так же внезапно заполнила его, как дерзкая птица, с лета впархивающая в чужое гнездо».

И далее говорилось в рассказе, что уже много, много спустя, следуя по жизненным нелегким дорогам и время от времени оглядываясь в туманное прошлое и прислушиваясь к тому, что где-то в самой глубине памяти оставалось жить в нем от далекого детства, сильнее всего звучала в нем мысль именно об этой девочке, как будто подчинившей и даже вобравшей в себя и шум того моря, и ту тишину на платформе, и даже то беспокойство, ту тоску и тревогу, что сосали тогда его где-то над животом, под тощей мальчишеской грудью.

Далее, примерно в середине начала рассказа, был применен развернутый, усиливающий и подчеркивающий значение описываемых событий повтор, и так как развернутый уже в ином несколько плане повтор этот действительно должен был иметь большое значение в постепенно набиравшем ход (но, увы, и так же неумолимо подвигавшемся к краху!) трудном моем рассказе, то я привожу его здесь целиком:

«В то раннее утро, когда море, в самом конце ночи, — так как еще недавно, проснувшись в очередной раз, мальчик слышал все тот же его угрожающий рокот — решившее, видимо, вдруг и неузнаваемо измениться, превратившись в лазурное, сверкающее на солнце, ласковое и нежное пространство, только еле-еле, у самого края бормотавшее само с собою о чем-то крохотными волнами и похожее почему-то на прекрасную женщину, поутру с задумчивой и нежной улыбкой перебирающую пряди еще не заплетенных волос... В то раннее утро мальчик, стоявший над тыквенной плетью, непонятно как пролезшей в колючую изгородь, вздрогнул вдруг от неожиданно

и сверху откуда-то решительно прозвучавшего голоса и, взглянув вверх и ощутив тут же в груди своей нечто похожее на электрический вихрь сокрушительной силы, но сдержавшись и переведя дух незаметно, довольно твердо, хотя и сознав тут же всю тщету и напрасность данного своего утверждения, заявил, что только что и стремглав выпорхнувшая из-под ног его курица — это их курица, то есть бесспорно им узнанная пестрая курица его родной бабушки и что если курица эта и снесла ненароком яйцо на чужой территории — чего не бывает! — то яйцо это законное их, то есть бабушкино, бесспорно, яйцо...»

Вот этот-то развернутый сложно повтор, завершенный свежо так, но и неопределенно повернутой древней проблемой, и являлся как бы кульминацией начала оставшегося незавершенным рассказа, после которой наступал уже почти безостановочный и окончательный спад.

Как вам известно, неосуществленный рассказ начинался с временного союза «когда»: «Когда мальчик...» — ну и т. д. И все, особенно первые фразы его изобиловали, перенасыщены были этим «когда». А известно ведь, что поставленный в самом начале и повторенный вслед за тем кряду в нескольких идущих одно за другим предложениях подобный союз дает как бы возможность с первых же слов, и довольно существенно, двинуть повествование, придав ему как бы некий мощный вращательный импульс. Получается нечто вроде раскручиваемого маховика или достаточно тяжеловесного какого-нибудь колеса на оси, вокруг которой — оси — затем начинают круговое движение, уже в иной плоскости, цепляющиеся друг за друга события наподобие — если использовать здесь такое сравнение — тех далеких ландшафтов, что начинают свое медлительное кружение по обе стороны отваливающего от пристани судна после первых же ударов машины, после первых же оборотов дейдвудного вала и слитых с ним оборотов винта.

И действительно, несмотря на многие существенные, сознательно опущенные мною при изложении стилистические несуразицы и огрехи, несмотря на некоторую вялость, мой рассказ — нужно отдать ему справедливость — кое-как двинулся с места. Мой рассказ кое-как двинулся с места, но... порок, вскоре же приведший его к уже известному краху, был заложен в нем, так сказать, еще до его появления, до нанесения первых его слогов на бумагу, он был заложен в самой неотчетливости чувства и замысла автора — точнее, в несоответствии стремлений его и возможностей, а еще точнее, во внутренней несвободе его, автора, слепо, упорно стремящегося влить несоответствующее содержание в не соответствующий уже более сосуд. Отсюда-то это не способное совершенно к полету домашнегусиное махание крыльями, отсюда эти натужно сколачиваемые фразы, отсюда эти фистулой, петухом срывающиеся звуки. Отсюда, наконец, это как бы взбегание на гору с последующим неумолимым сползанием и скатыванием восвояси.

Но что поделать! Всем свойственно ошибаться, и, как говорится, — как можно еще пытаться себя утешить — худа без добра не бывает.

Вспомним-ка лучше, но уже не минерал и не дерево — отныне мы оставим их в совершенном покое, — а то, как в детстве или даже в гораздо более солидном возрасте мы бросали в ручей — в весенний — от тающих бурно снегов или в ручей, образовавшийся во время буйного летнего ливня, щепку или тут же выструганную лодочку и как, затая желание, даже «задумав» что-либо, ревниво следили за нею, чтобы ее, паче чаяния, не прибило к какому-то берегу, а если ее прибивало все же, то хотя тут же мы и отвлекались от этого, по существу, конечно же, малозначащего события, то все же

по душе нашей проходила некая едва уловимая тень; если же лодочку не прибивало и если она, в пределах поля нашего зрения, увеличенного в детстве бегущими вдоль ручья ногами, не попадала в пенный затор, то мы наслаждались мечтательной мыслью о том, что вот, мол, ее, щепку или лодочку нашу, повлечет таким образом из потока в поток и вынесет наконец в открытое море, а там... все далее, далее по всевозможным морям и мировым океанам...

Или вспомним когда-то и где-то встреченный нами в морских просторах косо торчащий и мерно колеблемый, плывущий откуда-то и куда-то — уже не щепку, не лодочку,— а какой-либо солидный предмет — сундук ли, бочонок ли,— плывущий солидно и сосредоточенно, почти как будто с сознанием важного и явного лишь ему назначения, с полнейшим — во всяком-то случае видимым — безразличием к вам со всеми вашими бесчисленными кораблями и шлюпами.

Вспомним, как вы всей душой сочувствовали тогда его неведомому предназначению и желали только, чтобы предмета этого как можно дольше никто не вылавливал и чтобы он плыл так без всяких помех как можно дольше и дальше все с тем же видом сосредоточенного в себе предмета, предмета в себе. И если вы хотели когда-либо своими руками пустить по морю подобный предмет, вы его не бросали у самого берега — там его лишь избило б о камни или тут же упрямо выбросило бы обратно на берег,— а брали крепкую лодку и, отойдя в ней подалее, благополучно спускали там свой предмет в покатые, темные и чистые волны.

Вот так приблизительно, забыв совершенно о неудачных сравнениях с минералом и деревом, я попытаюсь опустить в пологие волны мое «начало»: пусть плывет себе по воле стихий. Почему бы не допустить хотя малой возможности далекого и счастливого плавания, коли плаванье это не ограничено сроками и коли молить все причастные этому силы о максимальном содействии. Мы же время от времени, правда, без помощи какой-либо летательной техники, а своим собственным лётом, будем наведывать его в разных ответственных пунктах... А пока пусть вольно и спокойно плывет себе.

Странное дело, почему это меня порой так тянет к морской тематике? То я мысленно сочиняю какие-то сказки и басенки о рыбах и море, то начинаю писать какой-то рассказ, где море играет довольно-таки важную роль, то даже задумываю в некотором роде крупное повествование на ту же самую тему... Странно, не правда ли? Тем более странно, если учесть, что по судьбе своей я как будто бы сухопутен до мозга костей.

Правда, в юности мне привелось немного поплавать, а два или три раза я даже попадал на море в более или менее серьезные переплеты. Но какому-либо настоящему, бывалому моряку об этих моих переплетах смешно и рассказывать — все это какая-то чепуха, какая-то капля в море по сравнению с их, моряков этих, суровыми, тяжкими опытами, — мне даже неловко вспоминать о них, о переплетах этих, в присутствии некоторых моих близких родственников... И все же иногда я нет-нет да и рассказываю некоторым из них об этих своих переделках, тем более что как в одной, так и в другой переделке, несмотря на испытанные волнения и — скажу более — страхи, я все же остался скорее доволен, чем недоволен своим поведением (не состоянием, а поведением!).

Да, я сухопутен, и то, что я сухопутен, совершенно бесспорно, но до мозга костей ли? — вот в чем вопрос. Ведь даже человек, всю жизнь прозябающий в самом центре бескрайней и почти безводной пустыни и ровным счетом не знающий — допустим подобное — ничего ни о море, ни об океане, по самому естественному контрастному состоянию своей человеческой психики может вдруг увидеть во сне, например, море воды или даже наяву мечтать о некоем водяном

изобилии, с огромной силой зовущем и влекущем его и так похожем в нашем-то привычном для нас представлении на обыкновенное море...

Но благо с ним, с этим пустынным жителем. В моем случае все гораздо сложнее и необъяснимее: ведь практически-то я никогда не испытывал какого-либо серьезного недостатка в воде. Не знаю, что уж там и когда повлияло на мой душевный состав, но я не свободен от тяги к морю: стоит мне на какой-нибудь невзрачной картинке увидеть кренящийся в волнах кораблик, стоит мне увидеть какую-нибудь пузатую, ребристую лодочку, стоит замедлить шаги, задержаться посередине ближайшего к заливу моста, заглянуть вниз с него, туда, где гранитное острие режет стремительно бегущую воду, и, сохраняя в сознании образ острия и воды, повести взгляд свой несколько выше, почувствовать, как мост вместе со мной плывет вверх по течению; стоит услышать похлюпыванье воды среди свай или смолистый запах каната на пристани; стоит приметить вошедший в устье и ставший на якорь по его середине корабль, представить, как в лабиринте железных отсеков дробят по отвесным ступеням подкованные железом ботинки, как еще полный долгих и утомительных просторов матрос жадно глазеет на берег, на звенящий, игрушечный, сыплющий искры трамвай, на равнодушные и не совсем равнодушные, различимые трудно в деталях фигурки зевак — жителей и, конечно же, жительниц... Стоит мне только приметить, представить все это, как подымается во мне нечто сродное сквозняку в сторону взморья, что буйно подхватывает и уносит со столов и шкафов до того мирно лежавшие на их тусклой поверхности листы и бумаги.

Там медные, толстостекольные иллюминаторы — и за ними вода и воздух: то вода, а то воздух; там ветер на палубах, и ветреный бак, и ветреный ют, там сутулые неутомимые птицы, скрипящие подобно заржавелому гаку, там вы на ветру — вы на ветру у самого леера...

Но что растравлять душевные раны! Дай только волю себе... Дай только волю своим неудовлетворенным желаниям... Ведь чаще всего в человеке гнездится не одно и даже не два желания, и какому из них, из этих гнездящихся в человеке желаний, главенствовать — решают между собою сами желания. (О, конечно, конечно же, не без участия как душевных изъянов, так и положительных человеческих качеств!)

И вот, как видно, не морские просторы были предначертаны мне судьбою...

Но вернемся-ка, собственно, к самим комментариям.

Итак, что же было в действительности и чего вовсе не было?

Был ли тот мальчик и была ли та девочка? Была ли та станция, то море и добрая бабушка? Наконец, был ли тот вихрь сокрушительной силы и средневековые душевные пытки?

Что отвечать на все эти вопросы? Например, нет, мол, мальчика не было? Конечно же, не было! Хотя там, на той станции (станция-то определенно была), по берегу того самого моря (оно тоже было), временами носилась целая стайка разновозрастных мальчиков (приблизительно от пяти до тринадцати лет), да и девочек тоже.

Но не было, безусловно, ни электрических вихрей, ни жестоких душевных процессов, ни средневековых пыток душевных. Все это фантазии. Да, да, все это чисто художественные фантазии, серия хитрых формальных приемов, шутка, и только. О каких это внутридушевных процессах, каких таких пытках средневековых и страшном раскаленном железе можно всерьез говорить и тем более писать в наше время? Да о них, собственно, и речи-то не было. Ничего подобного не было, нет и быть не могло.

Все было, напротив, до крайности серо и буднично. До того серо, что даже можно было тут же, не уходя с каменистого берега, с той

самой кромки штормового прибоя — дом-то был рядом,— готовить пищу на керосинке или даже на примусе, потому что в наличии было и то и другое. До того все было серо и буднично, что от скуки, от медлительности и однообразия текущего времени, каждый раз с интересом, с острым нетерпением даже, ожидалось такое, казалось бы, совершенно рядовое событие, как регулярно, каждый день, в одни и те же часы выводимая, проводимая, уводимая по берегу на водопой и на горные пастбища пара коней. (Вот еще один из многих примеров того, каких удивительных трансформаций и превращений можно ждать в горнилах художества. Дело в том, что той курицы, так внезапно выскакивающей из-под ног у героя, так же как ненароком снесенного ею яйца на чужой территории, породившего уйму проблем, в действительности не было вовсе. Была лишь пара коней, как-то странно в фантазии автора претворившаяся в огромную курицу.)

О, уж коль всерьез зашла речь об этих несколько грузных (пожалуй, даже значительно грузных!) конях иноземной породы, коль мы их затронули, то те были действительно превосходные, можно сказать, грандиозные кони, с могучими и скульптурными формами, принимая которые во время купания — вздумай только коней этих выкупать, — бедному морю, должно быть, каждый раз приходилось бы насколько-то выходить из своих берегов.

Правда, внимание маленькой девочки, временно проживающей в том самом доме, куда по ходу рассказа прибывал наш герой, почему-то менее всех окружающих занимали слишком-то, видимо, в глазах ее грандиозные, да и грузные, кони.

Эту девочку, не похожую совершенно на ту, что спустя какое-то время возникла в рассказе, гораздо больше привлекал вид яркого моря, регулярно выбрасываемые им — морем этим — на берег деревяшки и хитрые ракушки, привлекали каленые камешки и их превращения на глазах у нее — окуни только в море их или брызни только на них водою — из серых, невзрачных почти в драгоценные (потому-то, наверное, она то и дело и окунала свои драгоценные камешки или брызгала то и дело на них взятой из моря водою, черпая, нося эту воду панамой из моря подале на сушу, и обильно их там поливала); привлекал ее пес и другая домашняя живность доброй хозяйки и разные там цветы и растения в ее огороде или в саду у нее, между которыми — псом, морем, каленьми и мокрыми камешками, цветами и тыквами — она (в стороне от подруг, с которыми, собственно, как следует не была еще и знакома), напевая что-то совершенно бессмысленное и беззаботное, но тем более до крайности милое, шепча что-то, порхала без устали, как мотылек — что поделать, она порхала именно как мотылек! — приводя окружающих в растроганность и умиление и являясь, пожалуй, как раз той отдушиной или, если хотите — скажем так! — иллюминатором, единственно через которые и можно-то было приемлемо воспринимать окружающий ослепительный мир.

А той девочки, возникшей в рассказе, той бесстрастной и ловкой пловчихи на всем том побережье вовсе и не было. Не было ее с ее ящиком, или ларцом, или, точнее, шкатулкой, или, еще «точнее по подлиннику», кадкой-кадушкой. Ох уж эта бедовая кадка-кадушка, ларец или ящик, а еще, по одним источникам, так просто закупоренная бутылка или сосуд! (Нельзя, ни к чему его было раскупоривать!)

Ее не было вовсе.

И потому, тогда, на том побережье, не было вовсе коварно и хитро подстрекаемых и потом созерцаемых внешне бесстрастно, но жадно кровопролитных сражений, каковые должны были быть в непродолженном (к счастью, должно быть!) рассказе, где по наущению злому, полному недоброго и лукавого умысла, героя должны были дразнить тем, что он плавает все только «вдоль», но никак не решит-

ся, мол, поплыть «поперек» (подразумевалось, к некоемому злосчастному камню и далее в море — упомянутый камень, по-видимому, незаметно как-то выпал при изложении начала рассказа).

Итак, ни того мальчика, ни девочки той!

Теперь же остается, пожалуй, уделить все же кой-какое внимание и остальным персонажам рассказа.

Что касается матушки мальчика, то, во-первых, коль в действительности не было мальчика — законного сына ее, то возможно предположить, что и ее самой не было. С другой стороны, за краткостью пребывания ее на страницах рассказа, за отмеченной уже мимолетностью ее появления на маленькой субтропической станции (разумеется, разговор может идти лишь о пределах времени, охватываемого данным рассказом, а не о всей жизни героя) мне представляется допустимым и здесь, в комментариях, упоминая о ней, ограничиться лишь вот этими несколькими словами.

Иное дело в рассказе — роль образа бабушки Хотя роль эта, по-видимому, не должна была выходить за рамки чисто служебной и внешне даже довольно пассивной роли обычной, доброй, умудренной жизненным опытом и любящей бабушки... но так как внутренне, по замыслу автора (по моему то есть замыслу), образ этот должен был явиться как бы незримым, почти бессловесным, но тем не менее достаточно мощным противовесом (как бы задача эта разрешена была автором — остается неясно) некоторых вызываемых в рассказе к действию сил, то мы будем вынуждены и в комментариях уделить становлению образа этого — образа бабушки — более пристальное внимание.

Дело в том, что та одинокая, преклонных лет, симпатичная и милая старушка хозяйка как раз и была частично той бабушкой, каковой фактически не было на том полустанке, но которая должна была стать, появиться в незавершенном рассказе. Она была частично той бабушкой потому, что в рассказе происходило слияние, а не то даже, как я постараюсь пояснить свою мысль, наслоение образов.

Бывает так: вы встречаете в жизни человека доброго, милого, до крайности вам симпатичного, и образ этого доброго, симпатичного вам человека — не важно, какого он возраста,— накрепко западает вам в душу. И бывает еще, что человек этот вдруг оказывается похожим то ли чертами лица, то ли повадкой, манерой держаться, разговаривать или даже молчать, то ли чем-либо еще совсем уже неуловимым и неизъяснимым — потому что так, казалось бы, далек один человек от другого, — похожим вдруг на другого, гораздо ранее, может, даже с момента, когда только себя начали помнить, запечатлевшегося в вашей душе и сознании, и на этот раз уже всецело родного и близкого вам человека. Вот тогда-то в душе вашей — если добрый, симпатичный вам человек, тоже проникший в нее, достаточно удалился во времени (потому что велика все же сила непосредственно зримого образа), — тогда-то в душе вашей и происходит слияние, взаимное проникновение образов: образы, запечатленные в вашей душе полностью или частично, сливаются, проникают друг в друга (а то даже один образ поглощает другой), и вы уже при всем вашем желании — а такового желания может и не возникнуть, коль один человек был симпатичен, а другой даже дорог вам, — не можете расщепить эти образы, не можете, помянув одного, особенно это касается ближайшего во времени к вам человека, не вспомнить о человеке другом.

Вот именно так образ бабушки, становившейся в злополучном рассказе, с одной стороны, был образом родной и давно уже умершей бабушки автора, частично же образом доброй и милой старушки хозяйки, лица которой он — автор — в момент написания начала рассказа по изложенной выше причине, хоть убей, не мог ясно представить, представляя только лицо родной своей бабушки.

Но о персонажах рассказа пока что довольно... И потом, если уж старательно так перечислять все, что было в рассказе и чего в реальной действительности совсем даже не было и что в то же самое время было в рассказе и в реальной действительности, то почему не перечислить того, что было в действительности и чего по каким-то причинам (по причинам случайности, что ли?) должно было не стать в самом тексте рассказа, в тексте начала рассказа? Тех бун и бетономешалки хотя бы?

Они — буны и бетономешалка — были полностью оттуда изъяты, хотя в действительности непоколебимо (сравнительно непоколебимо, да и притом на протяжении лишь краткого периода времени) стояли, покоились в два и три ряда — как частокол, как тын, как бунный забор или крепостная стена — у самого дома, как раз на той самой кромке штормового прибоя, за которой плескалось о ту осень часто довольно-таки бурное море.

Море и кромка были оставлены, а буны изъяты.

Но удивительно не столько даже то, что буны и сооружение с бетономешалкой были изъяты из долженствовавшего появиться рассказа — это, при некотором соображении, можно было понять и даже одобрить (к чему им было там быть-то?),— удивительна достойная восхищения неумолимая сила, толкающая человека к приукрашению... скажем так: очищению даже окружающей жизни от искусственных, упорных и так часто в конечном итоге-то вполне бесполезных, насмарку идущих, мертворожденных, тупых ухищрений (до тех самых пор, пока кто-то не додумается, не проявит желания, не постарается ставить их — в виду имеются те самые железобетонные буны — по системе, согласной характеру моря, иначе — морю по норову, по волне то есть моря, а никак не иначе).

Удивительно то, что уже здесь в комментариях, говоря о тихо лежащем ночью в «домике у самой кромки прибоя» (или, может, я упустил что-либо и об этом еще не было речи?) и о прислушивающемся к «вечно прекрасному рокоту», я поначалу и думать не думал хотя одним словом обмолвиться о бунах и об этом странном сооружении с бетономешалкой в самой что ни на есть сердцевине — бетономешалкой, подобной какому-то главному органу,— об этой ажурной, асимметричной вполне и почти абстрактной конструкции.

Но еще удивительнее даже не это, а то, что, непосредственно пребывая тогда в том доме, отгороженном от ревущего моря почти непоколебимой стеной из железобетонных бунов, вы сами бы, пытаясь отвлечься от каких-либо назойливых и мучительных мыслей и прислушиваясь к реву и грохоту скрежещущей под накатом волн гальки,— лежа тогда в том доме, вы сами, думая о норове ревущего моря, о своей преклонного возраста совершенно одинокой хозяйке и, опять же, не помышляя о бунах, начисто игнорируя их, представляли себе зимние и позднеосенние штормы, когда дом колебался от почти достигающих, почти лижущих его основание волн (много домов на том побережье давно уже было подточено), и представляли то, как разбуженная, растревоженная колебанием этим, ревом и грохотом, этой бешеной резвостью и мрачным веселием, одинокая совершенно старуха лежала с разомкнутыми в темень глазами и соображала что-то там о превратностях жизни...

...И вам тогда приходило на ум...

Ничего вам тогда не приходило на ум!..

Все так сбилось, запуталось: то было — то не было...

Все так сбилось, запуталось — лошади, кони,— кони-то были ли, были ли буны с бетономешалкой и старушкой хозяйкой? Может, их не было тоже? Может, их нет уже?..

Но не падайте духом, дорогой мой читатель, будем надеяться, все в конце концов утрясется, распутается, а так как мы упустили

из виду реальное (может, и тут не реальное?!) бытие северного, почти сплошь деревянного города, то, уже в ином несколько плане поставив вопрос, обратимся-ка к его удаленному существованию.

Срываются вдруг, перемещаются люди из одной точки нашего государства в другую: срываются, перемещаются... Говорят, ни сном ни духом...

Но ни сном ли, ни духом ли?

О том же, что ни сном ни духом, или напротив как раз: о том, что и сном и духом,— несколько ниже, а пока, не отклоняясь слишком-то в сторону от начала неосуществившегося рассказа, я хочу откровенно объяснить, почему вдруг вздумалось мне поселить моего героя, заставить провести его годы раннего детства в далеком северном городе.

Дело вот в чем: наше государство столь протяженно в пространстве, что при желании передать в прозаическом произведении чувство бескрайнего простора и величия нашей планеты нет никакой необходимости называть географические точки или районы, вынесенные далеко за пределы наших границ, можно вполне обойтись тем, что существует в границах; и если основное действие рассказа разворачивается, как в нашем случае, на берегу южного моря, то нет греха никакого обронить, обмолвиться невзначай в двух-трех словах а то в большем количестве слов, упомянуть, что герой-де провел свое детство и прибыл на берега этого южного и теплого моря не откуда-нибудь, а непосредственно с Крайнего Севера, из какого-то там почти сплошь деревянного города, с деревянными же дощатыми тротуарами, стоящего на берегу холодной реки и отстоящего от нового пункта пребывания героя вашего за тысячи и тысячи далеких верст, как говорилось когда-то.

Все это так, но в данном конкретном случае может возникнуть вполне законный вопрос: к чему, мол, было приводить в комментариях эту ссылку на место рождения и место детских лет жизни героя, когда, собственно-то, рассказ не осуществлен, когда нет рассказа; к чему, мол, тогда масштабность земли, ощущение кривого пространства ее и разбросанности по этому пространству кровных членов какого-то там семейства, пускай даже в пределах границ одного государства, хотя бы и нашего государства?

Но я, в свою очередь, задам встречный вопрос: кто сказал вам, что мне, автору того неосуществившегося рассказа и комментариев, вот именно в этих-то как раз комментариях и не нужно того же самого ощущения и той масштабности, и той же разбросанности членов семейства по кривой поверхности?

Притом здесь-то как раз и всплывает снова то самое «ни сном ни духом» или «ни сном ли, ни духом ли», с которого и начался мой данный период.

Бывает, живете вы тихо, мирно. Ну, может быть, и не так уж тихо и мирно, но, во всяком-то случае, и думать не думаете сорваться вдруг и в середине зимы или осени, не прицепившись ни к какой круглой дате, посреди суровой зимы даже, или, точнее, поздней, унылой осени, сорваться вдруг и рвануться, понестись, может быть, полететь даже (на самолете, конечно) на самый, что называется, край земли (в прямом смысле этого слова), на самый что ни на есть крайний север ее, ну если уж и не на самый крайний, то, во всяком случае, близко к нему, рукой подать до него — почти на край континента.

Во всем этом, в этом неожиданном срыве есть своя прелесть, не правда ли?.. Но подождем-ка о прелести.

Вот именно в этом смысле и было мной сказано: «ни сном и ни духом». Действительно, когда поздней, холодной осенью меня, нас, вернее, нас обоих, закрутил, завертел (поначалу, как водится, в ком-

нате), вынес ужасающий по силе и жестокости вихрь в коммунальную кухню, а затем, после падения со шкафа у тети бронзовых старинных подсвечников, как после мертвой и отрезвляющей паузы, по пологой и длинной кривой — вон из родимого города и за какие-то считанные минуты, можно сказать, перенесло в унылую осень совершенно другого города, на самый северный край континента или материка — как угодно... Вот в этом смысле и сказано было мною: «ни сном и ни духом». Но в который раз повторяю: «ни сном ли, ни духом ли?» Но об этом все же несколько позже, а пока о подсвечниках.

Вы не удивляйтесь падению подсвечников, вызвавшему трезвящую паузу, я сейчас объясню все... (Хотя смешно сказать «не удивляйтесь» и «я все объясню», когда я и сам до сих пор удивляюсь и ничего не могу толком себе объяснить.)

Подсвечники! Каких только не бывает подсвечников! Да и разное довольно случается с ними! Подсвечники бывают хрустальные, фарфоровые, глиняные даже бывают, бывают оловянные, железные, медные и даже серебряные. Но разговор не о каких-либо прочих и не о серебряных. Хотя и с серебряными, к слову, подсвечниками происходят порой, как всем известно, поучительнейшие истории. Серебряные подсвечники эти порой могут стать, к примеру, точкой скрещения и приложения разнообразных, находящихся в постоянном борении сил, борении, имеющем, в помянутом случае, далеко идущие благие последствия. Я имею в виду великодушное прощение виновника исчезновения ни более ни менее (но и не более!) как серебряных фамильных подсвечников. Заметьте, все же в данном-то случае, как ни верти, не больше все же как только подсвечников.

Но в случае нашем разговор не о серебряных фамильных подсвечниках, а о самых простых, хотя тоже в каком-то смысле фамильных, но совершенно обыкновенных, десятилетиями (на столетия не набегает) забыто стоявших на тетином пыльном шкафу, бронзовых, позеленевших подсвечниках, о тетиных старинных подсвечниках, притом даже, представьте себе, не моей родной тети.

Стояли эти местами позеленевшие даже подсвечники совершенно забытые, никому-то не нужные, на каком-то пыльном верху — может, на самом краю стояли? — теперь трудно достоверно сказать уже,— и вдруг в кухню робко так входит старая, добрая, побледневшая тетя и, близоруко так глядя неправдоподобно большими глазами сквозь сильнейшие чечевицеобразные линзы и смущенно так мня подагрически узловатые пальцы руки другой подагрической своею рукою, и как бы прося извинения даже за поведение старинной и позеленевшей бронзы своей, сообщает, что со шкафа упали подсвечники, только что вот, внезапно упали, стояли и вдруг ни с того ни с сего взяли и упали. К чему бы это? — как бы спрашивает всем своим робким видом добрая тетя. И видно, хотя она и напугана таким странным зело поведением своих бронзовых неодушевленных подсвечников, но в то же самое время до крайности рада, что под весомым предлогом таким могла войти в коммунальную кухню и породить там спасительно-животворящую паузу.

Вот ведь, ни с того ни с сего с какого-то пыльного шкафа вдруг слетели, упали необъяснимо подсвечники. Можно сказать, предположить можно: стояли, мол, на самом краю. Но ведь не ходили же они там, в самом деле, по самому краю, не танцевали же настолько самозабвенно, что вдруг оступились...

Да, странное порою случается. Можно даже робко подумать, что как раз в том месте, где тонко, там обычно и рвется...

Итак, ни сном ли, ни духом ли?..

Постыл ты нам со своим «ни сном и ни духом», со своим «ни сном ли, ни духом ли», может в сердцах воскликнуть вконец потерявший

терпение возмущенный читатель, заладил: ни сном ни духом, ни сном ли, ни духом ли... К чему, мол, подобные почти исключающие друг друга присловия, да еще повторенные кряду по нескольку раз?

Но не кипятитесь так, мой милый читатель, постарайтесь лучше войти в мое положение. Вы знаете, как тяжело бывает — тем более если вы, предположим, от рождения в иных случаях жизни не слишком решительны — взять в голые руки прямо с огня, например, что-либо слишком горячее или как тяжко бывает разом поднять, оторвать от земли что-либо слишком тяжелое, не говоря уж вступить вдруг по горло, войти внезапно в слишком-то холодную воду. Не правда ли? Вы прежде примеритесь несколько раз, раз пять или семь, и эдак и так, и с той и с другой стороны, прежде подуете, плеснете слишком холодной водой-то и туда и сюда и только тогда схватитесь за раскаленный предмет или, содрогнувшись всем телом, залезете, например, в слишком холодную воду. Все это, правда, если вы не слишком решительны в иных ситуациях,— но не все же поголовно всегда и во всем слишком решительны? Я тоже порой бываю не слишком решителен. Да и потом не всегда разумно бывает с пылу с жару, очертя опрометчиво голову кидаться вниз головой в самое пекло или в ту же самую слишком холодную воду. Ведь можно туда-сюда плеснуть предварительно водой, войти в нее, в эту слишком холодную воду, хотя с содроганием, но уже вверх головою и поэтому несравненно более уверенно и несравненно спокойнее. Пожалуй, тем более все это бывает разумно, когда вам в своем прозаическом тексте необходимо становится осветить какое-либо более или менее странное и неясное место. В этом-то случае вы попробуете и два и три раза, а может, все пять или девять раз так и сяк приступить к этой теме, прежде чем решитесь поднять ее, и в этом вашем подходе и приступе, пожалуй, не будет, в конце концов, ничего предосудительного или такого, чего было б нельзя понять, с чем было б никак не смириться, войдя в положение автора.

Итак, терпеливый читатель мой, представьте себе, что вы живете в приморском и северном городе и что за вашей спиною распростерлись залив и устье полноводной реки. (За спиной не в том смысле, что вы никогда не обращались лицом к заливу и устью,— напротив! Вернее было б сказать: не за вашей спиной — за спиной, если можно так выразиться, вашего многоэтажного дома. Но вы по каким-то причинам привыкаете к мысли, что и это устье и этот залив распростерлись именно за вашей спиной.)

И еще представьте себе, что с раннего детства среди многих и разнообразных иных сновидений, среди всем известных холодящих сердце, но разрешающихся благополучно падений — как утверждают, признаках роста — вам почему-то настойчиво снится воздушное пространство над некиим городом, особенно же в районе залива, в котором — в воздушном пространстве — вы порою легко и свободно парите, летаете туда и сюда, и выше и ниже, с дух вам захватывающей свободой и невесомостью, и потому, видимо, легко сноситесь обычно упругим, но нежным морским ветром с залива.

Или представьте себе, что вам настойчиво снится устье полноводной и темной реки, когда во что бы то и как бы то ни стало необходимо переправиться к противоположному берегу, а перед вами, крутясь в молчаливых и стремительных водах, несутся талые льдины...

Или вам снится, что вы торопливо, поспешно перебираетесь по каким-то железным и гулким, старым, пустым, отжившим давно, непонятно откуда и взявшимся в таком изобилии пароходам — с одного на другой, и их — пароходы эти — тут же сносит, разносит быстрым течением... И как водится в порядочных снах, все в этих снах ваших бывает проникнуто подобающей странностью, подобающей жутью, если и не слишком кошмарной, то, во всяком-то случае, достаточно

напряженной, чтобы заставить колотиться во сне ваше сердце учащенно и с тяжкой натугой.

И представьте себе, что по пробуждении или много спустя, вспоминая, вы почему-то будете совершенно уверены, что в сновидениях вы носились в воздушных пространствах родного вам города и что обмирали от жути на берегах или как раз посредине знакомого устья, распростершегося «за вашей спиною». Говорю «почему-то», так как, вольно отдавшись воспоминаниям, вы чаще всего не вдаетесь в подробности. Иначе, разобравшись в них хорошенько, хорошенько припомнив и дав как будто бы полный отчет себе, вы при всем вашем желании в своих сновидениях не нашли бы четких знакомых примет именно вашего города, залива и устья. Напротив, вам все бы предстало совершенно иным. Не говоря уж о том, что все происходило не на твердой земле, а в каком-то теряющемся во всех сторонах, направлениях и необыкновенно разреженном каком-то пространстве, к тому же пространстве безлюдном, где кричи — и не крикнешь, позови — не дозваться. И напротив, призадумавшись и разобравшись, вы вдруг осознаете, что берега, вам привидевшиеся, уж как-то слишком плоски, да и низменны, что они как-то слишком пусты и пустынны, как только и были, возможно, пустынны в дичайшие времена своей прошлой жизни.

И вот теперь-то представьте себе, что в результате хватившего вас жестокого вихря (после падения уже известных подсвечников) по пологой и длинной кривой вас переносит в иной, до того ни разу вами не виденный северный город. А там материк в виде плоского берега, полого сползающий к ледовитому морю (и в ледовитое море), и широчайшее устье реки, и губа, и сильнейший, самозабвенно прямо-таки дующий ветер, прямо-таки прущий на вас и на все окружающее: на устье, на постройки из дерева, на темные свинцовые воды и на развороченные поперек пароходы.

И вот, сходя с трапа на остров и охватив все с лета внимательным взором, окунувшись в исступленные ветры, вы вдруг оказываетесь поражены несказанно: вы постигаете вдруг, что это все было в тех сновидениях, где вы так свободно парили и где плавали в устье на пароходах. Вы страшно взволнованны, вы колеблетесь, вы пытаетесь холодно сравнивать, вы в недоумении, вы не знаете, чему же в конце концов отдать предпочтение, куда же в конце концов склонить свое здравое мнение Да и как же иначе, когда на глазах ваших, а вернее в душе, происходит — происходит! — произошла ведь когда-то уже! — необъяснимая совершенно диффузия устьев и воздушных пространств.

И только лишь некоторое время спустя, окончательно придя в равновесие, вы окончательно уверяетесь в том, что диффузия эта хотя и чистейшей воды диффузия, но происшедшая все ж таки под знаком именно ваших родимых пространств, заливов и устьев, притом ориентированных (и это тоже совершенно бесспорно) строго привычным для вас порядком по отношению к восходу-заходу привычных светил, в привычное время ночи и дня.

Вот вам и ни сном и ни духом!

Но к этим вопросам мы с вами так иль иначе не раз еще возвратимся. Теперь же, используя в той или иной степени достигнутый, надеюсь, все же контакт (контакт с вами, читатель), я отваживаюсь совершить действительно уже рискованный ход и, далеко отклонившись от предмета моих комментариев, увести вас решительно в сторону долженствующего быть комментируемым.

Но кажется мне, и в данном случае не стоит слишком болезненно воспринимать это решение, ведь и в преодолении реальных пространств не всякое отклонение от намеченных ранее путей и дорог ведет к удалению от или замедлению продвижения к намеченной цели.

И это тем более еще, что как в преодолении пространственных, так и временных расстояний происходят порой до крайности странные вещи, когда то, что близко, оказывается вдруг гораздо дальше того, что далеко, или когда то, что далеко, оказывается несравненно ближе того, что казалось бы близким.

Взять хотя бы сосну, обыкновенную живую сосну, зиму и лето стоящую где-нибудь на отшибе, на горе или под самым окном вашего, ну хотя бы «в снегах утонувшего» домика и льющую, проливающую по временам со своей гудящей в ветрах вершины снежные струи (и шуршащую — конечно же — звонко трепещущую ночь-то и день-деньской отшелушивающейся и никак не могущей отшелушиться бляшкой-чешуйкой).

Взгляните на нее, на сосну эту, и взгляд ваш, скользнув вверх по стволу к последней, народившейся только вот малютке сосне, к царящему за ней и под нею светоносному небу — тем более если как раз в то мгновение озарит все вокруг последним или первым лучом,— и взгляд ваш, опрокидывая всякий естественный бы, казалось, закон — последовательности возрастного развития,— с чудодейственной скоростью погрузится из настоящего в глубочайшее прошлое.

Да, все это так. Вероятно, все это даже прекрасно, и хотя сосна не совсем то, что нам нужно, то есть хотя она не совсем так отвечает на высказанную чуть выше мысль...

Во всяком-то случае, именно эта сосна дает нам теперь возможность легко и свободно совершить тот самый рискованный ход, сойти с проторенных троп, так сказать, и обратиться к вопросу о вертикали в связи с морскими пространствами.

Казалось бы, понятие о море — и тут, я надеюсь, вы полностью согласитесь со мною — почти исключает понятие о вертикали. Действительно, если в открытом море, не говоря уже об одном из четырех океанов, при всей многочисленности судов мирового военного и торгового флота, и попадаются то там, а то здесь среди волн и необозримых водных пространств зигзагоколеблемые судовые мачты и трубы, то они — эти мачты и трубы,— во всяком-то случае кардинально не определяют морского ландшафта. В морских ландшафтах бесспорно преобладают, можно даже сказать безраздельно господствуют горизонтали.

И все же, несмотря на все это, я хочу доказать здесь, или, во всяком случае, твердо заявить здесь о том, что всякая хотя сколько-нибудь заметная вертикаль может стать в прямое и даже кричащее отношение к морским и океанским пространствам. Притом вертикаль эта может быть необязательно преднамеренно сооруженной башней с огнем, ограждающей какой-либо выдающийся мыс или гряду подводных камней, и даже не только естественно или случайно возникшим когда-то объектом, помогающим ныне определению места на карте,— нет, она может быть достаточно удаленной от моря и самой обыкновенной, к примеру, фабричной трубой.

О, дорогой мой читатель, вам, конечно, приходилось когда-нибудь наблюдать улыбку на лице просыпающегося ребенка,— улыбку, неудержимо возбуждающую на лице вашем некоторое подобие такой же улыбки,— как она, улыбка эта, зарождается на его лице, а потом как, кроме этой улыбки, на лице его ничего и не остается. Притом, если у вас достаточно чуткая память, вы могли бы наблюдать подобную этой улыбку не только со стороны, но и, так сказать, изнутри, то есть запечатленную когда-то там в своей личной памяти свою собственную улыбку на вашем просыпающемся детском лице.

До поры и до времени — это не так уж трудно, как кажется с первого взгляда, потому что до поры и до времени у некоторых счастливцев улыбка эта продолжает тепло и радостно расцветать

при их пробуждении. И мне до поры и до времени удавалось ловить, просыпаясь, на своих давно уже не детских устах почти детскую эту улыбку. Но это до некоторого времени. А с некоторых пор... Да нет, и сейчас порой при пробуждении, будь то утреннее пробуждение или пробуждение даже в самый что ни на есть разгар глухой ночи,— в самый первый момент бывает, в душе вашей, если и не успевая распуститься улыбкой на лице, то, во всяком случае, тепло сгущаясь в душе вашей, нечто похожее на такую блуждающую блаженно улыбку.

Я говорю «бывает», потому что не всегда среди ночи вы просыпаетесь от какого-либо внешнего грубого шума, от какого-либо уличного или квартирного гомона и тарахтения. Я говорю «бывает», потому что иногда, а может быть, даже и часто, вы просыпаетесь ночью от какого-то изнутри исходящего крика, от собственного вашего сдавленного и крайне жалкого крика, и внутри у вас с самого начала при таком пробуждении нет и не может быть никакой теплоты и никакого блаженства, и ничто подобное не клубится в вашей душе, потому что в груди у вас в этот самый момент глухой ночи бешено или натуженно колотится сердце.

Так вот, нас интересует в данный момент подобное именно пробуждение утром или лучше даже в самый разгар глухой ночи, что-нибудь около трех часов ночи...

Представьте себе, что вы очень часто, иногда даже по совершенно необъяснимой причине, без всяких там внешних и внутренних криков и стонов, просыпаетесь в три часа ночи. Вы просыпаетесь, вы лежите в тепле и уюте привычной постели, и в первое мгновение, или даже в несколько первых мгновений, несмотря на совершенную несвоевременность своего пробуждения, в вас что-то робко начинает клубиться, тяготея к блаженству, и все тело ваше еще полно горячей сонной истомой, и в мозгу вашем блаженно кружится мысль, что сейчас вот вы снова погрузитесь, снова блаженно уснете... и вдруг в тот же момент или в те же моменты, в том же самом мозгу вашем, но, возможно, в какой-то иной его доле — иногда вы уверены: до нее, доли этой, можно дотронуться пальцем,— возникает совершенно иное, отчего нутро ваше уже не теплеет, а скорей холодеет, как холодеют от удара, нанесенного в спину каким-либо холодным орудием.

Представьте себе какого-нибудь кощея бессмертного, скупого рыцаря или какую-либо скупую колдунью и представьте себе, как нечто лежащее у них на ладони, то, что они как раз вожделенно разглядывают и созерцают, подвергается внезапной угрозе быть выхваченным, о, даже не всерьез совершенно, а в шутку, в совершенно невинную шутку. Представьте себе, как в первый момент, даже в какую-то мельчайшую долю момента, рука их потеряется, дрогнет и в глазах, на лице их мелькнет смятение и ужас. Но в следующую же долю момента рука, дрогнув, сожмется клешней, и уже не вырвать из той клешни, из-под того едящего взгляда это самое нечто (вырвать — если только вместе с душою кощея бессмертного, рыцаря или колдуньи).

Но вернемся к той мысли, что, возникая где-то там, в недрах вашего мозга, как порыв-дуновение сквозного и леденящего ветра в одно мгновение уносит из вас, из вашего томного тела, будто тепло из натопленной комнаты, всю скопившуюся в нем безмятежность, делая его для начала хрупким, прозрачным, как стеклышко или как льдинка... И тогда вряд ли уже вам удастся избавиться от всех этих кощеев, клешней и воткнутых под лопатку холодных орудий. И тогда уже не бывать сну в глазу вашем до самого утра. И тогда-то вот и становится единственной вашей внешней надеждой и утешением та самая заводская труба, давным-давно словно перст торчащая в небе перед окнами вашего дома.

Да и то, необходимо отметить, труба эта — надежда и утешение ваше лишь тогда, когда вас не окружает беспросветная тьма глухой зимней ночи. И правда, не вставать же вам из постели, не лезть же на подоконник, не открывать же настежь, в зиму, форточку, подставляя всего себя холодным воздушным течениям, чтобы кое-как, так и эдак просунув в нее свою буйную голову, искать где-то там блуждающим взглядом в пасмурном и полном мороза небе, в беспросветной египетской тьме северной ночи штырь закоптелой трубы?

Нет, труба вам может помочь лишь весною и летом, когда вы спите с настежь открытыми окнами и когда в три часа или уже совершенно светло или вот-вот начинает светать.

Итак, ранним-раннее утро, только начал бледнеть небосвод, и ваша труба торчит в нем еще бескровной пепельной тенью. Но вы все лежите, лежите, вытянув руки вдоль тела, и становится все светлее, и небо уже не серо и бледно, будто лицо без кровинки,— в нем уже появились чистые и нежные краски, и ваша труба постепенно, от минуты к минуте, напивается цветом, и вот уже слышится щебет просыпающейся птичьей толпы, и вот уже в организуемом трубою пространстве, вокруг нее и над нею, в чистом прозрачном воздухе — кыш полетели — и туда, и сюда, и камнем мимо окон, поодиночке и группами, по хлопотливым делам своим совершая полеты на разных высотах, мелькая, начинают сновать большие и малые птицы.

О, вы знаете, как дивно-прекрасно, когда ранним-рано над крышами вашего города, вокруг вашей трубы и над нею начинает сновать, свиристя, различная пернатая жизнь...

Но и это не все! Внезапно наступает момент — вы изо всех сил стремитесь его уловить всегда, но, увы, почти всегда упускаете,— и ваша труба, кирпичная, пепельная, оживает и в мгновение ока наливается расплавленной медью — огнем наливается, — и вопиет, торжествуя,— приветствует дневное светило.

А вы все так же лежите с вытянутыми вдоль тела руками, с головою, немного приподнятой по-спартански жесткой подушкой, и все так же глядя в организуемое трубою пространство и все так же следя, как отдельные птицы, удаляясь, тают в окружающей воздушной среде.

Вы все так же лежите, но от виденного и слышанного неразрешимые комбинации, суровые формулы, зияющие разрывы начинают постепенно мягчеть, тушеваться... И сознание ваше, совершенно освоившись с организуемым трубою пространством, начинает как-то странно соскальзывать, все в сторону, в сторону, не то чтобы резко, а так, слегка в сторону, по диагонали, сквозь все-то и всяческие преграды, над каналом, над островом, над кондитерской фабрикой, над полями, лесами — в детство, сквозь детство, к берегам окруженного землями моря и далее, в неимоверные дали и глуби... А вы, зачарованный и убаюканный этим блаженным соскальзыванием изнуренного не в меру сознания, наконец забываетесь. Бывает и так. Вы забываетесь, и во сне на ваших устах, может статься, даже играет улыбка, хотя и не та светящаяся, все растворяющая улыбка вашего детства, а улыбка вконец изнуренного, но все же обретшего хотя бы временный покой человека.

Так бывает.

Но и по-иному бывает.

Бывает, после особенно долгого перехода по глубоким оврагам и широчайшим водным преградам, после перевозбуждения всех ваших нервных и психических центров, даже такая налитая огнем и медью труба остается бессильной. И тогда вы опускаете ноги с сурового ложа, обуваете их, надеваете кое-что из одежды и тихо-тихо на цыпочках даже, выходите из жилища на лестницу и с лестницы на пустынную улицу.

О, эти ночные пустынные улицы с сонмами отчетливо доносящихся звуков! О, эти пустынные улицы, на которые снизошли покой и задумчивость! Не на вас ли, не над вами ли, улицы, можно угадать и почувствовать в эти ночные часы морскую душу нашего города? Не тогда ли неизвестно откуда — из стен ли, из сонных сознаний ли спящих под сенью их жителей, ветрами ли принесенная с моря, навеянная — выступает откуда-то, сонно волнуется, дышит, колышется слитно-единая душа заснувшего города? Улицы, улицы...

Итак, вы шагаете по гулкой пустынной улице. И даже, вполне может быть, не по улице, а по набережной, тем более что вам даже приятнее бывает шагать по набережной, нежели просто по улице, и тем еще более, что в вашем городе хоть пруд пруди этих разнообразных и разнокалиберных набережных.

Итак, вы, прихрамывая, шагаете по набережной спящего города. А так как в данном-то случае, по глупости вашей, вам не в силах помочь ни труба и ни туча, ни дождь и ни ветер и даже ни гром и ни молния, то пусть вы шагаете весной или летом, когда воздух тепел и небо нежно-прозрачно, и пусть вы шагаете по пути, по системе путей — тех же все набережных, приводящих к некоему заветному месту, куда вас так тянет почти с первых проблесков сознательной жизни и куда вы от дома, собственно, можете пройти, при желании даже зажмурившись, даже на ощупь и даже без ощупи.

Прихотливы довольно и странны бывают наши склонности с первых проблесков сознательной жизни. Взять хотя бы вот это заветное место, к примеру. Почему вас так тянет туда? Что в нем влекущего? Вечно разваливающаяся и все никак не могущая вполне развалиться лесопильная фабрика? Или нагромождение заводских старинных построек на том берегу с хитросплетением толстых и тонких трубопроводов, вечно сочащихся свистом и паром? Или, может, вас странно тревожит тот вместительный корпус, тот самый дом печальный и скорбный? Или, может, просто эта вода из совпадающих речек? Вода почти не живая, убитая, мертвая даже вода?

Да, да, здесь грязь и осклизлые бревна, здесь пахнет кислой сырой древесиной, а вода, которую не то что глотнуть, в которую окунуться-то страшно подумать, здесь битком набита отвратительной, жрущей друг друга бактерией и инфузорией.

Да, но и в этой нечистой воде отражается небо, это в ней, в воде, густой, словно вар или деготь, сверкает солнечный луч, это ее, почти стоячую воду, колышет порой туда и сюда пробегающий ветер. Это там, в отдалении, в прорыве, в проеме, где вода выпадает или впадает в большую полноводную воду, за теми строениями, за лесом, за рощею шевелящихся или замерших кранов, за пластами прозрачного воздуха, насыщенного зовущими морскими ветрами, высоко громоздятся корабельные корпуса, обрастая, становясь и готовясь куда-то отправиться.

...И те, там, прислушивающиеся к отдаленным позваниваниям...

Но давайте возвратимся на реальную почву. Ведь мы оставили вас, когда вы еще только бежали, а если не бежали, то, во всяком случае, быстрым шагом спешили по ночному пустынному городу к заветному месту.

Но коль уж быть справедливым, то необходимо заметить, что не всегда по ночам вы столь резво стремились лишь в сторону т у. Было время, когда вы, напротив, почти сломя голову бежали о т т у д а и какой-то долгий период после этого бегства даже шарахались от того заветного места и при случае как можно подалее обходили его стороной. Всяко бывало во время ваших прогулок по ночному пустынному и даже не совсем по ночному и пустынному городу...

Но обо всем этом хватит, пожалуй. Я и так слишком злоупотребляю вашим терпением, вынуждая вас без конца представлять

какие-то хотя поэтичные (на мой взгляд поэтичные), но и грустные довольно картины, а главное, в несуразное время скорым шагом рыскать по пустынному городу, да потом еще бегать почти сломя голову от какого-то заветного места и долгий период после шарахаться и обходить его стороной.

Давайте лучше для разрядки, для отдыха поговорим на нейтральную тему — о воде наяву, например, и о вскользь уже нами затронутой воде в сновидениях.

О воде наяву мы тем более имеем основание говорить, что где-то упомянули уже, сделав полный наивности вид, что будто бы совершенно не понимаем, почему ходить по каким-то там набережным, по берегам морей, рек и даже каналов зачастую бывает несравненно приятнее, чем по совершенно сухим, лишенным всякой воды площадям, переулкам и улицам (не говоря уж о безводных степях и пустынях).

И тем более мы имеем основание поговорить о воде, коль предположили, что ваш собственный дом расположен как раз на одном из каналов, что под самыми вашими окнами расстилается гладь водной поверхности, неширокая, невзрачная с виду, но все же водная гладь, что она, блестя и играя под ветром, на солнце, пускает по потолку вашей комнаты веселые дрожащие блики, а также отражает в себе постоянно прибрежные кусты, деревья и прочее.

О да, конечно же, и на этот раз под блещущей гладью обитает тьма-тьмущая отвратительных мельчайших созданий, конечно же, вся эта толща водного слоя буквально кишит миазмами, которые, испаряясь, вылетают в окружающий воздух и ночами и днями, невидимые, в открытые окна и в щели проникают в ваше жилище, тревожа обоняние ваше и даже во сне незаметно вас отравляя.

Но, к счастью, в обычных условиях все эти миазмы неразличимы (да и различить-то их можно лишь под линзой прибора). А так, невзначай, подойдите-ка к окну своему, склоните чуть голову, лбом коснитесь стекла («Осторожно лицо!» — кричала в детстве в таких именно случаях ваша любимая тетушка), устремите взор свой вниз под некоторым определенным углом («и глаз ваш будет ласкать и забавить живая и вольная водица-водичка») — и вы не увидите никакого миазма, вы увидите у себя под окном крупно или мелко бегущие волны, вы увидите, как они влажно блестят и округло темнеют, помяните то время года, когда канал ваш, грозно и весело набухая, переходил через край в своем этом веселии, и, скользнув в привычное русло, тут же представите...

Но не нужно (рискуя поранить лицо) и в подоконную воду заглядывать, чтобы ясно представить...— закройте глаза — вода и в мозгу вашем совершит привычный ей путь: сольется, сбежит, потечет куда посырее, где побольше ее, воды этой, туда, где возможно ей раствориться самой в себе, смешаться, слиться, разлиться, забыться самой в себе, для себя, ото всяческих давно пропавших вдали берегов, ото всяческих форм и ограничивающих тесно сосудов, ходить там на просторе крупной и мелкой волною и быть просто в меру горько-соленой водой — уже безо всяких миазмов, уже, как известно просто средой для возникновения, развития и поддержания жизни как самых простых, так и гораздо более сложных плазмодий и организмов, быть просто подобной средой и, как говорится, стихией.

...И от этого взора, вскользь брошенного сверху на водную гладь, и от этого соскальзывания в привычное русло в мозгу вашем сознательно или почти бессознательно мелькнет какая-либо забытая школьная мысль: о круговороте, о сообщающихся где-то сосудах, о водных бассейнах; или тут же представится какой-то там грек, древний и мудрый, медлительно и в глубоком раздумии погружающий какое-то тело (свое ли, чужое — не все ли равно теперь) в резервуар; или тут же представится (помните, может быть?) самоотвержен

ный мальчик, что бегал когда-то там, где-то вдоль какой-то плотины и затыкал изо всех-то силенок своими в конце концов посинелыми пальчиками какие-то до крайности мелкие, но угрожающие катастрофой отверстия.

Я говорю о сознательном или почти бессознательном мелькании каких-то там полузабытых и легоньких мыслей совсем не к тому, чтобы отказать вам в возможности мелькания в том же мозгу вашем уже совершенно не легоньких, а мыслей более солидных и сложных. Напротив, я определенно хочу здесь сказать, что лишь для начала в мозгу вашем может мелькнуть несколько легоньких мыслей, а потом, усложняясь и матерея, сознательные или почти бессознательные мысли эти могут сменяться все более сложными и серьезными мыслями, доходя порою вплоть даже до каких-то глубоких философических мыслей и обобщений...

Да что говорить там, прекрасна бывает вода наяву, когда любуешься ею из окна капитального здания или с берега, на века укрепленного сваями, камнем и железобетонной конструкцией. Иное дело — вода в сновидении.

Всякому, как выше уже утверждалось, рано ли — поздно ли, дается познать воду в своих сновидениях. Заглядывай не заглядывай в окна на водную гладь, ходи не ходи по берегам рек и каналов, доходи или не доходи до глубочайших философических мыслей и обобщений, наконец, хоть всю жизнь свою живи — проживи в разбезводной пустыне — придут определенные сроки и, хочешь не хочешь, тебе наконец приснится большая вода. Приснится большая вода и будет потом долгие годы, то удаляясь, то приближаясь, мучить тебя в сновидениях, а то даже в некоей фата-моргане, всяческим своим превращением и изменением, порой подвергая даже серьезной опасности если и не жизнь всего государства (ведь живем-то мы, кажется, не под сенью плотины), если и не жизнь города и всех его обитателей (ведь вода теперь даже в самые угрожающие наводнения не поднимается выше определенного уровня), то, во всяком случае, вашу личную, собственную, конкретную, данную, не важно — прекрасную или не слишком прекрасную,— жизнь.

Конечно, вполне может статься, что кто-нибудь, и даже не один и не двое, вдруг заявят, что вообще никогда ничего не видели, то есть не видели никогда никаких сновидений.

Может так быть? Конечно же, может. Кто и с кем станет спорить, что не бывает здоровых, цельных натур, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не видят каких бы то ни было снов (вернее, не помнят о том, что их видели), которые всегда, всю жизнь свою спят как убитые и не страдают, а напротив, лишь сильно выигрывают от этой своей завидной способности.

Что же касается конкретно воды в сновидениях, то действительно я здесь пошел на некоторый, хочется верить, оправданный риск, на некоторую спекуляцию, если хотите, сделав далеко идущие общие выводы из, казалось бы, сугубо личного опыта. Но что же делать, если у меня натура такая, если я так люблю обобщения? Одни, как мы видели, все-то ночи жизни своей на пользу себе и окружающим спят как убитые, другим же почти ничего-то в жизни не надо, кроме как кой-какой дозы чистой, прозрачной воды, а также возможности сделать хоть какое-нибудь обобщение. Ничего не попишешь тут. Или, напротив, можно что хочешь писать, но пиши не пиши — ничего существенно не изменишь писанием.

Да, отдавая себе сейчас полный отчет, я вспоминаю, что действительно мне никогда ни от кого не приходилось слышать, да и не читал я, пожалуй, нигде, чтобы кто-то когда-то часто или в виде редчайшего исключения видел во снах своих воду. Но вопреки этому я непоколебимо уверен, что многие, большинство даже, видели, видят, часто видят во сне эту самую воду. Как же я могу не быть в

этом непоколебимо уверен, коль в моих собственных сновидениях вода так часто, скажу даже настойчиво, играет столь важную и незаменимую роль? А ведь я, что и так давно уже ясно, живу далеко не в пустыне и далеко как будто бы не на островах среди океана.

О, конечно же, мои сновидения не всецело состоят из воды. Конечно, я вижу во снах своих еще многое, многое совершенно иное: животных, людей, например...

Я не буду пытаться соотносить мои сновидения с отдельными реальными фактами и жизненными событиями моей биографии, да и не только моей биографии. Хотя, при желании, я мог бы вполне попытаться кое-что соотнести и сопоставить, даже сказать кое-что вполне утвердительно мог бы. Уверяю вас, мог бы... Но ни-ни, ни в коем случае, ни одного толкования.

Конечно, всегда найдутся охотники,толкователи, которые тут же подскачут и, щекоча вам в самое ухо, начнут хлопотать и сладострастно шептать с каким-то убийственным зудом о том — что, когда, почему и откуда, и о том, что вот это — к этому, а это — определенно к тому... Но что — это к этому и это к тому? И что — когда, почему и откуда?! Когда вы, сладострастный шептатель, не знаете и никогда не узнаете — что, когда, почему и откуда! И если даже при соотнесении чего-то там с личным опытом и с лично в сновидениях вами увиденным для вас вдруг действительно что-то забрезжит... Да нет, не забрезжит.

Конечно, кроме воды, не говоря про людей, я вижу во снах еще очень и очень многое. Я вижу леса и горы, грибы и плоды, поезда и суда, я вижу пожары, я вижу хищных и домашних животных, пресмыкающихся, даже,— и даже,— ископаемых ящеров, но, как ни странно, совершенно живых и почему-то тоже чаще всего враждебно настроенных... И еще, и, пожалуй, это очень существенно, я вижу во сне пространство. То самое, в котором кричи — не крикнешь, зови — и не дозовешься; то характерно разреженное и как-то странно и совершенно не связанное с закругляющейся землею простираю щееся пространство.

Об одном этом пространстве, если подумать, сосредоточиться, как будто можно было бы сказать-написать очень многое. Но что тут скажешь-напишешь, если даже удастся сосредоточиться? (Тем более, может, совсем и не нужно сосредоточиваться, а, напротив, необходимо забыться и рассредоточиться?)

Да и как там, если говорить уже совершенно всерьез, возможно объяснить хотя бы пространство моих сновидений, когда не совсем-таки просто ответить даже на то, почему у меня в реальном пространстве так заметно нарушено, смещено, если хотите, восприятие известных сторон этого, уже совершенно бесспорно как будто бы, реального мира?

Ведь вот север: вон там, между спиной и плечом у меня и соответственно северу — юг, запад, восток, и я это твердо-натвердо знаю, неоднократно даже устанавливал с помощью соответствующего прибора; но спроси у меня врасплох, невзначай, где юг, где север, и я, если не успею сообразить и опомниться, ткну прямо перед собой, перед окном своим, а север — прямо между лопаток, а запад — восток — по фронту зданий канала. И это с каким-то бессознательным и косным упорством: живу, мол, так — фасадом строго на юг, а тылом на север — и баста: там — юг, там — север, там — запад — восток...

А тут нужно, как-то сосредоточась, истолковать пространство моих сновидений! То пространство, в котором я неоднократно и чудодейственно, не разбиваясь, падал и в котором, увы, что-то давно уже не летал, как летал когда-то, с почти невообразимой свободой и легкостью, с легкостью какой-то там невесомой пушинки или второстепенного перышка, подхваченного мощным, но бережным воз-

душным течением, летал на высоте головокружительной, по желанию медленно или быстро снижаясь и, если необходимо, беззвучно паря над спящим и странным городом, над устьем, заливом, над тем и совершенно не тем городом, устьем, заливом...

Так что ничего не будем толковать о пространстве, о предстающем в сновидениях пространстве, тем более что к нему-то уже совершенно никак не относится то самое — как-почему-и-откуда и что-это-к-этому-и-это-к-тому.

Ничего не будем говорить и о каких-то мелких и совсем незначительных станциях и железнодорожных разъездах в горных долинах ли или на низменных, прибрежных равнинах, на которых с кем-то должен обязательно встретиться или, наоборот, кого-то ни в коем случае не потерять, потому что коль потерять, то уже насовсем потерять; или на которых — на станциях — необходимо обязательно погрузиться и сесть в какие-то кратко стоящие или проходящие скоро, переполненные и наспех составленные из разнокалиберных и странных вагонов составы.

Можно было б, конечно, уже и подавно не поминать вовсе тех самых ящеров и пресмыкающихся, коль бы они порой так настойчиво не преследовали вас, холодеющего в кошмарном ужасе, порой даже прыгая вам на грудь, как, к примеру, те две махонькие, но гремучие змейки, о которых вы лишь много спустя узнаете, что они именно так и прыгают — с хвоста, через голову — непосредственно на грудь человека.

Можно было б и вовсе не упоминать о совершенно уж будничных и в бодрствующем состоянии довольно сильно любимых вами котах, лошадях, с которыми вы во сне — так тоже бывает — в каком-то лютом неистовстве, изнемогая в бесконечно длящихся схватках, с пересыхающей и горькой гортанью, бьетесь насмерть, царапаясь и как будто рыча не хуже того самого кота, например, или той же лягающей и грызущей вас лошади.

Но обратимся же, минуя все эти ярые битвы со зверьми и животными, ископаемыми и не ископаемыми, минуя все эти железнодорожные станции, пожары и пароходы, к той самой воде, к воде в сновидениях.

Конечно, говоря о воде в сновидениях, я имею в виду воду не саму по себе, то есть не химическое и аморфное вещество без границ, без каких-либо концов и начал. Иначе, представив ее в сновидениях, пришлось бы тут же представить себя с головой погруженным в водяную стихию. Но в этом случае я убежден, что даже и в сновидениях вы бы начали тут же захлебываться и задыхаться.

Хотя, пожалуй, именно долгое время преследовавший меня в сновидениях страх быть с головой погруженным в водяную стихию и заставил меня говорить на этих страницах о воде в сновидениях.

Но разговор, в данном случае, пойдет и не о тех уже вам известных заливах и устьях, что простираются у вас за спиною; и не о тех, что нерасторжимо связаны с воздушным пространством иных сновидений. Разговор далее пойдет и не о тех, хотя и странных довольно, но, по всей вероятности, уже совершенно незначительных случаях, когда вы, стоя по щиколотку в чистой (представить только!) и журчащей (беззвучно!) воде, на повороте как будто бы родного канала, то и дело склоняясь и тут же легко выпрямляясь, не сходя почти с места, вылавливаете все новых и новых, легко дающихся в руки, крупных, увесистых, разноцветно и ярко оперенных рыб, для того чтоб затем рассеянно и отрешенно, разглядев их в ярком солнечном блеске, тут же пустить их обратно, или когда вы, опять же по колено или по щиколотку в воде какой-то неглубокой, но стремительной речки, часто, но плавно поворачивающей то туда, то сюда, идете себе и идете, с легким, веселящимся сердцем, вниз

по течению, неизвестно откуда и неизвестно куда, а на берегах той реки растет ежевика...

Нет, разговор пойдет о более солидных скоплениях воды и об иных состояниях вашего сердца. Разговор пойдет о тех — как ни странно — потому что откуда бы взяться подобным в непосредственной близости,— о тех массах воды, что расположены по отношению к вам скорее фронтально — лицом к лицу вашему.

Представьте себе, что вас до поры и до времени преследуют сны, в которых вы одиноко затеряны на берегу большой и грозной воды, и представьте себе, что вы как-то угадываете или даже доподлинно знаете, что вот-вот начнется ее нахождение, или прилив ее, или даже что-то вроде потопа; и вы стремитесь убраться поскорей восвояси с того пустынного берега и никак, никуда убраться не можете и — как всегда своевременно — просыпаетесь, возвращаетесь к бдению.

Или, представьте, вы в скалах, опять же на берегу темного и грозного моря, и оттуда, с того грозного моря, надвигается, неумолимо растет колоссальных размеров волна, готовая вас поглотить; вы мечетесь туда и сюда, вы бросаетесь под какую-то тоже грандиозных размеров скалу, скорчившись, сжавшись, врастаете там в каменистую землю, но.. увы, волна колоссальнее вашей скалы, она надвигается неудержимо, нависает над вашей скалою, над вами, и вам безысходно, и вы твердо как будто бы знаете, что в следующее мгновение вам крышка, конец — вас поглотит, захлестнет и удушит, и... снова в этот самый критический, ужасный момент, бурно дыша возвращаетесь к бодрствованию.

Или другое: вы вдруг оказываетесь в некоем доме, в каких-то и знакомых и чужих для вас помещениях, и в доме нету стены, и в образовавшийся странный проем видны массы воды — вода прибывает, огромные волны вырастают вблизи одна за другой, но бесшумно, и, опадая, длинными, вспученными языками раз за разом протягивают, достают, подбираются, лижут как бы невидимые — изнутри-то — устои. И вы в пустой почти комнате видите, знаете какую-то плиту или печь у себя за спиной, до которой — печи — вода никак не должна дотянуться, и еще знаете, что все зависит всецело от вас, что все в вас самих...

Я привожу здесь лишь несколько подобных примеров, но подчеркиваю, что море, большая вода, предчувствие этой воды, ожидание ее нахождения, снится вам постоянно: то вы идете к ней по глине, по илу, по оголенному дну, то стремитесь в противоположную сторону, то она движется к вам, то уходит от вас... и многие многие сновидения ваши протекают в подобных взаимных, но далеко для вас и для моря воды не равнозначных маневрах и передвижениях.

Но вот, представьте себе, однажды, вернее в одну прекрасную ночь, вам снится вдруг совершенно иное: вам снится, что вы с легкостью, живостью какого-то водяного жучка или какой-то там легчайшей лодчонки, лишь слегка погружаясь в темную, но приятно прохладную воду, скользите проворно туда и сюда совершенно по воле своей, вернее настолько вольно, что будто безвольно даже бороздите морскую поверхность, не чувствуя более в сердце своем ни страха, ни робости перед грозной стихией.

Но так всего только раз! Один-единственный раз! И вскоре же вы видите вдруг еще один сон: вы с легким сердцем и с ровным, глубоким дыханием вновь плывете по спокойному морю, как вдруг кто-то (пусть будет кто-то!) появляется в стороне, на длинной и далеко вдающейся в море песчаной косе, идет вдоль нее и, улыбаясь загадочно кривой такой и знакомой ухмылкой, манит вас, приглашает выйти на берег; и вы простодушно выходите, но тут же из распахнувшейся клетки мимо вас устремляется в море львица, тигрица ли,

и за нею из оставленной клети, сливаясь по каменистому желобу, мутя и пачкая воду, тянется какая-то звериная мразь. И вы опять же как-то рассеянно смотрите вслед этому зверю, на то, как движется в воде его тело, его голова с тесно прижатыми к затылку ушами. И заметьте, как ни странно, вам более всего в тот момент любопытны прижатые к черепу тигриные уши, хотя размышляете вы в тот момент лишь о том, что вот, мол, чтобы снова забраться в это море с тигрицей, необходимо будет запачкаться этой мутью и грязью.

А теперь, теперь я сам уже, по своей собственной воле, задам вам вопрос (нет, не об этой плывущей во все лопатки тигрице, не об ушах, прижатых к затылку,— хотя я и сказать не могу вам, как порой красноречивы бывают для глаза обыкновенные звериные уши,— ведь вы уже знаете, мне столько снилось и даже мерещилось разных зверей кошачьей породы, так часто я имел с ними дело, что задавать вопросы о подобных коварных зверях и о значении тех или прочих связанных с ними событий, происшедших хотя бы даже во сне, нет никакого сколь-либо серьезного смысла). Нет, я задам вопрос о другом, я у вас спрашиваю: что же, в конце концов, лучше, врастать, корчась под какой-то скалой, в каменистую землю, ожидая обвала колоссальных нависающих вод, или — с завидной свободой и вольностью неким плавунцом-насекомым скользить по этим же самым, но уже в чем-то даже послушным вам водам?

Но не торопитесь с ответом. Это сложный вопрос. Хотя, как говорится, со стороны бывает виднее. Но, с другой стороны, бывает — но не всегда.

Пожалуй, есть категория сложных вопросов, решать которые со стороны совсем невозможно, напротив, в решении их необходимо исходить из себя и только из себя. Поэтому, может быть, я преждевременно задал вам этот вопрос. Ведь в нем скрывается столько коллизий, граней, аспектов, жизненных и, может быть, творческих граней, что вообще западает сомнение: в любое ли время и всякий ли (конечно, и я в том числе) с полной решимостью-определенностью может ответить на этот вопрос, даже всецело исходя из себя...

Но не в слишком ли призрачную и во всех отношениях зыбкую область забрели мы с вами, дорогой мой читатель? И нет ли смысла в попытке благополучно выбраться из этой призрачности и зыбкости, в попытке найти новый импульс, новый толчок, нет ли смысла обратиться к чему-либо уже бесспорно реальному и бесспорно незыблемому хотя бы в относительном смысле этого слова?

Тем более мы вправе обратиться к этому нечто, что с ним, с этим нечто, вернее с чем-то близким и однородным ему, связано было одно из запавших мне в голову сновидений, сновидение, в котором море или, во всяком случае, дыхание моря как-то незримо присутствовало и — я бы даже сказал — обусловило и вдохновило его.

Все дело в том, дорогой мой читатель, что в тот сравнительно долгий и совершенно бесплодный (но совершенно бесплодный ли?) для меня лично период, когда в своей, так сказать, сознательной жизни я был убежденным сторонником порядка и математической стройности, когда бессознательные, в чем-то наивные, а в чем-то и не замутненные симпатии детства на время притупились во мне, когда я все жестче направлял себя к прекрасным ансамблям, отражающимся в подернутой глади воды, к математически стройным ансамблям и к гладким покрытиям вместо булыжных, когда я отвращал свой презрительный и насыщенный красотами взор от площади косой и кривой, но родимой, как и вообще ото всего кривокосого, даже тогда я сворачивал порою с кратчайших путей и, за-

бредая в какой-нибудь полный случайных скоплений так и сяк громоздящихся флигелей и сараев, забытый и забывшийся двор, отдыхал там глазами на какой-нибудь запущенной, глухой и почти незрячей стене.

Нет, бесспорно, я и теперь продолжаю любить прекрасные, отражающиеся в водах ансамбли, строгие ритмы колонн, и окон, и прочих деталей, продолжаю любить и многие зрячие стены, и даже, больше скажу, до сих пор в душе моей порой протекает борьба и даже смятение при выборе того или иного покрытия (я имею в виду булыжник и прочее). Но теперь, за неимением древних ликоподобных ансамблей, я уже никогда больше не отвращаю презрительный взор от кривой, но родимой площади и от всего кривого-косого...

Да разговор, собственно, не о площадях и не о булыжных покрытиях, разговор о том, что с раннего детства я люблю глухие незрячие стены, и люблю их какой-то особой, трудно выразимой любовью.

Конечно, и в городах сухопутных, в городах, далеких от моря, в привольно раскинувшихся на многих рельефных покатостях, в изрезанных кривыми, как русла рек, улицами — и в этих городах есть свое обаяние, есть своя прелесть; встречаются в них и глухие стены, конечно, но должен признаться, нигде я не видел, нигде не встречал таких удивительных глухих стен, как в родном своем городе.

Сверните с центральных улиц и площадей его в какую-нибудь невзрачную улицу, нырните в какую-нибудь кривую и низкую подворотню, и, если вам посчастливится, перед взором вашим — держи только шапку — прянет в небо прекрасная глухая стена, а то не одна, а две сразу под каким-либо острым или не острым углом.

Да и нужды нет нырять в подворотню, побродите просто по тихим улицам, посмотрите вокруг, туда и сюда, и обязательно нет-нет и возникнет перед вами в проеме-прорехе войны ли, доходного принципа ли — на том или ином удалении, в свободном пространстве или сквозь ветви деревьев, тополей преимущественно — роскошная глухая стена, совершенно глухая или с там и сям прорубленным потешным оконцем-дырою. Побродите, найдите наиприемлейшую дистанцию и, отдыхая душой и глазом на выбранной вами стене, попредставляйте, подумайте что-нибудь о судьбе ее и о ее несравненных достоинствах. И если вы достаточно долго так постоите и если у вас достаточно острое зрение, то вполне вероятно, вам посчастливится и вы в конце концов разглядите в одном из потешных оконцев ненадолго появившийся, мелькнувший там бледный лик некоего Ивана Ивановича или Пелагеи Петровны, родственницы родственников каких-нибудь там не так уж давно, если вдуматься, ушедших из этого мира Параш и Акакиев. Бледный лик Ивана Ивановича или Пелагеи Петровны, вдруг пожелавших среди домашних-то хлопот и забот индивидуально воззреть на мир Божий, кинуть взгляд, так сказать, в небо и на окрестности, ну и на вас в том числе, коль вы попадете в их поле зрения.

Постойте, попредставляйте себе. Уверяю вас, здесь есть что представить и на чем отдохнуть.

И ведь то удивительно, что стены эти почти равно прекрасны как в свете солнца, так и в пасмурном сумраке, как днем, так и ночью, как в гуще застроек, так и одиноко торчащие на какой-нибудь пустынной прогалине.

Представьте себе...

Но здесь мне захотелось вдруг почему-то оговориться: что хотя я и очень люблю глухие, забытые стены, что хотя сам лично, к счастию, имею метров двадцать квадратных изнанки прекрасной, старинной, капитальной и глухой, как дебри, стены, к которой избегаю даже ставить что-либо громоздкое вроде шкафа, комода, на которую стараюсь не вешать даже какой-либо мелкой вещицы — из любви и

почтения к стене, а также предпочитая воспринимать кусок стены целиком, без всяких крупных и мелких помех,— что хотя я и очень люблю глухие, незрячие стены, но что люблю я их все же в разумных пределах. Я люблю одну, две, ну максимум три глухие стены, под углом друг к другу или отдельно стоящие, но никак не сразу четыре, например, глухие стены, да к тому же стоящие замкнуто. До этого крайнего случая, уверяю вас, моя любовь к глухим стенам еще не простерлась (да и прострется ли?).

Иными словами, конечно же, как уже говорилось, я люблю не только глухие, но и зрячие стены со всей их разнообразной лепкой, отделкой, со всеми этими наличниками, пилястрами, горизонтальными и вертикальными тягами, карнизами, капителями, гуськами, сухариками, а главное, с их стройными шпалерами окон, светящихся или, напротив, так и сяк отражающих в мельтешащих стеклах светлое небо и противоположные виды. Конечно же, совершенно прекрасно, когда все эти виды легко проникают в людские жилища, когда людские жилища залиты светом глубокого неба или даже, тем более, лучами восходящего, заходящего или расположенного в зените светила.

Да, все это так, жить без них невозможно, и все же еще и еще раз повторяю: не слишком ли суетны все эти зрячие стены, не слишком ли все влетает у них в одно и тут же вылетает в другое окно? Где им, этим суетным стенам, затаить, запомнить надолго все, что видят они и слышат?

И совсем иное — с глухою стеною...

Взять опять же хотя бы вот эти мои двадцать метров. Так, вроде бы несколько перекрывших друг друга временных обойных слоев, штукатурка, кирпичики; тут след разобранной печи, там гулко звучащая при случайном ударе или тем более при специальном простукивании пустота заброшенного не так давно дымохода... но сколько при этом в них, в метрах этих, смиренного, скромного, немого достоинства, сколько созерцательно-поэтической мудрости, сколько знают, сколько таят они про себя — эти самые стены — жизненных перипетий и пыла родственных чувств, сколько запечатлено ими взрывов страстей, приливов любви и отчаяния хотя бы одной-единственной, отдельно взятой семьи...

О, не вовремя одернутый и отвлеченный мною читатель, если вы все еще терпеливо стоите, вперившись в избранную вами стену, то, представив себе то обилие нисходящих и восходящих вдоль стены этой воздушных потоков, все те бессчетные ветры, что зиму и лето, круглый год то есть, снегами и иными осадками, так же как пылью и гарью, секут и скребут ее многострадальный штукатурный покров, представив, как все внешние трения эти с течением времени электризуют поверхность стены и, следственно, всю ее незримую толщу — представьте себе наконец, что эта почти гладкая плоскость, что эта не слишком глубокая толща, что этот сверху донизу секущий разрез всей внутренней конструкции здания в то же время — сквозь время секущий разрез множества жизней и судеб. Не знаю, как там и что и с помощью каких хитрых полей и каких электричеств запечатлевает все это толща обыкновенной кирпичной стены, но — верьте не верьте, смейтесь не смейтесь — она помнит, хранит, она за-печат-левает.

Ну что ж! Для полноты картины здесь можно было бы вновь обратиться к народному опыту, вновь открыть тот драгоценный, единственный в своем роде словарь и заглянуть в него на слово «стена». И тогда бы мы там почерпнули уйму мудрых и ценных высказываний на тему стены...

Можно опять же, конечно, заглянуть в этот словарь, но и так-то я, видимо, снова почти запутался в этих нагороженных нами стенных лабиринтах. По-видимому, и на этот-то раз я выбрал слишком кружную дорогу и на этот раз слишком, по-видимому, издалека подхожу к той, по сути, единственно нужной мне на данное время стене.

А стена эта, к которой я так трудно стремлюсь,— как ни странно, хотя и глухая, но даже не дикая глухая стена, напротив, излишне культурная, вся размеченная рядами фиктивных окон, пилястр и прочих в данном случае бессмысленных лепных украшений, стена эта действительно играет в моей жизни совершенно особую роль.

Конечно, здесь имеет значение и то, что изрядных размеров стена эта, к тому же хитро смещенная под некоторым углом к себе самое, отвесно почти на всем своем протяжении, обрывается в воды канала, что она — глухая стена эта — стена не жилого случайного здания, а задняя глухая стена крупного, особого назначения здания, что в воды канала почти отвесно обрываются на всем своем протяжении глухие зады одного из славнейших сценических зданий.

Но, конечно, не в размерах, убранстве и знаменитости суть всего дела, суть дела в том, что вдоль этой глухой, но не дикой стены по набережной как раз той протоки, в воду которой так живописно она обрывается, проходила когда-то основная тропа, основная артерия, так сказать, основная если хотите, коммуникация всех наших в широком смысле родственных связей, что в некотором небольшом сравнительно радиусе от этой стены рассеяны были все наши довольно-таки многочисленные и, как часто бывает порой сильно, а порой и не слишком-то сильно друг другу благоволившие родственники; и суть дела в том, что целые облака и туманности разнообразнейших чувствований и переживаний, всех этих сложностей любовных, родственных и свойственных связей, противоречий, конфликтов, нашедших одна на другую страстей, а порой даже, что там таить, и упорной вражды, всех этих сердечных страстных биений и спазм, радостей, горя — сосредоточились, скрылись, запечатлелись когда-то в этой дивной стене, вошли, так сказать, в ее плоть, в ее будто бы бесчувственный камень.

И хотя все мои родственники давно уже умерли по разным внезапным, а также закономерным причинам, хотя в их жилищах давно уже поселились совершенно иные, чужие и чуждые люди, стоит порой мне пройти по этой старинной тропе нашей, по этой проторенной в граните тропе, вдоль этой стены, обрывающейся в медленно текущие воды, стоит как-то не так, а вот так мелькнуть снопу света в стекле, стоит как-то плеснуть-проплеснуть воде под чугунною крышкой, как из этой стены начинают порой источаться туманности моего счастливого детства — заметьте: счастливого детства, вот в этом-то и чудодейственность данной несравненной стены, что, поглотив в свое время все без остатка, она источает теперь лишь счастливые туманности моего улетевшего в далекие дали, но незабвенного детства. Я говорю «стоит порой пройти», «начинает порой источать», я говорю «порой» потому, что не всегда, и, с грустью скажу, чем дальше, тем реже (может, на радость мне снова когда-то воспрянут эти доселе затухающие ритмы стены?!), не всегда, не во всякое время и пору, да не всегда и в полную силу производит стена эту таинственную работу, эту свою живую вибрацию.

А тут еще плюс ко всему (или, может быть, минус? А вдруг да как минус?!), представьте себе, что не одна и не две, в разной степени уважаемые и любимые родственницы, когда-то селившиеся в окрестностях волшебной стены, в свое время живейшее принимали участие в сценических действах, разворачивавшихся на специальных подмостках уже по ту ее сторону.

Представьте себе весь тот сверкающий бисером и разукрашен-

ный громадными перьями поток воспоминаний, преданий... представьте тот яркий и единственный в своем роде цветок на бедре знаменитой танцовщицы (как крепко, должно быть засело бы в вашу детскую голову представление о том бедре прелестной, знаменитой танцовщицы с фантастическим и единственным в своем роде цветком!).

И представьте себе, как потом, уже наяву (или почти в сновидении?) среди различных эффектов, там, в глубине высочайших объемов, в клубах артистической пыли закулисных ветров, и бурь, и сладостной музыки — о, конечно же, и сладостной музыки! — по ту сторону все той же стены порхали красавицы спящие, бодрствующие, принцессы и принцы колдуны и волшебницы и прочие сказочные существа и чудовища, а потом, как снаружи, у стен того здания, вы встречали порой совершенно живых, но уже современных этих красавиц, этих принцесс с характерной походкой, этих искусственно и деревянно ступающих, недосягаемых жриц, вышедших только что вздохнуть и взглянуть на белый естественный свет, после всех тех вконец обескровливающих, изнуряющих ритмов и ритуалов.

И представив все это, в конце концов, вы поймете, что глухая стена театральных задов, отражающаяся в тихой протоке, запечатлела в себе не только родственные аспекты туманностей чьего-то там детства; вы также поймете, с чего бы мог вдруг привидиться тот странный на первый взгляд сон, где под куполом неба под эгидой ветра с залива, под эгидой темного и студеного моря, но в пределах пространства, ограниченного театральными стенами, кто-то с замиранием сердца топтался на каких-то невообразимых ходулях (или, возможно, и не топтался вовсе, а совершал головокружительные обороты-кульбиты на неизвестно как повисших трапециях?); тот сон, в котором кто-то там манипулировал в высоте, под куполом неба, на этих самых ходулях — трапециях, тогда как снизу, из-за каких-то там накрахмаленных столиков, кое-как врассыпную и криво расставленных среди рухнувших кирпичей и обломков, на него взирали, иные повскакав даже с места — видите ли — повскакав даже с места! — маленькие — в глубине-то огороженного стенами объема — маленькие такие и сокращенные в ракурсах люди.

Бывают, знаете ли, в развитии вашего существа — в развитии или постепенном выявлении? — некоторые узловые, кардинальные моменты или целые временные периоды, когда в вас неотвратимо нарастает, клубится в вашей душе, в вашем сердце и разуме, клубится, колышется, словно как дым над большим пожарищем, точнее, словно как пар над бурно кипящей жидкостью,— словно тонкий пар, приобретая последовательно или даже единовременно разнообразные зыбкие формы, незаметно меняющиеся, перетекающие друг в друга, но в то же время как единый поток неумолимо стремящиеся все далее и далее, чтобы в конце концов выклубиться в какую-то последнюю форму.

И еще бывают такие моменты, когда в этом клубящемся зыбко, неясно, когда в этом стремящемся к своему последнему воплощению возникают вдруг образы отдельных предметов —одного или двух — и непререкаемо утверждаются там, как какие-то вехи или кардинальные знаки.

И вот тут-то, в этот самый ответственный момент, в этот момент окончательной кристаллизации и происходит то не предвиденное и не объяснимое каким-либо простым или, тем более, сложным математическим образом, безличное, но коварное стечение внешних явлений, тут-то и обрушивается на ваше сознание целый поток, по-видимому, как-то хитро умудрившихся притаиться до поры и до времени в вашем неведении (бей потом себя в грудь, доказывай, что ты знать не знал и ведать не ведал!) целый поток поэтических и прозаических произведений, в которых как раз эти самые, или

подобные, возникшие в сокровенном вашем клублении образы отдельных предметов, эти вехи и кардинальные знаки играют вроде бы такую же важную и кардинальную роль.

Что же делать, как быть в таком случае? Малодушно, поспешно, предательски выбросить образы всех этих предметов, эти важнейшие знаки и вехи из своей еще так зыбко и нежно клубящейся формы? Вырвать, разбить и развеять их? Нет, невозможно! Этак можно убить, смертельно ранить осколком в самое сердце еще только клубящуюся, еще только завязывающуюся, еще только начинающую самостоятельно жить и трепетно биться форму.

Нет, пускай, несмотря ни на что, мой предмет, мои оба предмета спокойно утверждаются в моей воплощающейся на этих страницах форме.

Да, и кроме того, в конце, как говорится, концов, если они — предметы эти, один из предметов — в том ярком, своеобразном произведении вынесен на улицу и, сверкая там, отражает странно-таинственный, провинциально бегущий под горку уличный мир; если он — предмет этот — в той возвышенной, но несколько глухо звучащей поэме играет какую-то, не помню какую, но важную роль; если он — предмет этот — в еще одном каком-то там произведении играет роль в нескольких планах, пускай даже в не слишком многочисленных планах; если он играл еще в тысячах, может быть, разных произведений со времен, как мир себя помнит, тысячи разных ролей — то почему бы ему — предмету этому — не сыграть в моей, стремящейся к конечному воплощению форме еще одну новую роль? Хотя бы в чем-то, хотя бы на кончик пера, на йоту хотя бы разнящуюся от предыдущих ролей. Неужели же так уж скудно клубится над тем пожарищем, над той бурно кипящей жидкостью, что не дано будет найти еще один или два каких-нибудь давным-давно затерявшихся плана, отгранить на этом предмете еще одну какую-нибудь забытую грань?

Давайте же вооружимся надеждой и двинемся ко второму предмету и далее — с этим предметом.

Что же касается первого из этих предметов, то есть подразумеваемой мною под первым предметом стены, то при более пристальном и, так сказать, ретроспективном взгляде на роль ее в повествовании, я вынужден сделать успокоительный вывод, что предмет этот, то есть глухая стена, не совсем только лишь какое-то там родимое пятнышко или родимый нарост на лице моей рукописи, что стена эта, оказывается, несет в себе кое-какие и более существенные конструктивные функции, хотя бы ту функцию, что так незаметно, подспудно, можно сказать, подвела нас ко второму предмету, к его сходной функции, а через нее ко всем остальным, как исключительно важным, так и малозначительным функциям второго предмета. Под этой функцией я имею в виду то наиболее существенное свойство глухой стены, способность ее многое видеть и слышать (разговор, конечно же, не о стенах, действительно имеющих уши), способность запоминать, таить в себе и, при случае, при сильном желании, даже поведать нам через любую меру протекшего времени когда-то ею услышанное и запечатленное.

Но как бы там ни было, предмет иному предмету рознь, как говорится, и в отличие от глухой стены, самый малый, даже мельчайший осколок того предмета, о котором теперь пойдет речь, имеет, как всем известно, опасное свойство пагубно леденить подверженные леденению сердца; или, к примеру, будучи соответственно ориентирован в пространстве (по отношению к источнику света), может посылать луч куда вам угодно, в самые что ни на есть бесконечные пространства и дали, к самым что ни на есть бесконечно удаленным от нас как звездам, так и звездным системам. Правда, практически луч этот, посланный осколком второго предмета, подобно ка-

кому-нибудь земному древесному пруту, побегу древесному, никогда не сможет быть идеально прямолинеен, всегда будет где-то и как-то кривиться и искажаться, проходя мимо попутных звезд и планет, и, вполне возможно, практически и вообще-то может запутаться, затеряться, пропасть в какой-нибудь специфической пыли, не дойдя даже до самой ближайшей из звезд.

Да и не всегда, порой, в первую очередь отправляется луч в бесконечные пространства, к бесконечно удаленным светилам и звездным системам — в иную пору развития нашего, в иные часы и минуты, что поделать, бывает гораздо заманчивее и любопытнее послать этот луч не куда-то туда, а всего-то навсего через улицу, запустить его во внутренний сумрак такого близкого, но годами таинственного жилища или помещения, какого-нибудь тоже таинственного учреждения, ворваться туда, подобно веселому вихрю какому-нибудь, невзначай выхватить там в таинственном сумраке локон, белокурую голову, склоненную над чертежной доской или над прозаическим канцелярским столом, и проследить, если позволит дистанция, оттенки мельком нахмуренного или в ответ улыбнувшегося — и здесь ведь проявляется различье характеров — невзначай отвлеченного и невзначай ослепленного чьего-то лица.

Да что говорить, и много спустя, в свою очередь бывает любопытно, грустно и радостно ловить теперь уже у себя, в сени своего жилища, этот слепящий, этот мятущийся луч, не говоря уже о безумном веселии тех совершенно уже стихийных лучей, что скачут, дрожат и колеблются на потолке вашей комнаты, в случае если под окнами вашими простирается текучая или даже стоячая, но плещущая почти постоянно водная гладь.

Но раз мы снова, хотя бы и вскользь затронули водную гладь, то нужно заметить, что тот второй из предметов, о котором пошла ныне речь, зачастую на наших глазах оборачивается обыкновеннейшей водной гладью, вернее, водная гладь зачастую оборачивается этим предметом. Ведь что, собственно говоря, представляет собой упомянутый нами предмет? Поверхность. Идеально блестящую поверхность. Относительно идеальную, конечно же, но все же исключительно гладкую и блестящую довольно поверхность. А водная гладь как раз обладает подобной поверхностью. Конечно, для высокой качественности отображения необходима еще некая глубь и тина на дне, например, или ил, глина, попросту грязь какая-нибудь, муть в воде — взвешенные как-то частицы — тот же самый многочисленный вечно миазм. Имеется налицо вся эта тина, ил или муть — и вот вам блещущее зерцало вод. Блещущее под солнечными лучами зерцало вод, с опрокинутыми в него небесами, лесами, уступами гор или городскими ансамблями, или еще чем-нибудь, в конце концов всем, что пожелаете в него опрокинуть. Ведь в обыкновенном-то безводном зерцале, в обыкновенном стеклянном зеркале роль ила и грязи заступают некие смеси олова, ртути или серебряные притирки. Подумать только, какой-то там кусочек стекла, исподу смазанный оловянной притиркой, кусочек амальгамной блестящей поверхности, и уже не разбей его, а то будет худо, или, напротив, будто бы посиди, погляди в него, при свечах, со вниманием, с пристальностью, и вот уже будто бы явится в бесконечно умноженной глуби его облик суженого, на счастье твое или на горе.

Да, как и всякий-то суетный человек, много разных зеркал передержал я в руках за свою если и не слишком-то длинную, то уже и не короткую жизнь; много зеркал сохраняло на себе какие-то считанные мгновения туман моих пальцев или даже дыхания, во многих разновеликих и лживых зеркалах этих отображалось, к сожалению, лицо мое... Но не какое-нибудь там карманное зеркальце, не настольное складное зеркало, не настенное овальное зеркало, наклонно

висевшее в нашей передней, не трехстворчатое зеркало туалетного столика, когда-то принадлежавшего моей родной матушке, не даже грандиозные, хрусталем-златом-серебром обрамленные зеркала разных зимних и летних, открытых ныне народу дворцов предстают перед моим внутренним взором, когда я почему-либо представляю себе зеркало само по себе, а предстает — зеркало обыкновенного, правда, старинного семейного нашего шкафа, вместительного, солидного, с деревянным фигурным кокошником и с другими резными балясинами, зеркало шкафа, никогда-то, на моей лично памяти, не стоявшего у какой-либо там капитальной и тем более капитальной и глухой к тому же стены. И неважно, что это зеркало вместе со шкафом, никогда не стоявшее в нашем старом, а моем и ныне жилище у капитальных и глухих его стен, теперь, может быть, уже несколько лет как и совсем покинуло покойное, привычное место и, переехав, продолжает теперь свою многотрудную скрипучую жизнь в новых местах. Что поделать, жизнь течет, растут поколения, семьи, порой даже самые небольшие, почкуются, делятся, и, порой, кардинальные вещи всей жизни вдруг покидают настоянные подолгу места и перебираются в иные дома, под новые кровли.

Но неважно, что это кардинальное зеркало старинного шкафа уже несколько лет как отсутствует, когда я представляю зеркало само по себе, перед моим внутренним взором возникает именно это, именно то бессонное зеркало. Именно то, местами туманное, местами вышелушевшееся амальгамою, ходуном ходящее в пазах своих граненое зеркало, лживое, коварное зеркало, не однажды кратко хранившее на себе, как известно, сугубо неповторимые следы наших пальцев, и должно быть, в той же степени неповторимые следы лбов, губ и носов; а также, но уже не кратко, а навсегда утаившее в своей бесстрастно-холодной мнимой глуби как иные светлейшие, так и каверзнейшие иные моменты...

Но коль, отвлекшись от ныне окружающей нас обстановки, мы могли так свободно возбудить перед внутренним взором зеркальный шкаф, довольно-таки громоздкий, то почему бы нам не попробовать, так сказать, заодно и попутно не возбудить всю ту обстановку, что когда-то в нем отражалась? Попытка — не пытка, как говорится... Давайте же представим себе вот тут, в этой комнате, почти такой же тогда, как и ныне, после многократных и сложных ремонтов, стоящим почти визави (напротив почти) известному шкафу тот самый, уже нами помянутый матушкин столик о трехстворчатом зеркале, столик давно уже, и не помню, при каких обстоятельствах, сгинувший безвозвратно с поля семейного зрения.

Здесь, тут вот, почти рядом со шкафом, у двери, в простенке, висел тоже давным-давно сгинувший под натиском неумолимо катящегося прогресса и ныне в дощечках и соленоидах валяющийся погребенным где-нибудь на какой-нибудь свалке старорежимный стенной аппарат, по которому (почти так, как и ныне) в любое-то время дня или ночи, если только научился уже общению с таинственной барышней («на том конце провода»), можно было вызвать «неотложную помощь», или помощь в случае вспыхнувшего внезапно пожара, или «скорую помощь», или еще более скорую и безотказную помощь ближайших родственников и ближайших знакомых, в те времена так густо рассеянных в районе глухой театральной стены... О да, мало ли что, или вернее, много чего давным-давно сгинувшего при разнообразных условиях и по разным причинам, а немногого, напротив, и до сей поры пребывающего, но не здесь уже пребывающего, отражавшегося так или иначе в зеркальном граненом зеркале, стояло, висело, покоилось, красовалось, блистало у стен, на стенах, в тонко продуманном беспорядке, в углах и посередине тех наших покоев, тех наших комнат, под неусыпным хозяйским присмотром нашей уважаемой матушки.

Да, но память моя ведь не граненое зеркало, и если она, подобно последнему, все в себя погружает, то не все отражает... Разве все восстановишь здесь, на этих страницах, разве все здесь опишешь, разве все извлечешь из глубин своей памяти? Вспомнить хотя бы уж, извлечь на поверхность не мраморные и иные статуэтки и бюсты, а те погрузившиеся некогда в зеркало на равное удаление от его прохладной поверхности животрепещущие и разворачивающиеся в сцены события, когда-то так потрясавшие неокрепшую психику, все те столкновения, столпотворения и завихрения, пыл экзекуций и хлад изоляций, все те омрачения, да и обморочные порой состояния во всем живописном их разнообразии от театрально-эффектных до поистине чреватых опасностью, распознай-ка попробуй в неопытном возрасте, где, как и что за всей этой игрой и дрожанием бликов заоконной стихийной поверхности, мельтешащих на потолке вашей комнаты; где, что и как за всем этим расплавленным воском, выливаемым в холодные воды, за трепетом теней его на комнатных стенах, за всеми семерками, тузами и дамами, за всеми многократно и запоздало отраженными свечами и взглядами (вот где было бежать-то, дрожа, к аппарату и взывать к той таинственной барышне!).

Но что извлекать на поверхность все те страхи дневные — уж лучше извлечь страх ночной, когда вы с сестренкой или, скажем, с братишкой лежали в кроватках, в совершенно пустой и темной квартире, поздним зимним или поздним поздней осени вечером, вы лежали порознь или забравшись друг к другу и томительно, с отвратительным бурленьем в животиках не спали — какой там! — а ждали прихода в кои-то веки ушедшей куда-то из дома родной вашей матушки. И к тому же, представьте, как в пустой смежной комнате, как бы очнувшись внезапно от забытья или обморока, от длительной паузы, начинал взывать, подавать те сигналы — сигнал за сигналом,— надрываться, выходить из себя, начинал биться в истерике тот самый, давно уже на соленоиды и дощечки раздробленный аппарат, что висел в простенке где-то там между одним из углов и одной из дверей.

И призываемый истошным сигналом, в длинной фланелевой ночной рубашонке, вы на какой-то момент замирали от жути и страха на пороге той комнаты...

Не скрежещите зубами, не торопитесь осудить, возмутиться смехотворными страхами, не знающий страха читатель,— что было, то было — и жизнь на жизнь не приходится, как говорится. Да и разве дело в той комнате? Разве дело в призывных истерических воплях того давным-давно уступившего неумолимо катящемуся прогрессу примитивного вполне аппарата, что тем более давным-давно и где-то там засыпан, раздроблен на составные дощечки и соленоиды? Разве дело в истерике того аппарата? Дело совершенно в ином. Дело в том, что у подола той рубашонки, у порога той комнаты, у гнезда шпингалета, на холодном, ревниво натертом паркете, у босых или поспешно сунутых в туфельки ножек, плескалась темная таинственность ночи.

Вот ведь в чем дело!

Разве дело в той комнате, разве дело в той мебели, дремлющей, равнодушно вздыхая и охая, разве дело в том с привычного места сдвинутом кресле, в том брошенном пледе, в тех любовно застеленных, деревянных, супружеских, все еще, как чья-то последняя и отчаянная надежда, как злой парадокс какой-то, как заклинание, как сплошной и жестокий вымысел-анахронизм, мирно стоящих рядом кроватях, разве дело в вечно бессонных и все отражающих зеркалах зеркального шкафа и трельяжного столика, сгинувшего давно и бесследно?

Разве дело в немо внемлющей мебели, в пледе, то ли стоящем, то ли странно свисающем? в тех веющих, реющих, носящихся в темноте над мирно стоящими рядом кроватями парадоксах, надеждах, анахронизмах, фантазиях? Разве дело в не раз и не два отражавшихся в тех зеркалах и отброшенных на стены странных от воска тенях? Ооо! Разве дело во всем этом, многократно, нет, бесконечное количество раз отразившемся в сумраке с бликами света?

А вы маленький, нежный, у гнезда шпингалета на холодном паркете, и у подола фланелевой вашей, длинной рубашки плещется темная таинственность ночи. Вот как! Вот ведь что! Вот ведь в чем дело!

Итак, если вы ясно представили это мое или пускай даже не это, а совершенно иное — ваше зеркальное зеркало, если вы ясно представили мое или ваше единственное, незаменимое зеркало, то давайте приступим к нему и в нем отразимся.

Не знаю, как вы, а я — не люблю отражаться. Можно понять еще как-то людей, принуждаемых к этому определенным родом занятия, тех, кто в силу особых условий должен постоянно доискиваться предельных возможностей мимики и выразительности. Но так просто, ни с того ни с сего, подойти вдруг к зеркалу и самому себе делать гримасы, самому себе улыбаться или наводить перед зеркалом глубину выражения — «делать лицо», как довольно удачно выразился какой-то поэт... Делать лицо! Величественно отстраняясь и горделиво закидываясь... Любоваться своею персоною, когда, ни на что уже не обращая внимания, со сладострастием даже каким-то взор погружается в зеркальные глуби, так что даже с трудом и медлительно, дабы двинуться далее, извлекается потом на поверхность или, уже двинувшись далее, с трудом вырывается, наподобие за что-то там в глубине зацепившейся снасти.

Делать лицо! Нет, избавьте меня! Терпеть не могу глядеться в зеркало и тем более «делать лицо»!

Терпеть-то не можешь, но в повседневной жизни поминутно в них отражаешься!

И как тут не отразиться, когда прозаические, но хищные зеркала эти подстерегают тебя буквально на каждом шагу. И невольно порой (не жмуриться же беспрестанно, не отворачиваться же на каждом шагу?!) зацепишься взглядом за свое собственное, внезапно возникшее, сбоку или прямо по ходу твоему, отражение, невольно порой взор твой углубится в свой собственный, отброшенный зеркалом взор. Притом необходимость, почти ежедневная, общения с зеркалом!.. И как тут, в этом последнем-то случае, обойдешься хотя бы без самого наипростейшего зеркала, к тому же когда оно на каких-нибудь стенках-простенках постоянно торчит перед твоими глазами. А встретившись с глазу на глаз со своим отражением, как тут не взглянуть на него со вниманием, со сторонним таким и холодным вниманием, любопытством, интересом, пытливостью, или как, наподобие того всем известного с самого детства героя, не «сделать себе одного-двух сюрпризов», и грустно и ободряюще, в одно и то же мгновение не улыбнуться, или даже не подмигнуть себе в некоем случае «бровью, губами», или, напротив, порою в усугубление, как не наградить себя издевательски кислой гримасой — вот так да еще и вот эдак. И ведь что всего более странно и удивительно,— бывает порой такое вот наиглупейшее общение со своим отражением, такая вот наибессмысленнейшая улыбка или гримаса, каким-то наистраннейшим манером — не так ли, как самая последняя капля в до края наполненной чаше? — благотворнейшим образом влияет на ваше душевное расположение, и если даже коренным образом его не меняет,— где и куда уж тут! — то хотя бы служит приблизительному восстановлению отчаянно пошатнувшегося его равновесия.

Но поверьте мне на слово, я искренне не люблю отражаться. Так еще, в пылу и в жару оживленного спора или в сосредоточенном самоуглубленном молчании, совершенно внезапно, случайно, как говорится, врасплох захватить мимолетный момент своего бескорыстия, своего положительного выражения — ведь у каждого почти бывают какие-то вот такие моменты, хотя бы мимолетные положительные моменты, добрые, умные выражения или хотя бы оттенки выражений добрых и умных.

Но даже в этом исключительном случае пролился этот мимолетный момент или даже мимолетная частица момента внезапности — обратил внимание на себя отраженного и... все пропало: ты уже смотришь на себя со вниманием, ты уже хватаешь текущий момент, ты уже наблюдаешь за собой наблюдающим и наблюдающим за собой наблюдающим... ты уже не искренен, ты уже лжив, и разные эти оттенки наслаиваются, размывают, борются и мутят друг друга и, если разобраться в этом возникшем смятении, то тут же поймешь, что истинно, с пользою, правдиво общаться с собою ты можешь лишь только внутри себя,— чем глубже, тем лучше,— а уж никак не снаружи, а уж никак не будучи, так сказать, раз-двоенным, раз-четверенным...

И все же, все это, пока что, сторона субъективная, то есть сторона, связанная с ложью, неискренностью, раздвоенностью смотрящего в зеркало, иными словами, с тем, источник чего всегда остается по сю сторону зеркальной поверхности.

Но ведь суть дела в том, что ложь процветает, господствует даже и по ту ее сторону.

И речь в данном случае не о кривых зеркалах, не о блестящем шаре-игрушке, висящем на праздничном дереве, не о блестящей поверхности старинного спиртового кофейника, самовара или современного чайника, включенного в сеть, к которым — самовару, кофейнику, чайнику — вы максимально и любознательно, чуть-чуть не сжигая его, придвигали, бывало, свой нос.

Нет, речь идет об амальгамно-зеркальных глубинах нормального, плоского зеркала.

Вы, наверно, заметили, что, стараясь вернуть из забвения старинное и с детства родное мне зеркало, я несколько раз уже мельком упоминал об его прирожденном коварстве и лживости. Можно, казалось бы, задаться вопросом, как же так, мол, ты решаешься писать о предмете с такой неподдельной любовью, уделяешь ему столь много внимания, когда предмет этот лжив, как оказывается и как говорится, до мозга костей? Но чего не бывает, мой строгий читатель, в нашей с вами прихотливо протекающей жизни! И не стоит укорять меня в некоторого рода любви (несмотря ни на что!) к моему помутневшему от времени зеркалу, к зеркалу, у которого со мной, хотя по крови не родственные (куда там, с холодным, как льдина, зеркалом!), но тем не менее уходящие к са-амым, можно сказать, истокам моего данного существования назва́ные родственные и нежные связи. (Тем более к тому же, если учесть, что названный страшный изъян, равно причастный всему многочисленному и разноликому внешнезеркальному роду, может быть с легкостью нейтрализован самим же зеркальным между собою общением)...

Но здесь я хочу обратиться к свидетельству того уже раз упомянутого мною таланта, к его нашумевшему в свое время творению, творению, которому сам автор его прочил когда-то многовековую и славную жизнь; к тому самому произведению, которое, как я говорил уже, внезапно и в недавнее время (не знаю даже, к добру или к худу) обрушилось на мою голову в общем потоке тех нескольких произведений, в период завершающих стадий клубления моего собственного замысла.

Если вы помните, а я уверен, вы помните — его нельзя не запомнить,— если вы помните, в этом произведении, между прочим, описано обыкновенное, уличное — что здесь вернее: обыкновенное или необыкновенное? — зеркало. О, как точно, как ярко, как восхитительно, как материально, наконец, описано это превосходное зеркало: вы действительно вдруг оказываетесь на шумной, спешащей улице, и вы действительно вдруг утыкаетесь в неизвестно как перед вами возникшее зеркало, «вы даже растерянно улыбаетесь снующим прохожим», «вы, как говорится, заходитесь. Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению...» (не блестяще, не предельно ли все это жизненно и не волшебно ли в то же самое время!) И далее: «все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше точно в тропических кущах. Чересчур»... Но довольно, прервем на секунду наше восторженное, но не допустимое самовластной щедростью перенесение тропически дивных растений в наши сравнительно скудные, каменистые и волглые грунты. Прервем... потому что как раз в данном месте нам захотелось — нет, хуже того, нам неотвратимо потребно влить меру дегтя, даже полную меру горькой кипящей смолы — кто скажет, что кипящая смола не горька?! — в превозносимое нами творение.

Дело в том, что, пораженный таинственной странностью зеркального мира, наш автор, вернее герой его (конечно же, только герой!), обнаружив, что все как будто бы «рухнуло, переменилось, приобрело какую-то новую правильность» (какую же новую правильность? Не лживую ль новую правильность?), и живейше, художественно описав нам свои ощущения, по-видимому, не понял основного свойства или основного закона зеркал.

Послушайте только! «Ваше лицо неподвижно повисает в том зеркале, оно одно имеет естественные формы (!), оно одно — частица, сохранившаяся...» (!) Нет, ничего не понял автор или герой его в зеркальном мире! Удивлен, поражен, живописует, но ничего не понял! Не понял закона зеркал! И в этом горе его, в этом его горькое, отчаянное горе. И тут невольно возникает предположение: может, стороною пройдя по жизни, он не понял и самой жизни, одного из главных ее законов? Как же, лицо его «сохранившаяся частица»? Неправда это! Ваше лицо там тоже не сохранилось! Оно оболгано, искажено, оно нарушено, оно не то лицо, оно не ваше лицо! И не доверяйте ему! Не доверяйте тому своему лицу!

Если вы простояли час и не поняли этого, то, проглотив свою сладость, постойте еще и поймите же: там все наоборот и навыворот, там все, и ваше лицо в том числе, катастрофически наоборот и навыворот! Там, в зеркале — ложь! Там все-все сугубая ложь!

Давайте же, уважаемый и любезный читатель, вместе с вами, вслед за этим героем, каждый довняв или вовремя выплюнув коварную и липкую сладость, трезво, спокойно, обратим свои лица к какому-нибудь случайному зеркалу и в нем отразимся. Что мы увидим? Свое лицо. Как будто бы свое, а не чужое лицо. Подмигните ему — вам в ответ подмигнут не тем глазом. Махните рукой — в ответ вам махнут не той совершенно рукою. Почешите за ухом... Итак, что вы ни сделаете: почешете у ноздри или за ухом, моргнете, махнете — вам издевательски все будут коверкать.

Но те, кто давно или недавно знает об этом, не торопитесь смеяться над очевидностью приведенных и как будто бы разумеющихся само собой фактов. Не все и не для всех так уж сразу становится ясным, не все и не для всех так сразу и просто бывает уложить в свою голову. Тем более что факт этот действительно труден для восприятия особого склада умов и натур. И в этом, последнем случае вы можете и час, и два часа, и подряд много часов с кем-

либо подобным биться у зеркала, махать руками, подмигивать, параллельно убеждая все это проделывать и ту, особого склада натуру, известись вконец можете и... ничего не добиться.

К примеру, предположим, вы можете попытаться втолковать этот факт какой-нибудь совсем еще юной особе, и для того, чтобы придать словам своим поболее веса, вы можете обратиться за подтверждением к как будто бы вполне умудренной жизненным опытом родственнице (к близкой ли, дальней ли — какое значение), глубокой поклоннице всяческих великанов, титанов и того всем известного, знаменитого иноплеменного императора и полководца (ох уж все эти донельзя восторженные поклонницы великанов, титанов и того императора!); к близкой ли, дальней ли родственнице — какое имеет значение — но самой по себе даже в некотором роде героической женщине. И вот она подойдет, взглянет, посмотрит, искренне и до глубины души возмутится и решительно и не колеблясь более тут же заявит, что все это бред какой-то, ваш личный, неумный и надуманный бред, что этого никогда, нигде не бывало и быть не могло. «Ерунда! Не может этого быть!» — воскликнет почтенная родственница. И после этого ее заключения вы уже не сможете в какой-либо степени поколебать ни ее этого, на ваш взгляд, совершенно превратного мнения (хотя как раз для себя лично она, может быть, в чем-то права?!), ни мнения той юной особы. Хотя, может быть,— вы всей душой хотели бы на это надеяться — в случае с той, совершенно еще юной особой, все обстоит и не так уж плачевно и безнадежно.

Но все это, в конце концов, в данном случае, не самое главное. Вы, конечно же, давно уже догадались, что не из-за вздора какого-нибудь, не из-за каприза, не для того, чтобы просто лишь удостовериться в этом приведенном мною выше зеркальном феномене, бесспорно же важном, хотя все же и лежащем достаточно на поверхности, я так давно и настойчиво зову вас отразиться вместе со мною в старинном зеркальном зеркале моего зеркального шкафа. Но в то же время, с другой стороны, нам теперь уже определенно должно быть ясно, что для какой-либо и сколько-нибудь серьезной цели мы не можем, не должны, не имеем права использовать отражение, полученное с помощью какого бы то ни было, хотя бы с детства привычного нам, хотя бы какого угодно исключительного по своим зеркальным возможностям, но отдельно взятого зеркала. Для этого, как уже было вскользь упомянуто, необходима нейтрализация. Необходимо создать систему зеркал — двух или, во всяком случае, по-видимому, четную систему зеркал, в которой бы взаимно уничтожались все их лживые свойства.

Зерцало вод для данной задачи в физическом плане, подчеркиваю — только в физическом плане, никак не подходит, так как для создания подобной системы потребно совершенно свободно манипулировать зеркалами, помещать их, ища выгодной точки, под разнообразными углами друг к другу.

И действительно, ведь для того чтобы создать систему зеркал, не пойдешь же прямехонько в поля и леса, пускай даже в ночные поля и леса, чтобы ловить там голой рукою диких зверей и как-то ухищряться заглядывать им в отверстые навстречу зрачки или чтобы подыскивать там какое-нибудь подходящее, не говоря уж о море, а некрупное озеро и пытаться поднять его, беря обеими своими руками и упирая краем в живот (рискуя при этом выплеснуть всю озерную воду, со всем ее содержимым и с мирно купающейся отраженной луной), пытаться поднять его, словно какое-то большое овальное зеркало и пытаться как-то, под определенным углом пристроив его к другому подобному озеру, начать в них — озерах — отражаться, рассматривать свое лицо и фигуру. Невозможно это!

Кроме конфуза ничего не выйдет из этой затеи! Ничего не получится у такого по меньшей мере чудака и фантаста!

Можно, конечно, составить систему из зеркальной поверхности вод и из обыкновенного зеркала. Для этого, правда, придется какое-то зеркало крупных размеров или предварительно снятую с петель зеркальную дверцу тащить по росе, по траве, на берега какого-нибудь водоема и опять же пытаться устанавливать его там — на воде или на берегу — под определенным углом к водоемной поверхности. Это вполне реально, осуществимо вполне, даже в обычных условиях. Но возникает вопрос, стоит ли задаваться целью создания подобной достаточно сложной и трудоемкой системы зерцал? Пожалуй, не стоит. Но если не стоит, то не стоит в физическом плане, в плане же поэтическом, в фантастическом плане, может, и стоит? Может, с помощью этой трудоемкой и сложной системы (в фантастическом плане) удастся рассмотреть кое-какие любопытные, хотя, так сказать, и лежащие на самой поверхности, но ускользающие обыкновенно от внимания нашего объекты и свойства? Но отложим решение этого поставленного нами вопроса и обратимся к реальной действительности.

В реальной же действительности нам необходимо создать реальную систему зеркал, в которой мы с вами могли бы легко отразиться. А так как у нас под рукою зеркало зеркального шкафа и зеркало туалетного столика, то давайте же засучив рукава приложим небольшое усилие и совместно двинем-подвинем зеркала эти и образуем необходимую систему зеркал.

Теперь все готово: комната наша полным-полна солнца, в гранях зеркального зеркала играют отсветные радуги, и на потолке дрожат и колеблются, идут бесконечной волною, всегда почему-то навстречу друг другу, все те же и в то же время всегда и безнадежно иные, блики той самой стихии, плещущей за вашими окнами...

Давайте же смело приступим, давайте же наконец отразимся в тот же миг в одном и в другом — сразу в двух, сразу в целой системе зеркал.

Совлечем же одежды, разоблачимся тихо, в сторонке, и обнаженными, раскинув руки, смело вступим в систему зеркал.

Но опять же, если вы никогда не имели дела с системой зеркал и дабы, сию минуту вступив в нее, вы не смутились, я вас предупрежу еще об одном.

Дело в том, что лицо, как нам известно, надолго и неподвижно повисшее в том тропическом, буйно цветущем лесу, недаром повисло там «одно-единственное, оставаясь в естественных формах!». Просто-напросто герой тот, как и всякий даже второстепенный герой, как и мы с вами, с первых дней своей жизни наблюдал вокруг себя внешне правильный мир и лишь в зеркале нашел его искаженным. Лицо же свое он, по-видимому, никогда не видал и не наблюдал. С первых сознательных проблесков он, должно быть, привык видеть вместо него — не свое — свое, но чужое — свое, но вывернутое наизнанку лицо.

Так вот, вступив в систему зеркал, вы найдете там «не свое», а «чужое лицо», то есть, может быть, в первый раз в жизни вы найдете там свое, а не чужое лицо. И оно, на первых порах, покажется вам в д в о й н е незнакомым и чуждым, и вы будете вынуждены какое-то время с ним знакомиться заново и к нему привыкать.

Ну вот, теперь наконец глянем в оба — в одно из зеркал. Вы видите? Перед вами картина, удивительно во всех деталях знакомая. Правда, взгляд ваш несколько скошен, но что же поделать — это издержка системы. И вроде бы чуждо лицо, но об этом разговор уже был: приглядитесь, обвыкнете, как говорится, слюбится-стерпится.

Итак, все вроде бы уравновешено...

О, конечно же, как там, так и тут на теле вашем, на вашем лице могут встретиться нанесенные вам в иные периоды вашей жизни как с добрым, так и с недобрым намерением, как с умыслом, так и без всякого умысла, различные по существу и по внешним приметам изъяны: изъятое когда-то ребро, даже ранение, на какой-нибудь одной из конечностей — не говоря уж о тех, кто был всерьез ранен, или о тех, кто потерял безвозвратно целые члены,— какое-нибудь под глазом пятно или порванное в неравной борьбе и благополучно зашитое ухо, ну и т. д., уж не говоря о плеяде почти что бесчисленных и вполне бессистемных, мелких шрамов, зарубин, царапин наиболее ранней эпохи вашей сознательной жизни, ныне еле белеющих на вашем теле чуть заметными, чем ближе к самым, самым конечностям, тем более частыми росчерками, запятыми, закорючками, похожими в большинстве на те забытые письмена — иероглифы, ключ к которым давно и безнадежно утерян.

Ну, а кроме того, кроме всех этих мелких и крупных, поверхностных и бессистемных зарубин, кроме невидимого, но наверно же крайне существенного, известного всем нам смещения внутренних органов, есть и еще в лице вашем и в вашей фигуре уйма разнообразнейших несоответствий и отклонений (хотя бы грусть-тоска одного — и некоторая веселость глаза другого), в свою очередь, должно быть, являющихся проявлением каких-то внутренних и тоже, должно быть, очень существенных неравновесий, несоответствий и отклонений (и разно и в разной степени у разных субъектов). И тут уж, как говорится, не на что бывает пенять...

Вглядитесь в лицо свое, в живот свой, вглядитесь в свои плечи, голени, и если вы до сих пор ни на что подобное не обращали внимания — хотя это почти невозможно и невероятно,— то теперь, я убежден в этом, вы его обратите.

(Окончание следует)

СЕМЕН ЛИПКИН

★

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Военная песня

Что ты заводишь песню военну...
Державин.

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте «Старку» по чаркам.
Скоро в дорогу. Скоро награда,
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Голое тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Зимний закат

Вот я вижу тебя сквозь очередь,
Где в былое пятятся годы,
Соименница дерзкой дочери
Сандомирского воеводы.

Как привыкла ты, пообедали
В метростроевской мы обжорке,
На закате зимнем проведали
Те, что помнила ты, задворки.

Вот любуемся мы домишками
И церквами Замоскворечья,
На тебе, как на князе Мышкине,
Тонкий плащ топорщил оплечья.

О декабрьской забыв суровости,
Мне своим говорком московским
Сообщала старые новости
О Бальмонте, о Мережковском.

Притворились, что не заметили,
Как над нами кружится стужа.
Где присяжные? Где свидетели?
Где Париж? Где погибель мужа?

А порой от намека слабого
Поднималась надменно бровка...

Далека, далека Елабуга
И татарская та веревка.

Деревенька

Хорошо белеют вдоль дорожки
Донника серебряные брошки,
Липу облетают мотыльки,
И большое облако в тумане,
Как беременная в сарафане,
Пухнет в мутном зеркале реки.

Деревеньку дьявол, что ль, пометил?
Утро здесь не возвещает петел,
И средь лип — ни всхлипов и ни снов,
Не звенит в коровнике подойник,
И молчит, как в саване покойник,
Длинный ряд пустых домов.

Ломовая латынь

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацьи воров, блатарей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел Твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.

1952.

В царстве флоры

В стране деревьев и цветов лесных
Я думаю о существах иных.

Я думаю о близких существах,
Осмысленных в цветах и деревах.

Мне кажется, что легкая сосна —
Та девочка, чья южная весна

Пролепетала в отроческий час
Мне первый и пленительный отказ.

Мне кажется: акация, как мать,
Откинула серебряную прядь.

И говорят мне белые цветы:
«Все правильно, мой мальчик, сделал ты».

Я вижу старый искривленный дуб.
Рисунок узнаю отцовских губ.

Еще мгновенье — он уйдет во тьму,
Сейчас не хватит воздуха ему.

А кто стоит среди кустов и трав,
А сам, как лес, как целый лес, кудряв?

И ствол его, до самой купины
Обугленный дыханием войны,

Навеки, прочно в эту землю врос,
Ничто ему ни вьюга, ни мороз,

Всегда во мне, поныне с давних пор,
Исследующий, требующий взор.

Одетое душистою листвой,
Мне деревце кивает головой,

И я на голос двигаюсь ольхи,
Читающей безумные стихи,

И жаром араратского огня
Два разных глаза веют на меня.

В часе ходьбы от Веймара

Тайный советник, поэт и ученый
В обществе дам, двух подруг герцогини,
Медленно движется рощей зеленой,
Ясен покой на лесистой вершине;

В купах дерев различаешь дыханье
Листьев; и птицы к закату замолкли;
Завечерело; и слышно шуршанье:
Речь ли немецкая? Травка ли? Шелк ли?

Дамы внимают советнику Гете,
Оптики он объясняет основы,
Не замечая в тускнеющем свете,
Что уже камеры смерти готовы;

Ямы в Большом Эттерсберге копают,
Всюду столбы с электричеством ставят;
В роще бензином живых обливают
И кислотою синильною травят.

На Истре

Не себя нынче звезды славят,
Засветясь в предпраздничный вечер,—
Это кроткие ангелы ставят
Перед Божьей Матерью свечи.

И когда на неделе вербной
Звездный свет до земли доходит,
Не гараж со стеной vщербной,
Не пустое село находит,

А исчезнувший сад монастырский —
Сколько яблок созреет сладких!
На продажу — калач богатырский,
Мед в корчагах и масло в кадках.

Возле фабрики тонкосуконной
Слобода построилась быстро,
И не молкнет гул семизвонный
Над бегущей весело Истрой.

На монахинь глядит Приснодева —
Кто в саду, кто стелет холстину —
И узревшему землю из хлева
Выбирает невесту сыну.

Камень

Я камень запомнил средь горных дорог.
Там травы не знают, что где-то их косят.
Он был одинок, как языческий бог,
Которому жертвы уже не приносят.

Он был равнодушен и к бегу машин,
И к тихим движеньям стареющих мулов,
При свете дневном оставался один
И ночью, в мерцании звезд и аулов.

Но было ведь, было: молил его жрец
От глада и мора избавить селенья,
И жертвенник он вспоминал, и овец,
И сладостный запах священного тленья.

Столетья, как стадо, шли мимо него,
Но их замечать не хотел он упрямо,
Когда облака обступали его,
Он думал, что это развалины храма.

***

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

★

КОТЛОВАН

Повесть

Платонов относится к тем более чем редкостным писателям, слово которых — сколько бы о них ни писали и ни говорили, сколько бы ни размышляли, ни разгадывали — до конца не будет разгадано никогда.

И мы это чувствуем, и нам остается принимать писателя таким, каков он есть, соглашаясь, может быть, возмущаясь, но более всего — удивляясь ему.

Он как бы некий упрек нам — людям с обычным языком и с обычными понятиями.

Такого рода писатели, сколько бы они ни просуществовали на свете, уже при жизни из жизни выпадают — из ее реального устройства, из человеческого общества, из исторических и современных представлений.

Автор «Котлована», мне кажется, и в том, и в другом, и в третьем явлении жизни — повсюду — способен увидеть «котлованность», то есть нелепость, дисгармоничность, драму человеческого существования. Но это именно потому, что душа его больше всего нуждается в разумении и гармонии.

Читая Платонова, мы далеко не всегда узнаем людей в тех людях которых он создает на страницах своих произведений, но в то же время мы что-то от них вдруг безошибочно угадываем в самих себе, и эта близкая нам потусторонность захватывает нас.

Это — не мистика и не фантастичность, как мы знаем ее по литературе, не ирония, не сатира, не вычурность и не примитив, не реализм и не абстракция: это — искусство (здесь необходимо повториться), которое находится вне наших понятий о нем, хотя понятия эти, казалось бы, уже развиты до предела, и не только развиты, но, кажется, изощрены.

Да, так оно и есть — своей неподотчетностью нам оно и привлекает нас Своей болью, своим страхом за будущее — боль, страх и множество нелепиц жизни тоже ведь не подотчетны нам.

В подлинном искусстве обязательно должна быть загадка — это мы знаем и любим, наверное, потому, что еще больше любим разгадки, но перед Платоновым мы то и дело пасуем.

Тем большую обязанность встречаться с ним мы испытываем, а наше читательское достоинство заключается не в том, чтобы уходить от него и чтобы узнавать его — пусть даже вопреки своим привычкам и устоявшимся представлениям.

Ведь Платонов — еще и та страница нашей отечественной словесности, которая и после классики XIX века снова удивило мир заставило его вздрогнуть и даже растеряться перед лицом все той же русской литературы, настоятельную необходимость в которой испытывает человек любой национальности, если только он стремится к пониманию человечества.

С. ЗАЛЫГИН.

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении.— Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства,— сказали в завкоме.— О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

— Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Вощев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически,— наблюдал родителей Вощев,— сущности они не чувствуют».

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вощев, обратясь в окно.— У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги.— Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близко,— ответил надзиратель,— если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка,— сказал Вощев,— когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер и где-то кричали петухи на деревне — все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни,— со скупостью сочувствия полагал Вощев,— лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая,— сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием.— Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

— Я ж вчера тебе целый рубль дал,— сказал кузнец.— Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид.— Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:

— Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато нael громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каж-

дая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека не смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь,— сказал он инвалиду.— Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий.

Вощев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека.— Получить от меня захотел?!

— Нет,— ответил Вощев.— Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

— Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили,— тихо проговорил Вощев.— Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты,— нету.

— Я на войне настоящей не был,— сказал Вощев.— Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

— Эх!..— жалобно произнес кузнец.— Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Вощев.— Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Вощев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площади.

— Чего тебе! — неохотно говорил Вощев.— Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями,— каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует,— и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

— Он слаб!

— Он несознательный.

— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.

— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.

— Видя по его телу, класс его бедный.

Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от изможденья слабо росла борода.

— Я здесь не существую,— произнес Вощев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного.— Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили ..

Все мастеровые молчали против Вощева; их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде.— Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста.— Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверно, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Вощев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от изможденья слабо росла борода.

В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака; время пробужденья миновало, наступила пора питаться для дневного труда...

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели изможденье. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

— Иди с нами кушать! — позвали Вощева евшие люди.

Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

— Что же ты такой скудный? — спросили у него.

— Так,— ответил Вощев.— Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали до-

роги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит — весь народ занят жизнью и трудом.

Вощев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.

— Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

— Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.

— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата,— и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

— Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем — чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

— Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жи-

лища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья,— тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафронов. — Что мы — или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный.— У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека,— и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Вощев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом — он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.

— Мало рук,— сказал Чиклин инженеру,— это измор, а не работа — время всю пользу съест.

— Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто,— ответил инженер.— Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я: вы — ведущая бригада.

— Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.

И сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась

потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было — его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе и его любили девушки — из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было преданно всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.

К полудню усердие Вощева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

— Козлов! — крикнул ему Сафронов.— Тебе опять неможется?

— Опять,— ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

— Наслаждаешься много,— произнес Сафронов.— Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.

— За что он тебя? — спросил Вощев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

— Они говорят,— ответил он,— что у меня женщины нету,— с трудом обиды сказал Козлов,— что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!

Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

— Сафронов,— сказал Вощев, ослабев терпеньем,— лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумаешь,— не отвлекаясь сообщил Сафронов,— у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.

— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спереди.— Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил, кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

— Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! — сказал Чиклин.— Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам — его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные непременные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

— В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня — суббота: вам уже пора кончать.

— Как так кончать? — спросил Чиклин.— Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.

— А надо кончать,— возразил производитель работ.— Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.

— Тот закон для одних усталых элементов,— воспрепятствовал Чиклин,— а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? — спросил он у всех.

— До вечера долго,— сообщил Сафронов,— чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

— Может, природа нам что-нибудь покажет внизу,— сказал Вощев.

— И то! — произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

— Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

— А то что ж: ступай почерти и посчитай! — согласился Чиклин.— Все равно земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода, и он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма,— наслаждаться както еще рано и ни к чему; лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился.

— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят,— сообщил Козлов.— Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

— Козлов, ты скот! — определил Сафронов.— На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов.— А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!

Вощев заволновался от дружбы к Козлову.

— Грусть — это ничего, товарищ Козлов,— сказал он,— это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг.

Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам.

Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь.

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк; он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал,— камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?

Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и — точно грусть — стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего кроме мертвого строительного материала и усталых, недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды

душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека? А если производство улучшить до точной экономии — то будут ли происходить из него косвенные, нежданные продукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто,— вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру — флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать.

Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался;

— Либо мне погибнуть?

Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение, и где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату.

— Лучше я умру,— подумал Прушевский.— Мною пользуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.

И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополуночи, и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов[1].

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел[2].

«Ну, что ж,— говорил он обычно во время трудности,— все равно

счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству.

— Темп тих,— произнес он мастеровым.— Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.

— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся,— сказал Козлов.

— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!

Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек — скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства.

Пашкин глянул вдаль — в равнины и овраги; где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводится разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех все выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся.

— Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы,— сказал Пашкин.

— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов.— Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам.

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:

— Товарищ Пашкин, вон у нас Вощев зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад.

— Не вижу здесь никакого конфликта — в пролетариате сейчас убыток,— дал заключение Пашкин и оставил Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений.

До самого полудня время шло благополучно: никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Вощев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить.

После полудня Козлов уже не мог надышаться — он старался вздыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу.

— Расстроился? — спросил его Сафронов.— Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыслишь отстало.

Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения, он не знал, для чего ему жить иначе — еще вором станешь или тронешь революцию.

— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов.— Не переживет он социализма — какой-то функции в нем не хватает!

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился; он прислонился

влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминание — больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и врезать глубину в водоупор.

— Козлов пускай поболеет,— сказал Чиклин, прибыв обратно.— Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом в овраг и оттуда наладим его вверх: Козлов успеет дожить.

Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую организованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.

— Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама спускается в нашу массу.

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к остающимся людям. С особой трогательностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил,— теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без пристальности обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных отшельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади; в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе.

Прушевский определил Чиклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете.

— Нам это ничто,— высказался Сафронов.— Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем.

— Вот-вот,— произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади Чиклина на овраг.

Чиклин сказал, что овраг это более чем пополам готовый котлован и посредством оврага можно сберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание.

— А во мне пошевельнулось научное сомнение,— сморщив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Сафронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума.— Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось? — произносил постепенно Сафронов.— Иль он особое лобзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улучшенья!..

Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно:

— Некуда жить, вот и думаешь в голову.

Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Вощев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверно, он знает смысл природной жизни»,— тихо подумал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил:

— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?

Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неужели о н и тоже будут интеллигенцией, неужели н а с капитализм родил двоешками,— боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю,— ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили.

— Зря,— определил Вощев.— Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она мала!

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть.

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта менее точно,— теперь же ему хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению,— и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги.

Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе снаружи. И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.

Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил канцелярию земляных работ. В природе отходил в вечер опустошенный летний день; все постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди, смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пусто, землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас происходило их движение. Прушевскому захотелось вдруг побыть в далеком центральном городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и пробеседовать с ней всю ночь, испытывая таинст-

венное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись в пустоте рассвета без обещанья встречи.

Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома отца — летние вечера не изменились с тех пор,— и он любил тогда следить за прохожими мимо; иные ему нравились, и он жалел, что не все люди знакомы между собой. Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко прошла не остановившись.

Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встретил Вощев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю.

Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело — не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю.

— Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья.— Опять хочешь от меня койчего заработать?

Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился — он никогда не желал тратить нервность своего тела.

— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?

Жачев ответил ему прямо по факту:

— Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду — любой кодекс для меня слаб!

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.

— Товарищ Жачев,— ответил Пашкин,— я тебя вовсе не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.

— Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попадался, а не ты шел!

В кабинет Пашкина вошла его супруга — с красными губами, жующими мясо.

— Левочка, ты опять волнуешься? — сказала она.— Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.

— Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! — произносил из сада Жачев.— На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведовать такой с...!

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.

— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.

— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из мрака.— Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.

— Оля, он еще сливок требует,— обратился Пашкин.

— Ну вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? Ты ведь выдумаешь!

— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал,— сказал с клумбы Жачев.— Иль окно спальной прошиб до самого пудренного столика, где она свою рожу уснащивает,— она от меня хочет заработать!..

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование,— даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.

— И качество продуктов я дома проверю,— сообщил он, остановив свой экипаж у калитки.— Если опять порченый кусок говядины или просто объедок попадется — надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас — мне нужна достойная пища.

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:

— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева — по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина и направил движение своей тележки на земляной котлован.

— Никит! — позвал он у ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.

— Без сна рабочий человек давно бы кончился,— подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им виден.

— Ты кто такой низкий? — спросил голос Сафронова.

— Это я,— сказал Жачев,— потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?

— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот же Сафронов.— Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.

Чиклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.

— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин.— Кашу приехал есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтрему прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье.

— Я по тебе соскучился,— сообщил Жачев,— меня нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!

— Вот сделай злак из такого лопуха! — сказал Сафронов про урода.— Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нету момента чувства ума!

Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугун каши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть. Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости; они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным замком.

Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем,— слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.

— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости!

— Что ж мне, обнимать тебя, что ли,— ответил Чиклин.— Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что!

— Могу,— ответил Сафронов,— смело могу! Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращу, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения.

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев

уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Вощев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства.

— Говорили, что все на свете знаете,— сказал Вощев,— а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить.

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей походкой.

— Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательно получить этот продукт — в круглом или жидком?

— Не трожь его,— определил Чиклин,— мы все живем на пустом свете, разве у тебя спокойно на душе?

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Вощева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!

— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации,— с полной значительностью обратился Сафронов.— Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...

— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать,— сказал пробуженный Козлов.— Перестань брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся — сон ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут...

Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Вощеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Вощев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.

Все последние бодрствующие легли и успокоились; ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя или радуясь.

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь; он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось — наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими, молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным существом,— и так он прошел в то время мимо нее не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо.

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у Чиклина был единственным со времен покорения буржуазии, обо-

сновавшись на ночь, как на зиму, он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе.

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа.

— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Прушевский.— Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить...

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и со стеснением молчал.

Прушевский сел на скамью и поник головой; решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним.

— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время беспокоюсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до утра?

— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин.— Среди нас ты будешь отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь.

— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильно.

Чиклин и не думал ничего.

— Не уходи отсюда никуда,— произнес он.— Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.

Прушевский сидел все в том же своем настроении; лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего.

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал:

— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели мое лицо и смело спали...

Жачев тоже проснулся на тележке.

— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского.— А то у меня есть буржуйская пища.

— Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов.— Где это вам представился буржуазный персонал?

— Стихни, темная мелочь! — ответил Жачев.— Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб очистить место!

— Ты не бойся,— говорил Чиклин Прушевскому,— ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня.

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чиклина и там лег в одежде.

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться.

— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил,— тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь.— Все думал, что успею.

— Теперь вы механически выбывший человек: факт! — сообщил со своего места Сафронов.

— Спите молча! — сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Коз-

лову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством, он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства от несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость и эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от сна.

— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб,— хладнокровно сказал он.— Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.

— Не ваше дело,— ответил Прушевский.

— Нет, извините,— возразил Козлов,— каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства — вот что такое!

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Вощев слышал эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна»,— полагал он.

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Вощева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях; он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушевскому:

— Если вечером ему опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит.

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовою бедностью земли; но другого места для жизни не было дано.

— Однажды, давно — почти еще в детстве,— сказал Прушевский,— я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.

— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чиклин.

— В этом же городе.

— Так она, должно быть, дочь кафельщика! — догадался Чиклин.

— Почему? — произнес Прушевский.— Я не понимаю!

— А я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же отказался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек.

Прушевский скромно улыбнулся:

— Но почему же?

— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь; лишь бы она жила сейчас на свете!

Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет действовал вблизи и вдали на них обоих.

— Небось уж она пожилой теперь стала,— сказал вскоре Чиклин.— Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или кухарочная.

— Наверно,— подтвердил Прушевский.— Времени прошло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.

Они остановились на краю овражного котлована; надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь в целости.

— А скорей всего она теперь сознательница,— произнес Чиклин,— и действует для нашего блага: у кого в молодых летах было несчетное чувство, у того потом ум является.

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не устроено уюта, и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение:

— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чиклин, когда она придет?

Чиклин ответил ему:

— Ты ее почувствуешь и узнаешь — мало ли забытых на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!

Прушевский понял, что это правда и, побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде.

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к Чиклину.

— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе,— так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и произнес:

— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит.

— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов.— А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты подговорил одного бедняка во время самого курса на коллективизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты четкий!

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.

— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию,— сообщил Козлов.— Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта.

— Рабочий класс — не царь,— сказал Чиклин,— он бунтов не боится.

— Пускай не боится,— согласился Козлов.— Но все-таки лучше будет, как говорится, его постеречь.

Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнался вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб он первый разряд пенсии получил!» — и раздробил повозку между телом и землей благодаря падению.

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему человеку.— Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться.

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю.

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с другими очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал:

— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит — из него какой-нибудь принцип вырастет.

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.

— Прощай,— сказал ему Сафронов,— ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения...

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.

В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отощало внутри одежды и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве,— и уже настало время труда в овраге.

Разные сны представляются трудящемуся по ночам — одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, сгорбленным способом — терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате,— и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.

Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни

всякую несчастную мелочь природы как документы бесплановогo создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели; он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу, но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает свет жизни, надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.

— А что, товарищи,— сказал однажды Сафронов,— не поставить ли нам радио для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!

— Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио,— возразил Жачев.

— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?

— Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! — ответил Жачев.

— Ага,— вынес мнение Сафронов,— тогда, товарищ Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо.

— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету.

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.

— Ишь ты, железный инвентарь какой,— стоит и не боится,— рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой.— Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий супруг!

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал боль.

— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар,— сказал Сафронов.— А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.

— А для чего, товарищ Сафронов?— прислушался Вощев издали сарая.— Я хочу истину для производительности труда.

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.

— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей, смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами.

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь — он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.

— Что ж тут такое есть? — спросил у него Чиклин.

— Тут, дорогой человек, консервация — советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.

Чиклин сказал ему:

— Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питанья.

— А ты сам-то кто же будешь? — спросил старик, складывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо.— Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?

— Да я из пролетариата,— нехотя сообщил Чиклин.

— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.

С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь,— лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту и он мог на последнее прощанье только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон, и там горела на полу керосиновая лампа.

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.

Около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:

— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.

Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.

— А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила она у дочери.

— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты:

— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.

— Туши свет,— сказала старая женщина,— а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.

— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила девочка в темноте.

— Немножко,— ответила мать.— Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива...

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?..

— Мне стало скучно, я уморилась,— сказала мать.

— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет,— говорила девочка.— Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове... знаешь, что,— помолчала она,— я сейчас засну на одну только каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.

— Сними с меня твою веревочку,— сказала мать,— она меня задушит.

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо; до Чиклина не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь, ничто,— не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул — упал ли то старый кирпич в соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения.

— Подойдите ко мне кто-нибудь!

Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спекшихся трещинах, что она та самая.

— Зачем мне нужно? — понятливо сказала женщина.— Я буду всегда теперь одна.— И, повернувшись, умерла вниз лицом.

— Надо лампу зажечь,— громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение.

Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее

к себе на руки и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины.

В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели — общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...

— Товарищи, мы должны,— ежеминутно произносила требование труба,— обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!...

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же, и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..

Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой.

— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

— Оставь, Сафронов, в покое человека,— говорил Вощев,— нам и так скучно жить.

Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества:

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Вощев, соревноваться на высшее счастье настроенья!

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.

Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо, и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду.

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства.

Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался:

— Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!

И четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего и затем снова задремал.

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?

— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали,— объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.

— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!

— Ну так что ж,— сказал Чиклин.— Буржуйки все теперь умирают.

— Пускай умирают,— произнесла девочка.— Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.

— Ничего, ты будешь спать на моем животе,— обещал Чиклин.

— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?

— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.

— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!

Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.

— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!

— Какая я тебе Юлия?

— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч, как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.

Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.

— Я нашел твою девушку,— сказал Чиклин Прушевскому.— Пойдем смотреть ее, она еще цела.

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться вперед.

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуже.

— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях иль не тронут? — спросил старик.— Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; бабы сроду в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, как ведь стало интересно!

— Кому ты нужен! — сказал Чиклин.— Шагай себе молча.

— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит — бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.

— Подумай, старик,— посоветовал Чиклин.

— Да думать-то уж нечем.

— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.

— А я все уж позабыл, хоть сызнова живи.

Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.

— Она же мертвая! — удивился Прушевский.

— Ну и что ж! — сказал Чиклин.— Каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминанья.

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.

— Это не та, которую я видел в молодости,— произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: — А может быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них.

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему.

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для своего поцелуя,— веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности,— какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное.

— Ну, достаточно,— сказал Чиклин.— Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил ее рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

— Зачем ты стараешься?

— Как зачем? — удивился Чиклин.— Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!

Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки как память о скрывшемся навсегда валялись на его месте.

Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности: он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов

и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов.— Чем у тебя папаша-мамаша занимались?

— Я никто,— сказала девочка.

— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти?

— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать буржуйкой будет.

— Так как же ты организовалась?

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать.

— А я знаю, кто главный.

— Кто же? — прислушался Сафронов.

— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!

— Ну, девка,— смог проговорить Сафронов.— Сознательная женщина — твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался побольше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.

— Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! — останавливал его Сафронов.— Ведь здесь ребенок теперь живет, иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!

— Я, товарищ Сафронов, уж обсох,— заявил издали мужик.— Это я по отсталости растрогался.

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка.

— Где же живот-то? — спросила она, обернувшись на глядящих на нее.— На чем же я спать буду?

Чиклин сейчас же лег и приготовился.

— А кушать! — сказала девочка.— Сидят все, как Юлии какие, а мне есть нечего!

Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом.

— Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас — уже известно.

Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила Чиклина рукой, как привычную мать.

Сафронов, Вощев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костьми.

— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее чувство.— Перед нами лежит без сознанья фактический житель социализма.

Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной!

Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню.

И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, дабы приблизить срок бутовой кладки и остального зодчества.

— Как урод я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу!— сказал Жачев.— Вам ведь так и так все равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто, лучше любите что-нибудь маленькое живое и отравливайте себя трудом. Существуйте пока что!

Ввиду прохладного времени, Жачев заставил мужика снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время греться.

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы.

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: «Христос воскресе, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя сестра Аня».

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?» — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу — он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность.

Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость, они, наверно, гуляли и ожидали звездного вечера[3].

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.

— Вот к тебе, Прушевский,— сказал Чиклин. — Он просит отдать гробы ихней деревне.

— Какие гробы?

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни.

— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голосом. — Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай гробы!

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было отрыто сто пустых гробов; два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.

— Отдайте мужику остальные гробы,— ответил Прушевский.

— Все отдавай,— сказал человек. — Нам не хватает мертвого инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!

— Нет,— произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные.

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился:

— Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть.

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в контору.

— Елисей,— сказал он полуголому. — Я их тесемками в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит!

— Не устерег двух гробов,— высказался Елисей. — Во что теперь сам ляжешь?

— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил, умру — пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоминая забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза.

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился; он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле.

— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.

— Нет, дочка,— ответил Чиклин.— Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам.

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.

— А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить.

— И один был голый! — произнесла девочка.— Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама тоже голая лежит.

— Ты права, дочка, на все сто процентов,— решил Сафронов.— Два кулака от нас сейчас удалились.

— Убей их пойди!— сказала девочка.

— Не разрешается, дочка: две личности это не класс...

— Это один да еще один,— сочла девочка.

— А в целости их было мало,— пожалел Сафронов.— Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

— А с кем останетесь?

— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?

— Да,— ответила девочка.— Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало.

— Ты вполне классовое поколение,— обрадовался Сафронов,— ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.

— От сволочи,— с легкостью догадалась девочка.— Тогда будут только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?

— Правда,— сказал Чиклин.

Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:

— Ты что?

— Так,— сказала девочка, не обращая внимания. — Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас изобью.

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль; он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств.

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане

заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую дорогу.

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими самодовлеющими словами: «Ну хорошо, ну прекрасно»— и продолжал. Про себя же любил произносить: «Где вы теперь, ничтожная фашистка!» И многие другие краткие лозунги-песни.

Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обожании, он же, превозмогая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращения дамских писем к себе. И он написал даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви:

«Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!
Козлов».

Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, строфы песен и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали как активную общественную силу,— и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе и натурное продовольствие.

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему:

— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рочдэлльского вида, а не советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм?!

— Я вас не сознаю, гражданин,— скромно ответил заведующий.

— Так, значит, опять: просил он, пассивный, не счастья у неба, а хлеба насущного, черного хлеба! Ну хорошо, ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одну декаду стал председателем лавкома этого кооператива Он так и не узнал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, но и качество яростных[4].

Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на поприще строительства и стал на краю его. чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им:

— Не будьте оппортунистами на практике!

Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и

нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма.

— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафронов. — Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему:

— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!

— Факт! — произнесла девочка.

Здесь и Сафронов определил свое мнение.

— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!

Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам.

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем, потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках и как он станет вшивым среди чужих.

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец.

Маточное место для дома будущей жизни было готово; теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды?

— Нет,— ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола,— разройте маточный котлован вчетверо больше.

Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол.

— Не стоило нагибаться,— сказал главный. — На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда.

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии.

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте,— и тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой.

— В шесть раз больше,— указал он Прушевскому. — Я говорил, что темп тих!

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза[5].

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и вто-

рой гроб, а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, прижав к себе, нес другой рукой гроб.

— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодовала Настя.— Мне некуда будет вещи складать!

— Так уж надо,— отвечал Чиклин. — Все мертвые это люди особенные.

— Важные какие! — удивлялась Настя. — Отчего ж тогда все живут! Лучше б умерли и стали важными!

— Живут для того, чтоб буржуев не было,— сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Вощев и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик.

— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.

— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали: ну что ты будешь делать?! — с подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением.

Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалившейся телегой.

До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка, в боковой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки — может быть, они скучали, а может быть, замечали въезжавших командированных людей и пугались их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не отрывался от нее.

Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх — на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки.

Чиклин дошел до подводы через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеобщая ветхость бедности покрывала ее — и старческие, терпеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находился. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что это обобществленный двор № 7 колхоза имени Генеральной Линии и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых компаний, проводимых на селе.

— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.

Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей.

— Я пойду сам,— определил Чиклин.

— Ступай,— ответил активист. — Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю[6].

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны

взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно замирал на мгновение от тоски жизни — тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал воспоминание, что он — головотяп и упущенец,— так его называли иногда в бумагах из района. «Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в общей, руководимой жизни?» — решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие, железные руки,— неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь.

— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину. — Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья: видишь, как падает наш героический брат!

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не побоялись бы так же умереть.

Чиклин встал у подножия скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию.

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал их рукой.

— Что, Козлов, скучно тебе?

Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать — отчего же это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?

— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не

потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону.

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами.

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь, как ты; стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать...

Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло.

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!

Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им:

— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!.. Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.

— Это ты убил их? — спросил Чиклин.

Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.

— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.

Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей; грачи ему дали дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.

— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?

— Так себе,— сказал Елисей.

— Тогда — ничего,— покойно произнес пишущий мужик.— А мертвых не обмывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли.

Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться.

Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.

— Ну, прекрасно,— сказал тогда Чиклин.— А кто ж их убил?

— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно.

— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исходатайствовать себе посредством мученья право жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.

Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что мужик стих.

— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.

— Нет,— ответил Елисей.

— Положь его в середку между моими товарищами.

Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, уложив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уж не мог их закрыть и так остался глядеть.

— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.

— Один находился,— ответил Елисей.

— Зачем же он был?

— Не быть он боялся.

Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел — его требует актив.

— На тебе рубль,— дал поскорее деньги Елисею Чиклин.— Ступай на котлован и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело.

Активист сидел с тремя своими помощниками, похудевшими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.

— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев.

— Пролетариату полагается движение,— произнес активист,— а что навстречу попадется, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь[7].

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь

он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.

— Все равно бы я его обнаружил через полчаса,— сказал активист.— У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!

— Того я закончил,— объяснил Чиклин.— Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.

— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения— они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.

Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения, и решил завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоличию деревни, а затем объявить народные игры.

Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел было к активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с благодарностью успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.

Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом.

— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.

— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен — я его убью.

— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет, и я печально живу.

— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не горюй.

— Когда, товарищ Чиклин?

— А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто...

На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие бедняки производили обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи —

за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком,— это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него имелось выражение чуждости на лице.

Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, дотоле он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.

— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.

— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.

— Тебе же все равно где жить,— сказал Чиклин,— лишь бы не умереть.

— Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что ж, я и буду!..

Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину письмо от Прушевского. Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила советское государство и собирает для него утильсырье; сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами.

«Мне довольно трудно,— писал товарищ Прушевский,— и я боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе ее бумажку».

Настя писала Чиклину:

«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов.

Привет бедному колхозу, а кулакам нет».

Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача; потом он направился спать.

В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра.

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места.

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окружающего беднячества и показать ему свойство колхоза путем призвания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться.

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом.

— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про этот остужающий вечер природы.

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Вощев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги.

— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уединенный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник выражался через него.— У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?

— Дай ему! — сказал Чиклин Вощеву.

Вощев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался.

Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни.

— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.

— Они потому и идут, что босые,— сказал Чиклин.— А радоваться им нечего: колхоз ведь житейское дело.

— Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь.

— В тебе ум бедняк,— ответил Чиклин.— Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существованья.

Активист находился здесь же на Оргдворе; прошедшая ночь прошла для него задаром — директива не спустилась на колхоз, и он опустил теченье мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия — поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность.

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади.

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.

Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.

Далее лошадного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом земном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.

— Ты чего? — спросил ее Чиклин.

— И-и, касатики!— произнесла женщина и еще гуще заплакала.

— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.

— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-нибудь настанет-то?

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко склонился к нему.

— Ты что — дышишь?

— Как вспомню, так вздохну,— слабо ответил человек.

— А если забудешь дышать?

— Тогда помру.

— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть,— сказал Вощев лежачему.

Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.

— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет.

— Пусть лучше плачет, ему милее будет,— посоветовал Вощев.

— Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать — власть будет пугаться. Я-то нарочно, вот правда истинная — вы люди, видать, хорошие,— я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал,— как увидит меня, так и приказывает: плачь баба, плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием...

— Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности? — обратился Вощев.

— Да как вот перестал меня женой знать, так и почитай, что с тех пор.

— У него душа — лошадь,— сказал Чиклин.— Пускай он теперь порожняком поживет, а его ветер продует.

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Вощев и Чиклин ушли в дверь.

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

— А теперь он похолодал,— сказал Вощев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая, чтущая меня сила,— между делом думал лежачий,— все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись».

— Как будто опять потеплел,— обнаруживал Вощев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила,— произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят,— сказал Вощев мужику.

— Не буду,— согласно ответил лежачий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает,— пощупал Вощев шею мужика.

— Туши лампаду,— сказал Чиклин.— Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где нет никакой скупости на революцию.

Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встретили активиста — он шел в избу-читальню по делам культурной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализма.

В избе-читальне стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки.

— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении.— А теперь мы повторим букву «а», слушайте мои сообщения и пишите...

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на «а»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна,— оценил активист.— Пишите систематично эти слова.

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябающей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Вощев.

Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно?

— Всем,— сказали все.

— Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна!

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места!

— Бюрократизм забыла,— определил активист.— Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь — трубку прикури...

— Давай я схожу,— сказал Чиклин.— Не отрывай народ от ума.

Активист втолок в трубку лопушиные крошки, и Чиклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уж начиналась пустынность осени и вечное примиренчество природы. Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лозины, стынущие в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить.

Близ церкви росла старая забвенная трава и не было тропинок или прочих человеческих проходных следов — значит, люди давно не молились в храме. Чиклин прошел к церкви по гуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу; но и он не испугался Чиклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть в темноте осени.

В храме горели многие свечи; свет молчаливого, печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудья купола, и чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того, спокойного света,— но храм был пуст.

Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было — на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подошел к нему.

— От товарища активиста пришли? — спросил курящий.

— А тебе что?

— Все равно я по трубке вижу.

— А ты кто?

— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди!

Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную как на девушке.

— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят, говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожия приняли.

— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? — спросил Чиклин.

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:

— А я свечки народу продаю — ты видишь, вся зала горит! Средства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора.

— Не бреши: где же тут богомольный народ?

— Народу тут быть не может,— сообщил поп.— Народ только свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вместе своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.

Чиклин яростно вздохнул и спросил еще:

— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая?

Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить.

— Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скорописью в поминальный листок...

— Говори скорей и дальше! — указал Чиклин.

— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело пред небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких святителей,— те листки я каждую полуночь лично сопровождаю к товарищу активисту.

— Подойди ко мне вплоть,— сказал Чиклин.

Поп готовно опустился с порожек амвона.

— Зажмурься, паскудный.

Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении.

— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно,— разумно ответил поп.— Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...

Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокстротной головой.

В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали лошади.

Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала.

— Собрание учредителей,— сказал он со смирением.

Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла было баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку.

Организационный Двор покрылся сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто еще был маломочен по сознанию или имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз.

Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью наблюдал движенье жизненной массы на сырой, вечерней земле; он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно рвалась вперед в невидимое будущее, ибо все равно земля для них была пуста и тревожна; он втайне дарил городские конфеты ребятишкам неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил взять установку на женитьбу, тем более что тогда лучше выявятся женщины. И сейчас чей-то малый ребенок стоял около активиста и глядел на его лицо.

— Ты чего взарился? — спросил активист.— На тебе конфетку.

Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало.

— Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету?

Активист без ответа погладил голову мальчика; ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету — она блестела, как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту.

— Сам доедай, у ней в середке вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!

Активист улыбнулся с проницательным сознанием, он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма, добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень.

Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам Оргдвора и складывали их в штабель — им заранее активист дал указание на этот труд.

Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около оврага, понес его к Оргдвору: пусть идет больше пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг.

— Ну как же будем, граждане? — произнес активист в вещество народа, находившегося пред ним.— Вы что ж, опять капитализм сеять собираетесь иль опомнились?..

Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали реже расти; неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную душу, но один сподручный актива научил их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали свою мысль оттуда, но сердце билось легко и грустно, как порожнее, и ничего не отвечало. Стоявшие люди ни на мгновенье не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего человека со всем желаньем в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение.

Чиклин и Вощев к тому времени уже управились с доставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнце не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями; тишина распространялась сейчас по всему видимому свету, только топор Чиклина звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельнице и в плетнях.

— Ну что же! — терпеливо сказал активист сверху.— Иль вы так и будете стоять между капитализмом и коммунизмом: ведь уж пора тронуться — у нас в районе четырнадцатый пленум идет!

— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять,— попросили задние мужики,— может, мы обвыкнемся: нам главное дело привычка, а то мы все стерпим.

— Ну стойте, пока беднота сидит,— разрешил активист.— Все равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить бревна в один блок.

— А к чему ж те бревна-то ладят, товарищ активист? — спросил задний середняк.

— А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее...

Вынув поминальные листки и классово-расслоечную ведомость, активист стал метить знаки по бумагам; а карандаш у него был разноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения. Стоячие мужики открыли рты и глядели на карандаш с томлением слабой души, которая появилась у них из последних остатков имущества, потому что стала мучиться. Чиклин и Вощев тесали в два топора сразу, и бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху просторное место.

Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стоял в таком покое некоторое время.

— Товарищ актив, а товарищ!..

— Говори ясно,— предложил середняку активист между своим делом.

— Дозволь нам горе горевать в остатнюю ночь, а уж тогда мы век с тобой будем радоваться!

Активист кратко подумал.

— Ночь — это долго. Кругом нас темпы по округу идут, горюйте, пока плот не готов.

— Ну хоть до плота, и то радость,— сказал средний мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. Бабы, стоявшие за плетнем Оргдвора, враз взвыли во все задушевные свои голоса, так что Чиклин и Вощев перестали рубить дерево топорами. Организованная членская беднота поднялась с земли, довольная, что ей горевать не приходится, и ушла смотреть на свое общее, насущное имущество деревни.

— Отвернись и ты от нас на краткое время,— попросили активиста два середняка.— Дай нам тебя не видеть.

Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью начал писать рапорт о точном исполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кулака как класса; при этом активист не мог поставить после слова «кулака» запятую, так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил себе из района новую боевую компанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил дорогую генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, и, услышав его, один мужик объявил себя бабой.

Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мученья из деревни; вошедший человек стер мокроту с одежды, а потом сказал:

— Товарищ актив, там снег пошел и холод дует.

— Пускай идет, нам-то что?

— Нам — ничего, нам хоть что ни случись — мы управимся! — вполне согласился явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете, потому что ничего не имел кроме овощей с дворового огорода и бедняцкой льготы и не мог никак добиться высшей, довольной жизни.

— Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писаться мне в колхоз на покой иль обождать?

— Пишись, конечно, а то в океан пошлю!

— Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только зою сеять боюсь.

— Какую зою? Если сою, то она ведь официальный злак!

— Ее, стерву.

— Ну, не сей — я учту твою психологию.

— Учти, пожалуйста.

Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему квитанцию в приеме в членство и в том, что в колхозе не будет зои, и выдумать здесь же надлежащую форму для этой квитанции, так как бедняк нипочем не уходил без нее.

Снаружи в то время все гуще падал холодный снег; земля от снега стала смирней, но звуки середняцкого настроения мешали наступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.

— Не плачь, старуха,— говорил Крестинин.— Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!

Баба, услышав мужние слова, так и покатилась по земле, а другая женщина — не то старая девка, не то вдовуха — сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим, монашьим голосом, что Чиклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как крестининская баба катится понизу, и тоже бросилась навзничь и забила ногами в суконных чулках.

Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь, но все же бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в предбаннике; средние же и высшие мужики молча работали по дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у раскрытых настежь ворот. Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою в скорбь.

— Жива ли ты, кормилица?

Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову; один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте.

— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала

себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду,— сказал хозяин двора.

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки разнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела — она лишь беднела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться.

Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее кушать; говядину в то краткое время ели, как причастие,— есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой.

Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете или, быть может, она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул ветер в ничто.

Активист видел с Оргдвора, что плот не готов; однако он должен был завтрашним утром отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем неорганизованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали и высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно, готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке,— от этого собственного света он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью.

— Готовы, что ль? — спросил активист.

— Подожди,— сказал Чиклин активисту.— Пусть они попрощаются до будущей жизни.

Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:

— Дай нам еще одно мгновенье времени!

И сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семеныч!

— Не в чем, Никанор Петрович: ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жалости.

— Ну, давай, Степан, побратаемся.

— Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести.

После целованья люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

— Теперь мы, товарищ актив, готовы, пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем.

Но активист еще прежде обозначил всех жителей — кого в колхоз, а кого на плот.

— Иль сознательность в вас заговорила? — сказал он.— Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она, четкая линия в будущий свет!

Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста — ночь и без керосина была светла от свежего снега.

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.

— Хорошо,— сказали со всего Оргдвора.— Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался.

Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, тогда он встал со снега и вошел в среду людей.

— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись.— Вы стали теперь, как я, я тоже ничто.

— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.

Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли вместе снизу; он опустился на землю, разжег костер из плетневого материала, и все начали согреваться от огня.

Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил слова, только слышалось, как по-старинному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в постоянной вечности.

Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой, сердечной груди.

— Не замучил ребенка-то? — спросил Чиклин.

— Я не смею,— сказал Елисей.

Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем: она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда, и если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться наутро, когда оно настанет без него.

Чиклин взял девочку на руки.

— Тебе ничего было?

— Ничего,— сказала Настя.— А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз!

Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей шее и пошел раскулачивать.

— Жачев-то не обижал тебя?

— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!

— Да пожалуй, что и не обидит! — сказал Чиклин и обратил внимание на многолюдство. Посторонний, пришлый народ расположился кучами и малыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близ ночного, померкшего костра. По колхозной улице также находились нездешние люди; они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие

колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили Елисея и спрашивали его:

— Где же колхозное благо — иль мы даром шли? Долго ли нам бродить без остановки?

— Раз вас привели, то актив знает,— ответил Елисей.

— А твой актив спит, должно быть?

— Актив спать не может,— сказал Елисей.

Активист вышел на крыльцо со своими сподручными, и рядом с ним был Прушевский, а Жачев полз позади всех. Прушевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому что Елисей проходил вчера мимо котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной революции, ибо без ума организованные люди жить не должны, а Жачев отправился по своему желанию как урод, и поэтому они явились втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе.

— Ступайте скорее плот кончайте,— сказал Чиклин Прушевскому,— а я скоро обратно к вам поспею.

Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне и получает пищу и приварок как кузнец второй руки; однако этот молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и профсоюзная линия, получая сообщения об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась. Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно скорее избавить его от угнетения.

Около кузницы стоял автомобиль и жег бензин на одном месте. С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнаружить здесь остаточного батрака и, снабдив его лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей не дошли до кузни, как товарищ Пашкин уже вышел из помещения и отбыл на машине обратно, опустив только голову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга товарища Пашкина из машины не выходила вовсе: она лишь берегла своего любимого человека от встречных женщин, обожающих власть ее мужа и принимавших твердость его руководства за силу любви, которую он может им дать.

Чиклин с Настей на руках вошел в кузню; Елисей же остался постоять наружи. Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне.

— Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! — сказал кузнец.

Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал.

— Ну, теперь будя! — определил кузнец.

Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды полведра воды. Утерев затем свое утомленно-пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза.

— Миш, это надо кончить поживей: вечером хозяин приедет — жидкость будет! — И кузнец показал на свою шею, как на трубу для водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с большей охотой начал делать подкову.— А ты, человек, зачем пришел? — спросил кузнец у Чиклина.

— Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят, у него стаж велик.

Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал:

— А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне есть промфинплан, а ты его срываешь!

— Согласовал вполне,— ответил Чиклин.— А если план твой сорвется, так я сам приду к тебе его подымать... Ты слыхал про араратскую гору — так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место!

— Нехай тогда идет,— выразился кузнец про медведя.— Ступай на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб Мишка обеденное время услыхал, а то он не тронется — он у нас дисциплину обожает.

Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев.

— Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? — говорила Настя.

— А то как же! — отвечал Чиклин.

Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд — до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул: шабаш, дескать. Опустив лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей.

— Смотри, Чиклин, он весь седой!

— Жил с людьми — вот и поседел от горя.

Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него и, дождавшись, зажмурил для нее один глаз; Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу так, что у него что-то там забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на малолетнюю внимания.

Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверзтыми тлеющими туловищами — и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух, в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чиклин и молотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали.

Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче,— какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную, секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с настроением природы; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг — чего бы это схватить или выломать ей для подарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи кроме глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету — они умерли еще в конце

лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице,— мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.

— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.

— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин.

Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще:

— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет.

Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.

— Кулачество! — сказал Чиклин и, вошедши на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу.

Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хозяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мякиной, лежали четыре или больше мертвые овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи: они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него.

Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, и мухи жили там вполне нормально. Чиклину стало тяжко в большом сарае, ему казалось, что здесь топятся банные печи, а Настя зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и нету четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц.

Молотобоец пошел из сарая в избу и, заревев в сенях враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки.

Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку; мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездилась среди горницы, будто все вещество из нее опустилось вниз; она уже не кричала, а только открыла рот и старалась дышать.

— Мужик, а мужик! — начала звать она, не двигаясь от немощи горя.

— Чего? — отозвался голос с печки; потом там заскрипел рассохшийся гроб и вылез хозяин.

— Пришли,— сказывала постепенно баба,— иди встречай... Головушка моя горькая!

— Прочь! — приказал Чиклин всему семейству.

Молотобоец попробовал мальчишку за ухо и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую посуду.

Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел на сидящего медведя.

— Дядь, отдай какашку! — попросил он, но молотобоец тихо зарычал на него, тужась от неудобного положения.

— Прочь! — произнес Чиклин кулацкому населению.

Медведь, не трогаясь с горшка, издал из пасти звук, и зажиточный ответил:

— Не шумите, хозяева, мы сами уйдем.

Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером — что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобней тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и

пот, закричал ему в голову на разные голоса — от злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать.

Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел как есть на улицу и уже прошел мимо окна снаружи,— только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью.

— Он очень хитрый,— сказала Настя про этого мальчика, унесшего свой горшок.

Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один.

— Ты чего, милый, явился? — спросил ласковый, спокойный мужик.

— Уходи прочь! — ответил Чиклин.

— А что, ай я чем не угодил?

— Нам колхоз нужен, не разлагай его!

Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе.

— Колхоз вам не годится...

— Прочь, гада!

— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!

У Чиклина захватило дыхание, он бросился к двери и открыл ее, чтоб видна была свобода,— он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса.

— Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом... А ты — исчезни!

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег; мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.

— Ликвидировали?!— сказал он из снега.— Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!

Через четыре двора молотобоец опять ненавистно заревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишка заставил на мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты.

— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молотобойцу.

Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился.

— Опорожняй батрацкое имущество! — сказал Чиклин лежачему.— Прочь с колхоза и не сметь более жить на свете!

Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился.

— А ты покажь мне бумажку, что ты действительное лицо!

— Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин.— Я никто; у нас партия — вот лицо!

— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.

Чиклин скудно улыбнулся.

— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плот, капитализм, сволочь!

— Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там, правда ведь? — произнесла Настя.— Со сволочью нам скучно будет!

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы.

Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин также одобрил активиста.

— Ты сознательный молодец,— сказал он,— ты чуешь классы, как животное.

Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи; одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого, обгорелого, как человека.

Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью.

— Гадость ты,— говорил ему Жачев.— Чего глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее — жми друг дружку, а деньги в кружку! Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот чего мне жалко!

По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок.

Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную, мертвую воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину.

Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.

— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства.

Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась музыка, вышел на среднее место, вдарил подошвой и затанцевал по земле, ничуть при этом не сгибаясь и не моргая белыми глазами; он ходил как стержень — один среди стоячих,— четко работая костями и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать вокруг друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе местных

девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а для своего угощенья целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать.

Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба.

Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где мухами, весь народ товарищески торжествовал. Давно живущие на свете люди и те стронулись и топтались, не помня себя.

— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту.— Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

— Она девка иль вдова? — спросил на ходу танца окрестный гость.

— Девка! — объяснил двигающийся мужик.— Аль не видишь, как мудрит?!

— Пускай ей помудрится! — согласился тот же пришлый гость.— Пускай посдобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!

Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему мешали, а гостевому мужику, желавшему девочку-эсесершу выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, чтоб он не надеялся.

— Не сметь думать что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!

Гость уж испугался, что он явился сюда.

— Боле, товарищ калека, ничто не подумаю. Я теперь шептать буду.

Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность замершего света и покорный сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и мученья, что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше.

— Настя, ты не стынь долго, иди ко мне,— позвал Чиклин.

— Я ничуть не озябла, тут ведь дышат,— сказала Настя, бегая от ласково ревущего Жачева.

— Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты маленькая!

— Я уже их терла: сиди молчи!

Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал:

— Стой до очередного звука!

Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.

— Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое корье!..

И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об ивово-корьевой кампании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним совершилось в прошлый раз, когда он забыл про организацию для кустарника, а теперь весь колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал чинить радио, и прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась работа, потому что он не был уверен — предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос[8].

Полночь, наверно, была уже близка; луна высоко находилась над плетнями и над смирной старческой деревней, и мертвые лопухи блестели, покрытые мелким смерзшимся снегом. Одна заблудившаяся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторвалась и полетела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем.

Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего человека.

— Жачев! — сказал Чиклин.— Ступай прекрати движенье, умерли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут.

Жачев уполз с Настей в Оргдом и, устроив ее там спать, выбрался обратно.

— Эй, организованные, достаточно вам танцевать: обрадовались, сволочь!

Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топтался, покрывая себя песней.

— Заработать от меня захотели? Сейчас получите!

Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящихся ног и начал спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны; Жачев даже сожалел, что они, наверно, не чувствуют его рук и враз замолкают[9].

— Где же Вощев? — беспокоился Чиклин.— Чего он ищет вдалеке, мелкий пролетарий?

Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца, и нигде не было заметно человека, лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да изредка покашливал кузнец.

Тихо было кругом и прекрасно. Чиклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше не увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверно, молотобоец будет бить по подковам и шинному железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье; весь же точный смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпелива.

Чиклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота, потом осмотрел уличный порядок — цело ли все, и, заметив пропадающий на дороге армяк, поднял его и снес в сени ближней избы: пусть хранится для трудового блага.

Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чиклин пошел по дворовым задам — смотреть Вощева дальше. Он перелезал через плетневые устройства, проходил мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загородок сразу начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело может застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнущего детства: только такие, как молотобоец, могли вытерпеть здесь свою жизнь, и то поседели от нее. «Я еще не рожался, а ты уж лежала, бедная, неподвижная моя! — сказал вблизи голос Вощева, человека.— Значит, ты давно терпишь: иди греться!»

Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был уже полон.

— Ты чего, Вощев?

— Так,— сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз.

Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склонилась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река шевелилась в обжитых сельских берегах.

Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдоме горел огонь безопасности — одна лампа на всю потухшую деревню; у лампы сидел активист за умственным трудом, он чертил графы ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-середняцкого благоустройства, чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт как основа.

— Запиши и мое добро! — попросил Вощев, распаковывая мешок.

Он собрал по деревне все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине.

Активист стал записывать прибывшие с Вощевым вещи, организовав особую боковую графу под названием «перечень ликвидированного насмерть кулака как класса, пролетариатом, согласно имущественно-выморочного остатка». Вместо людей активист записывал признаки существования: лапоть прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину из рядна и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела.

К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, сумел нечаянно разбудить девочку.

— Отверни рот: ты зубы, дурак, не чистишь,— сказала Настя загородившему ее от дверного холода инвалиду.— И так у тебя буржуи ноги отрезали, ты хочешь, чтоб и зубы попадали?

Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Девочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась.

— Это утильсырье принесли?— спросила она про мешок Вощева.

— Нет,— сказал Чиклин,— это тебе игрушки собрали. Вставай выбирать.

Настя встала в свой рост, потопталась для развития и, опустившись на месте, обхватила раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чиклин составил ей лампу со стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что ей понравится; активист же и в темноте писал без ошибки.

Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество безродно умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад.

Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по полу в чулках довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение рек идет лишь в пучины морские, и уплывшие на плоту не вернутся мучить молотобойца — Михаила; те же безымянные люди от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и подняться они не могут.

— Прушевский,— обратился Чиклин.

— Я,— ответил инженер, он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ничего не писала; если

она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком, это одинаково, что умереть теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за сестру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если жива.

— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?

— Нет,— сказал Прушевский.

— Врешь,— упрекнул Жачев, не открывая глаз.— Марксизм все сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу,— сообщил Жачев.— Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен кое-что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!

— Ты дурак потому что,— объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках,— ты только видишь, а надо грудиться. Правда ведь, дядя Вощев?

Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни.

— Неизвестно,— ответил Вощев Насте.— Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь!

Настя осталась недовольна.

— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев, сторожи меня опять, я спать захотела.

— Иди, девочка,— отозвался Жачев.— Иди ко мне от подкулачника: он заработать захотел — завтра получит!

Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал про себя: «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уж целыми эшелонами население в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх горе!»

Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-пережиток.

— Входи, заседанья нету,— сказал активист.

— Да то-то,— ответил оттуда человек, не входя.— А я думал, вы думаете.

— Входи, не раздражай меня,— промолвил Жачев.

Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови, и окреп от привычки быть организованным.

— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь колхоз глаза открыл, нам без тебя жутко стало!

— Надо пойти справиться,— решил активист.

— Я сам схожу,— определил Чиклин.— Сиди записывай получше: твое дело — учет.

— Это — пока я дурак! — предупредил активиста Жачев.— Но скоро мы всех разактивим: дай только массам измучиться, дай детям подрасти!

Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним, бескорыстно светили звезды над снежной чистотою земли и широко раздавались удары молотобойца точно медведь застыдился спать под этими ожидающими звездами и отвечал им чем мог. «Медведь — правильный пролетарский старик»,— мысленно уважал Чиклин. Да-

лее молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая вслух какую-то счастливую песню.

Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность, в горне горел дующий огонь, который поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехом. А молотобоец, вполне довольный, ковал горячее шинное железо и пел песню.

— Ну никак заснуть не дает,— пожаловался кузнец.— Встал, разревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать... Всегда был покоен, а нынче как с ума сошел!

— Отчего ж такое? — спросил Чиклин.

— Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему бурчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще проходил один подактивный — взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает чего-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там останавливается...

— Ну, ты спи, а я подую,— сказал Чиклин. Взяв веревку, он стал качать воздух в горн, чтоб медведь готовил шины на колеса для колхозной езды.

Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Вощев также явились со всеми совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузни висел на плетне возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее».

Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом опять всаживал молот в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно крякали во время звука кувалды, чтоб шины были прочней и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет:

— Ты, Миш, бей с отжошкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет. А ты лупишь по железу, как по стерве, а оно ведь тоже добро! Так — не дело!

Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть порчи.

— Слабже бей, черт! — загудели они.— Не гадь всеобщего: теперь имущество что сирота, пожалеть некому... Да тише ты, домовой!

— Что ты так содишь по железу?! Что оно — единоличное, что ль?

— Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной!

— Вычеркнуть его надо из колхоза, и боле ничего. Аль нам убытки терпеть на самом-то деле!

Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался поспеть за огнем и крушил железо как врага жизни, будто если нет кулачества, так медведь один есть на свете.

— Ведь это же горе! — вздыхали члены колхоза.

— Вот грех-то: все теперь лопнет! Все железо в скважинах будет!

— Наказание господне... А тронуть его нельзя — скажут, бедняк, пролетариат, индустриализация!..

— Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за него плохо будет.

— Кадр — пустяк. Вот если инструктор приедет либо сам товарищ Пашкин, тогда нам будет жара!

— А может, ничего не станет? Может — бить?

— Что ты, осатанел, что ли? Он — союзный: намедни товарищ Пашкин специально приезжал — ему ведь тоже скучно без батраков.

А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда имел, так ночей не спал — все следил, как бы что не погибло, как бы лошадь не опилась-не объелась, да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний мир отдан его заботе, потому что на других надеяться он опасался, теперь у него уже загодя болел живот от страха такого имущества.

— Все усохнем! — произнес молча проживший всю революцию середняк.— Раньше за свое семейство боялся, а теперь каждого береги — это нас вовсе замучает за такое иждивение.

Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, там действительно что-нибудь есть. Чиклин к этому времени уже кончил дуть воздух и занялся с медведем готовить бороньи зубья. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора, двое мастеровых неустанно работали по чувству совести, как и быть должно. Молотобоец ковал зубья, а Чиклин их закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде зубья без перекалки.

— А если зуб на камень наскочит?! — стеная, произнес Елисей.— Если он на твердь какую-либо заедет — ведь пополам зубок будет!

— Вынай, дьявол, железку из жидкого!— воскликнул колхоз.— Не мучай матерьял!

Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали трудиться над железными предметами с тою тщательной жадностью, когда прок более необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запомнить побелить,— спокойно думал Елисей за трудом.— А то стоит вся черная — разве это хозяйское заведение?»

— Дайте, я буду веревку все время дергать,— попросил Вощев у Елисея.— У вас воздух в горно тихо идет.

— Ну, дергай,— согласился Елисей.— Только не шибко — веревка теперь дорога, а к новым мехам тоже с колхозной сумкой не подойдешь!

— Я буду потихоньку,— сказал Вощев и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в терпенье труда.

Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему району. Лампа же все еще горела в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел.

Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле в избах; они, в общем, равнодушно относились к тревоге отцов, им было неинтересно их мученье, и они жили как чужие в деревне, словно томились любовью к чему-то дальнему. И домашнюю нужду они переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответного счастья, но которое все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходили в избу-читальню и там оставались не евши весь день, учась письму и чтению, счету чисел, привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушевский один остался в стороне, когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был у плетня. Он не знал, зачем его прислали в эту деревню, как ему жить забытым среди массы, и решил точно назначить день окончания своего пребывания на земле: вынув книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня: пусть все улягутся спать, окоченелая земля смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и пере-

станет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, ни милый друг, ни завоевание звезд — не превозмогут его душевного оскудения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы, основанной не на превосходстве и не на телесной любви, и скуку самых далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ. Прушевскому казалось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до самого источника происхождения, до смертельного уничтожения наивности всякой надежды. Но происхождение чувств оставалось волнующим местом жизни; умерев, можно навсегда утратить этот единственно счастливый, истинный район существования, не войдя в него. Что же делать, боже мой, если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей надежде?

Прушевский закрыл лицо руками. Пусть разум есть синтез всех чувств, где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, но откуда тревога и движенье? Он этого не знал, он только знал, что старость рассудка есть влеченье к смерти, это единственное его чувство; и тогда он, может быть, замкнет кольцо — он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания.

— Товарищ! Это ты пришел к нам на культурную революцию?

Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой голове; глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке; она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто свое счастье — она чувствовала вблизи несущееся, горячее движение, у нее поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла и просила научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойдет ли с нею ученый человек, и неопределенно смотрела, готовая опять учиться с активистом.

— Я сейчас пойду с вами,— сказал Прушевский.

Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала, чтобы Прушевский не обиделся.

— Идемте,— произнес Прушевский.

Девушка пошла вперед, указывая дорогу инженеру, хотя заблудиться было невозможно; однако она желала быть благодарной, но не имела ничего для подарка следующему за ней человеку.

Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все наличное железо на полезные изделия, починили всякий мертвый инвентарь и с тоскою что кончился труд и как бы теперь колхоз не пошел в убыток, оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше — он вылез недавно поесть снегу от жажды и пока снег таял у него во рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вниз, на покой.

Вышедши наружу колхоз сел у плетня и стал сидеть, озирая всю деревню, снег же таял под неподвижными мужиками. Прекратив трудиться, Вощев опять вдруг задумался на одном месте.

— Очнись! — сказал ему Чиклин.— Ляжь с медведем и забудься.

— Истина, товарищ Чиклин, забыться не может...

Чиклин обхватил Вощева поперек и сложил его к спящему молотобойцу.

— Лежи молча,— сказал он над ним,— медведь дышит, а ты не можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься! Ишь ты, сволочь какая!

Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул[10].

На улицу вскочил всадник из района на трепещущем коне.

— Где актив? — крикнул он сидящему колхозу, не теряя скорости.

— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз.— Только не сворачивай ни направо, ни налево!

— Не буду! — закричал всадник, уже отдалившись, и только сумка с директивами билась на его бедре.

Через несколько минут тот же конный человек пронесся обратно, размахивая в воздухе сдаточной книгой, чтоб ветер сушил чернила активистской расписки. Сытая лошадь, разметав снег и вырвав почву на ходу, срочно скрылась вдалеке.

— Какую лошадь портит, бюрократ! — думал колхоз.— Прямо скучно глядеть.

Чиклин взял в кузнице железный прут и понес его ребенку в виде игрушки. Он любил ей молча приносить разные предметы, чтобы девочка безмолвно понимала его радость к ней.

Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный рот, невольно и грустно продолжала спать.

Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка — не поврежден ли он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью его тело; но ребенок был весь исправен, только лицо его горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста капнула на директиву — Чиклин сейчас же обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через районного всадника законченную ведомость ликвидации классового врага и в ней же сообщил все успехи деятельности; но вот спустилась свежая директива, подписанная почему-то областью через обе головы — района и округа, — и в лежащей директиве отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии; кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению подкулацких масс; дескать, войдем в колхозы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства, на нас. мол, тогда власти не хватит, она уморится.

«По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета,— значилось в конце директивы, — видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда».

Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на обратную бумагу

— Что ты, стервец? — спросил его Жачев.

Но активист не ответил ему. Разве он видел радость в последнее время, разве он ел или спал вдосталь или любил хоть одну бедняц-

кую девицу? Он чувствовал себя как в бреду, его сердце еле билось от нагрузки, он лишь снаружи от себя старался организовать счастье и хотя бы в перспективе заслужить районный пост.

— Отвечай, паразит, а то сейчас получишь! — снова проговорил Жачев.— Наверно, испортил, гад, нашу республику!

Сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу.

— К маме хочу!— сказала Настя, пробуждаясь.

Чиклин нагнулся к заскучавшему ребенку.

— Мама, девочка, умерла, теперь я остался!

— А зачем ты меня носишь? Где четыре времени года? Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей! Сними с меня рубашку, а то сгорит, выздоровлю — ходить не в чем будет!

Чиклин попробовал Настю, она была горячая, влажная, кости ее жалобно выступали изнутри; насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтоб она была жива!

— Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить, а то болеть ведь грустно, правда?

Чиклин снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того отобрал ватные пиджаки у Жачева и активиста и всем этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла глаза, и ей стало легко в тепле и во сне, будто она полетела среди прохладного воздуха. За текущее время Настя немного подросла и все более походила на мать.

— Я так и знал, что он сволочь,— определил Жачев про активиста.— Ну что ты тут будешь делать с этим членом?!

— А что там сообщено? — спросил Чиклин.

— Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!

— А ты попробуй не согласись! — в слезах произнес активный человек.

— Эх, горе мне с революцией,— серьезно опечалился Жачев.— Где же ты, самая пущая стерва? Иди, дорогая, получить от увечного воина!

Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить средства на государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак: раз его устраняют, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди Оргдома — без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться.

— Ты зачем ребенка раскрыл? — спросил Чиклин.— Остудить хочешь?

— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист.

Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:

— Возьми железку, какую из кузни принес!

— Что ты! — ответил Чиклин.— Я сроду не касался человека мертвым оружием: как же я тогда справедливость почувствую?

Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая.

— Накрой его! — сказал Чиклин Жачеву.— Пускай ему тепло станет.

Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека — насколько он цел.

— Живой он? — спросил Чиклин.

— Так себе, средний,— радуясь, ответил Жачев. — Да это все равно, товарищ Чиклин: твоя рука работает как кувалда, ты тут ни при чем.

— А он горячего ребенка не раздевай! — с обидой сказал Чиклин.— Мог чаю скипятить и согреться.

В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег для гигиены; мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами, они хотели более чистой зимы.

Отделавшись на Оргдворе, члены колхоза далее трудиться не стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели, их и сейчас не тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием еще с прошлых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным делам.

Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально думал.

— Я опять к маме хочу! — произнесла она, не открывая глаз.

— Нету твоей матери,— не радуясь, сказал Жачев.— От жизни все умирают — остаются одни кости.

— Хочу ее кости! — попросила Настя.— Ктой-то это плачет в колхозе?

Чиклин готовно прислушался; но все было тихо кругом — никто не плакал, не от чего было заплакать. День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное собрание — ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое место, и не был рассчитан на жалобу.

— Это кто? — крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю деревню, чтоб его услышал тот недовольный.

— Это молотобоец скулит,— ответил колхоз, лежавший под навесом.— А ночью он песни рычал.

Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было некому. Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печально в глушь почвы, не соображая своего горя.

— Там медведь о чем-то тоскует,— сказал Чиклин Насте, вернувшись в горницу.

— Позови его ко мне, я тоже тоскую,— попросила Настя.— Неси меня к маме, мне здесь очень жарко!

— Сейчас, Настя. Жачев, ползи за медведем. Все равно ему работать здесь нечего — материала нету!

Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад: медведь сам шел на Оргдвор совместно с Вощевым; при этом Вощев держал его, как слабого, за лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным шагом.

Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежачего активиста и сел равнодушно в углу.

— Взял его в свидетели, что истины нет,— произнес Вощев.— Он ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начинает. Пусть существует теперь как предмет — на вечную память, я всех угощу!

— Угощай грядущую сволочь,— согласился Жачев.— Береги для нее жалкий продукт!

Наклонившись, Вощев стал собирать вынутые Настей ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении.

— Вощев, а медведя ты тоже в утильсырье понесешь? — озаботилась Настя.

— А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное существо!

— А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка, занемогшую руку к лежачему на дворе колхозу.

Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей по истине головою.

Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Вощев не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил Вощеву. Тогда Вощев присел близ человека и долго смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в глубь своего грустного сознания.

Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил, и на его голос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом.

— Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? — спросил колхоз.— Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее — нам чувствовать нечего. Вы уж постарайтесь!

— Некому горевать,— сказал Чиклин.— Лежит ваш главный горюн.

Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того поганый, что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки заплакали от печали.

— Он умер,— сообщил всем Вощев, подымаясь снизу.— Все знал, а тоже кончился.

— А может, дышит еще? — усомнился Жачев.— Ты его попробуй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не заработал: я ему тогда добавлю сейчас!

Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента.

— Ах ты гад! — прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем.— Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!

И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья.

Почувствовав полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Вощев встал на ноги и сказал колхозу:

— Теперь я буду за вас горевать!

— Просим!! — единогласно выразился колхоз.

Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не только от одного холодного воздуха, но и от истинной радости одоления всего смутного вещества земли.

— Выносите мертвое тело прочь! — указал Вощев.

— А куда? — спросил колхоз.— Его ведь без музыки хоронить никак нельзя! Заведи хоть радио!..

— А вы раскулачьте его по реке в море! — догадался Жачев.

— Можно и так! — согласился колхоз.— Вода еще течет!

И несколько человек подняли тело активиста на высоту и понесли его на берег реки. Чиклин все время держал Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими условиями.

— Из меня отовсюду сок пошел,— сказала Настя.— Неси меня скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно!

— Сейчас, девочка, тронемся Я тебя бегом понесу. Елисей, ступай кликни Прушевского — уходим, мол, а Вощев за всех останется, а то ребенок заболел.

Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не захотел, сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить, иначе она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко.

— Ну пускай остается,— согласился Чиклин.— Лишь бы сам цел был.

Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз; поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они, спеша, отправились на котлован по зимнему пути.

— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, приказала Настя.— Я к нему скоро в гости приду.

— Будь покойна, барышня!— пообещал колхоз.

К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое освещение города. Жачев уже давно устал сидеть на руках Чиклина и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять.

— Пешие скорей дойдем,— ответил Елисей.— Наши лошади уж и ездить отвыкли: стоят с коих пор! У них и ноги опухли, ведь им только и ходу, что корма воровать.

Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь котлован занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться над разведением костра для согревания Насти, но она ему сказала:

— Неси мне мамины кости, я хочу их!

Чиклин сел против девочки и все время жег костер для света и тепла, а Жачева услал искать у кого-нибудь молоко. Елисей долго сидел на пороге барака, наблюдая ближний светлый город, где что-то постоянно шумело и равномерно волновалось во всеобщем беспокойстве, а потом свалился на бок и заснул, ничего не евши.

Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.

Иногда вдруг наставала тишина, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза.

— Чиклин, отчего я всегда ум чувствую и никак его не забуду? — удивилась Настя.

— Не знаю, девочка. Наверно, потому, что ты ничего хорошего не видела.

— А почему в городе ночью трудятся и не спят?

— Это о тебе заботятся.

— А я лежу вся больная... Чиклин, положи мне мамины кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас!

— Спи, может, ум забудешь.

Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонившегося Чиклина в усы — как и ее мать, она умела первая, не предупреждая, целовать людей.

Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченности к этому маленькому, горячему туловищу.

Для охранения Насти от ветра и для общего согревания Чиклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка.

— Лежи тут,— сказал Чиклин ужаснувшемуся во сне Елисею.— Обними девочку рукой и дыши на нее чаще.

Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоть и чутко слушал дремлющей головой тревожный шум на городских сооружениях.

Около полуночи явился Жачев; он принес бутылку сливок и два пирожных. Больше ему ничего достать не удалось, так как все новодействующие не присутствовали на квартирах, а шиковали где-то на стороне. Весь исхлопотавшись, Жачев решился в конце концов оштрафовать товарища Пашкина как самый надежный свой резерв; но и Пашкина дома не было — он, оказывается, присутствовал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться на представлении, среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгновенно вышел, безмолвно купил для Жачева в буфете продуктов и поспешно удалился в залу представления, чтобы снова там волноваться.

— Завтра надо опять к Пашкину сходить,— сказал Жачев, успокаиваясь в дальнем углу барака,— пускай печку ставит, а то в этом деревянном эшелоне до социализма не доедешь!..

Рано утром Чиклин проснулся; он озяб и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспокойство.

— Ты дышишь там, средний черт! — сказал Чиклин к Елисею.

— Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ребенка теплом обдавал!

— Ну?

— А девчонка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала с чего-то!

Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные, потом нашел веник и очистил весь барак от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора.

Положив веник на его место, Чиклину захотелось рыть землю; он взломал замок с забытого чулана, где хранился запасной инвентарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша отправился на котлован. Он начал рыть грунт, но почва уже смерзлась, и Чиклину пришлось сечь землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр почти во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал громить грунт вбок, разверзая земную тесноту вширь. Попав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от мощности удара,— тогда Чиклин зашвырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой к обнаженной глине.

В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла.

— Пойду за другой лопатой! — сказал Чиклин и вылез из ямы.

В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробовал ее голову; потом он прислонил свою руку ко лбу Елисея, проверяя его жизнь по теплу.

— Отчего ж она холодная, а ты горячий? — спросил Чиклин и не слышал ответа, потому что его ум теперь сам забылся.

Далее Чиклин сидел все время на земляном полу, и проснувшийся Жачев тоже находился с ним, храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей, всю ночь без сна дышавший на девочку, теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих голосов родных обобществленных лошадей.

В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать снаружи.

— Ты что? — увидел Вощева Жачев.— Ты зачем оставил колхоз, иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь как от класса!

Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде редких, непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на Вощева, но ничему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя ее открытый смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?

Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.

— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! — обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных.

— Мужики в пролетариат хотят зачисляться,— ответил Вощев.

— Пускай зачисляются,— произнес Чиклин с земли.— Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду.

Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована.

Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть.

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором прискорбия.

— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак.— Взял бы хоть лопаты поточил!

— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня.

— Почему, стервец?

— Ты же видишь, что я урод империализма, а коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил... Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.

И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован.

В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье.

Декабрь 1929 — апрель 1930 гг.

В архиве семьи А. Платонова сохранились рукописные варианты повести. В некоторых из них повесть заканчивается следующим текстом: «Погибнет ли эсесерша, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составляло тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего».

Настоящая публикация осуществлена по последней прижизненной машинописной копии с собственноручной авторской правкой. Для характеристики работы А. Платонова над текстом приводим несколько фрагментов, опущенных автором в процессе этой правки. Место каждого из фрагментов указано в тексте цифрой, соответствующей нижеследующей нумерации.

[1] Вощев перестал спать и открыл глаза. Утренний свежий мир светился сквозь щели барака, и Вощев почувствовал свое тело как вновь зачатое: вчерашний труд истребил в нем старые внутренности, но сон наполнил его первоначальной плотью.

Чиклин еще спал, и Козлов рядом с ним, а другие лежали сбоку, одинаково уставшие от земли. Пусть они спят пока, чтобы вместе с дыханием из них выгорала отжившая кровь и пустое место наливалось густой ощущаемой влагой. У Козлова ниже ушей возобновилось биение материнских родников, и уже порозовело оскудевшее лицо. Значит, ему скоро пора пробудиться и сознательно жить.

Вощев отворил дверь наружу, впуская воздух для дыхания спящих, а сам вышел прочь, чтобы не мешать течению свежести на лежащие лица. В природе был теплый свет, и раздавался ровный шум суеты мелкой жизни, которая тоже добывала себе смысл жизни кое из чего.

Недалеко находился заглохший овраг, и одинокое дерево наклонилось над ним безветренными ветвями, ища своего рождения в земле или посмертного сожительства с нею. По ту сторону оврага была еще какая-то впадина, и оттуда, из невидимого предприятия, выходил изжитый машиной пар. В стороне ото всего сидел, согнувшись, в траве бедный человек, его палка была воткнута в землю, и узелок с имуществом висел на ней; он тоже, наверное, жил с усилием и надеялся получить свое счастье полностью, а может быть, существовал лишь терпеньем любопытства.

Вслед за своим наблюдением того человека Вощев услышал пение тихого голоса:

— Липа векова-ая...

Дальше голос стал тише, продолжая песню шепотом, и вовсе смолк. Вощев зашел обратно в барак. Там Чиклин глядел непомнящими глазами и безмолвно произносил песню ртом; он уже очнулся, но еще не мог вспомнить своей жизни — и помнил песню, готовясь жить сначала.

Козлов же хотя и спал пока, но корябал грудь ногтями, мучаясь с закрытыми глазами, а потом сразу приподнялся и боязливо закричал.

— Ты чего испугался? — спросил Вощев, приближаясь на помощь.

— Крыса в груди грызется!

Чиклин встал на привычные ноги и умело вгляделся в тело Козлова, где находилась крыса; Чиклин захотел ее спокойно убить.

— Рот зажми! — сказал он Козлову.— И живот схвати руками, а то она выскочит.

Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтоб крысе было туже выходить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким.

— Она — вона! — показал он на свой пиджак, которым прикрывал ноги.

Чиклин с твердой силой ударил босой подошвой по пиджаку, но место под ним было пусто.

— Ушла! — обнаружил Чиклин.

Козлов грустно обиделся:

— Я вот теперь, как говорится, заявление в охрану труда подам, крысы рабочему сердце грызут.

[2] — Крысы, товарищ Пашкин! — сказал ему Козлов.— Они мне сердце, как говорится, грызут и грызут.

Пашкин никогда не спешил отвечать, чтобы люди видели его думающим, а отвечал небрежно: пусть сущность его слова действует сама по себе.

— Где крысы? Зачем они придут сюда? Ведь у вас женщин нету — грязи заводить некому! Ты, наверно, спишь с надбавкой, и тебе снятся животные. Тут же был санврач! А если крысы — организуйте кружок Осоавиахима и травите любую тварь, практикуйтесь против буржуазии на мелочи!.. Это даже хорошо, что хоть крыса будет, как вы не понимаете?!

— Мы понимаем,— с уважением сообщил Сафронов.— Нам деваться некуда, приходится все понимать.

Морщась от забот и привычной осведомленности, Пашкин обошел своим шагом жилое помещение, изучая невзрачным взглядом гигиеничность и кубатуру, и нашел условия приличными: ведь пролетариат еще только делает себе существование, так что требовать ему блага не с кого. Пашкин угрюмо знал почти все и даже скучал.

[3] ..их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего,— значит, будет еще будущее, значит, настоящее несчастно и далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прушевскому терпение на свое дальнейшее неизъяснимое существование вплоть до ближайшей сознательной гибели. Явившись в техническую канцелярию работ, Прушевский сел за составление проекта своей смерти, чтобы скорее и надежней обеспечить ее себе. После окончания проекта Прушевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелестную женщину для однократной любви с ней; после удовлетворения любви к Прушевскому всегда приходило нормальное желание скончаться, и такой же точный расчет он сделал и теперь.

[4] И теперь Пашкин гордился Козловым — он верил в тот близкий день, когда весь пролетариат примет образ авангарда своего: это и будет социализм. Поэтому Пашкин всюду показывал Козлова как образцовый элемент активиста, зарожденного в массах умелым профсоюзным руководством. Благодаря наличию Козлова Пашкин уж не смущался более Жачева: он знал, что Жачеву надо дать лишь должность хотя бы сборщика членских взносов и он перестанет требовать масло у ответственных лиц, ибо сам будет накануне питания жирами.

[5] Но Прушевский узнал удовлетворение не от масштаба, а оттого, что землекопы также быстро истомят жизнь в котловане, как он сам умрет; ему лучше было иметь друзей мертвыми, чем живыми, чтобы затерять свои кости в общих костях и не оставить на дневной поверхности земли ни памяти, ни свидетелей,— пусть будущее будет чуждым и пустым, а прошлое покоится в могилах, в тесноте некогда обнимавшихся костей, в прахе сотлевших любимых и забытых тел.

[6] Чиклин ему начал говорить, и активист занес его в кадр в течение часа; Вощеву же он дал другую нагрузку — перещупать в ночь всех кур и тем определить к утру наличие свежеснесенных яиц.

— У меня рука велика, я не справлюсь,— произнес Вощев.

— Ты что — по узкому месту равняешься? — сокрушительно удивился активист.— Кто есть на свете: партия или ты?

— Его нет,— ответил про Вощева мужик с желтыми глазами; дотоле он стоял молча, а теперь испугался.

Вощев попробовал себя руками за тело и решил: надо мне перестать думать, пу-

скай живет что-то общее; чего ради мучиться для одного своего корпуса: велик он, что ли?

Согнувшись для меньшего размера и бесчувствия, Вощев скрылся на куриное дело.

[7] — Всю ночь щупал — ни в одной птице нету яйца.

Активист сосредоточился, его помощники тоже соответственно задумались — неужели птица — подкулачница?

— Надо заготовить всех кур, сделать их мертвыми — и съесть,— продумав мысль, заявил один из активного состава.

— А петухов ты заметил? — спросил активист.

— Их нету,— сказал Вощев.— Один человек лежал на дворе и мне говорил, что ты последнего съел, когда шел по колхозу и вдруг почувствовал голод.

— Нам важно выяснить, кто съел первого петуха, а не последнего,— объявил активист.

— А может, первый сам издох? — дал догадку помощник активиста.

— Как же он сам издохнет? — удивился активист.— Разве он сознательный вредитель, что ль, что сам будет в такой момент умирать? Пойдем сквозной допрос делать: тут другая база лежит.

И все встали и пошли искать того вредного едока, который истребил ради своего питания первого петуха. Вощев и Чиклин тоже двигались вслед активу.

— Дело сурьезное,— говорил Чиклин,— без яиц дети отощают и своего возраста не возьмут!

— Конечно,— подтвердил Вощев, а сам томился, потому что был согласен жить до смерти без куриного яйца, лишь бы знать основное устройство всего мира.

Миновав с точным допросом, давшим лишь пассивные результаты, дворов десять, актив устал и прислонился к одной избе подумать, как быть дальше. К активу уже успели присоединиться еще человек сто, и вся эта масса явно горевала о съеденном каким-то неизвестным ртом первом петухе, отчего погиб и последний. Чтоб куры не скучали, их взяли на руки и носили с собой, лаская ладонью по перу. Куры разгнездились в руках, но были довольны.

Вскоре весь колхоз был на глазах активиста благодаря тому дисциплинарному расчету, что лучше тысяча человек сделает сто шагов, чем один пройдет пять верст.

— Где ж петух, товарищи? — почти что равнодушно обратился активист ко всем прильнувшим к нему.— Откуда ж у нас яйцо выйдет, если наша птичья масса не имеет в своей среде продуктивного руководства?!

Население колхоза, скрывая мысль, молча стояло близь своего актива и грустно опустило свое общее лицо; одна же баба начала тихо обмокать слезами, а потом так разошлась и расстрадалась, что вся опустилась и ее пришлось устранить в чулан.

Грачи, бывшие невдалеке отсюда, поднялись и улетели в другие края; некоторые мужики поглядели на грачей, но иные не стали глядеть, так как грачи все равно вернутся, сколько они ни ищут чего-то вдалеке, а мужикам же неподвижно хорошо.

— Где же петух, граждане? — заунывно пытал активист.— Значит, вы так угождаете советской власти? А знаете ли вы, что такое расколхозивание? Имейте ж в виду, что это вам будет не раскулачивание, когда каждый неимущий рад! Я и неимущего расколхожу: бедноты на нас хватит и без вас!

Весь класс стоял и не мог ответить на один вопрос. Бесплодные куры начали тихо стенать в руках: из дальней природы пришел остуженный ветер и пошевелил остаточную листву на местном дереве.

— А ведь петуха-то нету! — скорбно сказал активист.

— И-их не-ту! — произнесла ближняя пригорюнившаяся баба.

Активист очнулся от влияния окружения и быстро пошел в канцелярию, а за ним управились уйти и все другие, организационно-действующие люди. Остался один Чиклин, который не хотел, чтоб в колхозе получилось отставание в развитии из-за одного петуха.

— Да что ж это на самом деле: долго у вас петуха не будет?! — сказал он.

Один участник колхоза пошевелился в массе, но от бессознательности или тесноты вновь замер.

— Кто там двинулся — выйди ко мне! — позвал Чиклин.

Вышел небольшой, но старый уже человек, в шапке и штанах, а рубашка его сохла после стирки где-то на плетне. Он держал на ладони птицу вроде обгаженного коровой цыпленка и подавал ее Чиклину.

— Вот, товарищ, ублюдочек у нас родился, и уж тому года четыре как он потихоньку растет!

— Что же это такое: петух, что ль?

— Да можно считать, что почти что!

— Ну тогда пускай он грудится! — заключил Чиклин, и отправился на сельсовет.

Из дома, где жил актив, выносили знамена; сам же активист шел позади, ибо он не хотел спешить на вечное расставание с мертвыми товарищами. Ему не стало удивительно, когда Чиклин донес сведения об открытом петухе; активист знал и так, что под его руководством совершится всякий передовой факт и петух тоже будет.

[8] Активист боялся меж тем упустить вниз настроение колхоза; чтобы того не случилось, он заиграл музыку своими губами, и все равно колхоз затанцевал под эти звуки рта. Елисей, замерший было в наставшей тишине, вновь двинулся топтаться и плясать, и весь сплоченный на дворе народ по-прежнему зашумел от своего нечувствительного еще, но уже необходимого счастья.

Когда активист уже захрипел от долгой губной игры, а люди все не утихали и двигались гуловищами, Чиклин крикнул в колхоз:

— Чуете ли вы что?

— Чуем,— ответил колхоз.

— А чего ж вы чуете?

— Мы все чуем, только себя — нет.

Чиклин поглядел на эти мненья и мечты и сошел с крыльца вниз, чтобы тоже поплясать, как он плясал когда-то в молодости с девушками под веточками.

— Играй, актив, сурьезней, чтоб нам радость была с жалостью пополам!

Активист заиграл громче и заставил Прушевского тоже петь губами — себе на помощь.

Чиклин, очутившись в густоте людей, забыл про все остатки своей жизни и так часто заработал ногами, что снег под ним исчез, а сырая земля высохла. Елисей приблизился к Чиклину и старался не отстать от него в усердии счастья, но не управлялся. Чиклин же все более смотрел на Елисея и терял силу танца, пока не стал на месте вовсе. Елисей не замечая топтался дальше и не моргал остывшими глазами. Чиклин тогда схватил его, не зная, как остановить человека, и Елисей повалился на него, невольный и обмерший. Чиклин опустил Елисея к земле; Елисей молча и редко дышал, глядя таким пустым взглядом, точно сквозь его тело прошел ветер и унес теплое чувство жизни.

— Тебе гадко?— спросил Чиклин.

— Мне — никак,— мог сказать Елисей.

Чиклин покрыл ему своей шапкой глаза, чтоб Елисей никуда не глядел и забыл сам про себя. Активист дал еще несколько звуков, а потом смолк, ибо у него опухли губы и, главное, заболело сознание от напряженного дыхания. Но народ не остановил своего всеобщего танца — он уже так привык к постоянному темпу радости, что топтался по памяти. «Пускай поликуют!» — подумал Чиклин, прошептав эти слова.

Он отошел к Жачеву, который приютился под плетнем и прижал к себе Настю, согревая ее животом и грудью; увечный даже поднял кверху свою рубашку, дабы ребенок полностью пользовался его телесным теплом. Девочка уже глубоко спала, а Жачев был доволен, что он бережет и греет не задумчивую идею, которую забываешь во сне, а будущего, неизвестного человека, дышащего вблизи него.

— А где Вощев? — спросил Чиклин, наклонившись к уроду от шума безмолвно пляшущего колхоза.

— Спит, должно, где-нибудь,— сказал Жачев — Такая сволочь нескоро издохнет.

— Нет, ему давно не спится,— произнес Чиклин.

— Знает, что живет зря, вот и не спит,— объяснил инвалид.

[9] Уложив весь колхоз спать, Жачев проследил еще, чтоб никто не двигался более, а одному колебнувшемуся сделал для успокоения удар в голову окомелком ноги, отчего колебнувшийся уснул. Лошади, видя такое, стали пятиться с Оргдвора, а на улице бросились вскачь в свою общую загородку.

[10] «Или я хуже рабочего зверя, что он живет и чует, а я мучаюсь,— подумал Вощев накануне сна.— Отчего я забыл смысл, ведь я его, кажется, знал?»

Публикация, подготовка текста и примечания М. А. ПЛАТОНОВОЙ.

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

★

ДРЕНАЖ

Фонарь

Ничему я здесь не научился,
Прочитав с улыбкою букварь...
В ноябре под дождиком родился,
Обнял сдуру городской фонарь.

Хорошо, что не совсем стемнело
И до дому кто-нибудь дойдет!
Хорошо, что лампочкой горела
Жизнь моя в какой-то темный год.

Я свечу на грозные заборы
И на ставни хмурых толстяков...
Пусть залезут молодые воры
И нарвут здесь аленьких цветков!

Пусть на темноту вознегодуют,
Разожгут на площади костры...
И купаться ночью уворуют
Дочку генерала из норы.

Далека ковровая дорожка
Красных листьев в темноте Москвы.
Хорошо, что и мое окошко
Помогало зрению совы.

Потому что не копался ложкой
На дворцовых сумрачных пирах,
Не звенел услужливою мошкой
На тупых военных фонарях,

Не гасил старинные лампады
И не крал по Северу икон,
Не читал по три копейки правды,
Расплатясь фамильным серебром!

Не валялся со скотами влежку
На банкетах и в Майами-Бич,
Не любил ударную картошку
И эстрадный макаронный кич.

Я светил неотраженным светом
И давал светить и жить другим...
Очень трудно умереть поэтом,
Но еще труднее молодым.

И когда потрепанную книжку
Почитать возьмете ни о чем,
В темноте увидите мальчишку,
Что ушел куда-то с фонарем...

Рыжие стихи

Гляжу я на сточные воды, чумазые воды твои,
Где шарики милой природы за ролики густо зашли!
И слышу в срамной и чумазой, отходной воде площадей
Взрывчатку поэмы экстазов и свадебный танец людей.

Лицо заслонили деревья в бензиновом крике — браво́!
Как много весною отребья... Да некуда сплавить его.
Долой монастырскую сапу и стук похоронных часов!
Веселую рыжую лапу поставим на чашку весов.

Давайте кого-нибудь взбесим, давайте сломаем курки!
И злую печаль перевесим, и спутаем карты тоски.
Я в юность российскую верю — и плеском аорты люблю!
Веселого рыжего зверя из бледного снега леплю.

Наденем хорошие брошки и шляпы веселого дня!
Серебряным стуком сапожки приветствуют всюду меня.
Давайте смеяться, влюбляться, кружиться и деньги швырять!
На уличных кошках кататься — и уличных псов задирать.

Двадцатого века русалки и лешие наших широт!
Скорее достанем фиалки — и выкрасим в синь небосвод.
Суровую прозу асфальта и драму заборов косых
В лазурную выкрасим смальту и охру улыбок своих.

Облуплены старые каски — и лампочка жизни тускла.
Так вкрутим веселые сказки в патроны печали и зла!
Чтоб в угол забилась зараза и вирусы гриппов чужих
И зелень кошачьего глаза на ветках смеялась сухих.

Пусть душит за горло бумажник — весны бесшабашен закон...
Со мною — сиреневый бражник и яркий король — махаон!
Нас долгие веки костили — и в землю зарыли на треть,
И все же мы жили и были и будем смеяться и петь!

Довольно тебе, холодильник, морозить веселые дни!
Я солнца врубаю рубильник — и пляшут горелые пни.
Нас атомный чертик дурачит... И все-таки сказ не о том!
И чудище плачет и плачет над аленьким русским цветком.

Далече до белого снега. Вздувается атомный горб.
Поэты XX века глядят исподлобья на шторм.
С охотничьей сумкой стучится задымленный порохом день.
— Как звать тебя? — Отмолчится. И снова колотит в кремень.

Угрюмый огонь высекает для ржавой своей фузеи.
И душу веселую мает и добрые мысли мои.
Я свистом пугну браконьера, я крикну ему:
— Не глупи!
Веселого рыжего зверя спущу на злодея с цепи.

Я знаю, что жизнь безоглядна, я знаю, что жизнь коротка.
Но — голову выше, команда! Уходят больные века.

Не выключает линию жизни стервятник с ладони моей.
Доносы скелетов облыжны. И плюнем на царство теней!

Вы вечный огонь потушили и рубите вновь рубежи!
И добрых людей оглушили дешевою водкою лжи.
Я знаю — в отъезде учитель. Один я под небом стою.
И все же — не жалкий проситель, я верю, люблю и пою.

Я кланяюсь мартовской луже и рыжему солнцу в реке!
И градусник сумрачной стужи ломаю в своем кулаке.
Веками мы супились хмуро! И сохли от злости цветы.
Но как совпадают фигуры у девушек нашей мечты.

Забросим в чуланы обиды — и двери Тибетом прижмем!
И пять континентов для битвы любовным раскинем ковром.
Не звездной войны перегрузки, а зубра влюбленного крик
Помирит наш гордый, наш русский — и гордый английский
язык!

Собачья жизнь

С собачками кровей английской королевы
Выходят на пленэр арбатских тупиков
Фарцующей Москвы сиятельные девы,
Алмазами гремя общипанных голов.

Светлее туш свиных идут страны бармены
И барды в голубом, как женщины, идут,
И жулики пера, и смачные спортсмены...
Неведомо куда собачки их ведут.

Всё чешутся ногой, выкусывая блошку!
И дружною толпой, Есенин их прости,
Кидаются на клен — поднять кривую ножку
И струйкою косой в историю войти.

Кусая центровых, за косточку грызутся
Кудрявый меценат и овощной магнат!
И свищут тупики, когда они несутся
Облаять на Тверском над Пушкиным закат.

И слыша лай цепной, берет архангел влево,
Когда на Хохломе прогулочных полей
С собачками кровей английской королевы
Соперничает знать прекрасных наших дней.

Пришелец

Засветили уличный моргалик,
Презирая клинику луны...
Из-под ванной вылез тайный карлик,
Подтянул клетчатые штаны.

И с дурацкой важностью Петрушки
Стал газету свежую читать,
Чтобы вдруг, как скот без погремушки,
В темноте ума не заплутать.

С пулеметной скоростью изведав
О погоде, мире и войне,

За короткой трезвою победой
Подкатился к трудовой жене.

По звонку будильника проснулся,
На железном поручне повис...
Оттрубил — и снова окунулся
В давку улиц и моторов свист.

Выбил в кассе жир для сковородки,
Навестил центральный горсобес!
На копейку прикупил селедки...
И — опять под ванною исчез...

...Шум потопа или ресторана?
НЛО ли злобствует, бог весть?
Я б забрался в дырочку под ванной,
Но никак туда мне не залезть.

Дренаж

Не засоряйте родные леса апельсинами,
Не засоряйте родные березы бананами!
Сьеррой, пампасами и голосами павлиньими,
Хамелеонами и чужедальними странами.
Хочется что-то иметь для души в этой местности,
Кроме княжения нижегородской бургундии,
Кроме фабричной, пропахшей мазутом словесности,
Кроме маниловщины и золотой мерехлюндии!
Милое тождество матери, девки и мачехи,
Милая дробь Византии, Европы и Азии...
Как утомилась душа от лентяйства и статики,
А за Петром все не шлют вестовых и оказии.
Стану твоей я кровавой аортою, родина,
Памятью в родинках, линией жизни отважною,
Только бы ты мне напела мелодию Болдина
Горлом соловушки — хриплою трубкой дренажною.

В. ПЬЕЦУХ

★

ДВА РАССКАЗА

Билет

Бич Паша Божий, которого каждый день можно видеть в окрестностях поселкового магазина, у автобусной остановки, возле конторы прииска «Договорный» и на острове Бичей, вытянувшемся колбаской в том месте, где в Бурхалинку впадает ручей Луиза, совсем не похож на классического бича. На нем приличный серый костюм, малоношеный свитер, коричневые армейские башмаки, а из нагрудного кармана пиджака даже торчит сломанная китайская авторучка. Выражение лица у него тоже общечеловеческое, нет в нем ни пространства, ни грустной тупости, которые написаны на физиономиях у бичей, особенно когда они в трезвом виде. Словом, если бы не жестокий загар, отдающий в цвет спелой сливы, какой встречается еще у утопленников, ни за что не скажешь, что Паша — бич.

Среди бичующей братии прииска «Договорный» Паша Божий занимает что-то вроде председательского положения, и это прямотаки загадка, поскольку у здешних бичей не бывает авторитетов. Тем не менее по всей трассе от Марчикана до Усть-Неры, то есть в тех географических пределах, где у бичей не бывает авторитетов, Паша Божий имеет такой же вес, какой в среде обыкновенных людей имеют участковые уполномоченные и беззаветные работяги. Это диковинно еще потому, что Паша сравнительно неофит и бичует не так давно, годика полтора, после того как он от звонка до звонка отбыл наказание за растрату.

Что-то вроде председательского положения Паша Божий занял по следующим причинам: во-первых, он довольно образованный человек, хотя и получил образование самоучкой, то есть несколько раз перечитал всю лагерную библиотеку, во-вторых, он порядочный человек, и если он кому-то должен двадцать копеек, то наизнанку вывернется, а вернет, в-третьих, он решительный человек, причем до такой степени решительный человек, что всего за полтора года сумел навести среди товарищей более или менее истинные порядки. Самое удивительное, что в этом направлении он не принимал никаких специальных мер, а просто-напросто всякий раз, когда бичи затевали гадость, он говорил им сквозь горловую слезу (он почти всегда говорит сквозь горловую слезу, видимо, у него это нервное), что они затевают гадость, что хорошо поступать — хорошо, а плохо поступать — плохо, что человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком, одним словом, заводил древнюю-древнюю песню, которая, впрочем, многим была в новинку. То ли бичей на самом деле брали за живое его слова, то ли их ошеломил сам факт действительной нравственности, воплощенной в действительном человеке, но вскоре в поселке перестало пропадать белье, вывешенное для про-

сушки, прекратились междоусобицы и крайне редко нарушались границы владений, с которых собирают урожай так называемого хрусталя. Однако бич Николай по прозвищу Безмятежный, бич Кузькин, сын власовца, и бич Француз, окрещенный Французом за то, что он знал по-французски первый стих «Марсельезы», еще некоторое время безобразничали, но в конце концов товарищи, сговорившись, устроили им обструкцию, и они переехали сначала в Сладкое, а впоследствии в Картхалу. Француз, правда, потом вернулся и принялся за свое.

Примерно через неделю после того, как вернулся Француз, в поселке прииска «Весенний» произошел ряд событий, которые нежданно-негаданно пересеклись, завязались в узел и через короткое время вылились в одну некрасивую, но поучительную историю. В этой некрасивой истории участвовал кое-кто из бичей, главный инженер прииска Новосильцев, его сын Новосильцев-младший, один сержант милицейской службы, кассирша поселкового магазина и апробщица Казакова.

Итак, вскоре после того, как вернулся Француз, в поселке прииска «Весенний» произошел ряд событий, которые расположились в следующем порядке... В один из дней первой декады августа очередная съемка, произведенная на полигоне в истоках ручья Мирта, не показала ни одного грамма золота. Новосильцеву-старшему всучили в поселковом магазине лотерейный билет, которые он обычно выбрасывал, но на этот раз по рассеянности положил в нагрудный карман своего синего пиджака. Француз где-то украл простыню, дабы сшить себе из нее штаны, Паша Божий сделал ему за это выволочку, и он глубоко затаил обиду. В квартире Новосильцевых починили телефон. Наконец, из-за неисправности водопровода затопило заброшенные ремонтные мастерские, которые издавна оккупировали бичи. Это событие, правда, замечательно только тем, что Паша Божий до нитки промочил свой приличный серый костюм и вместе с прочими пострадавшими отправился сушиться на остров Бичей, где общими усилиями был разведен костер, и все, скучившись у огня, стали дожидаться открытия магазина. Одна Маша Шаляпина, тридцатилетняя женщина с лицом ребенка и руками тертого мужика, носившая жакет, вырезанный ножницами из нейлонового плаща, газовую косынку, юбку на вате, один чулок фильдеперсовый, другой шерстяной и стоптанные резиновые боты,— одна она бродила по острову и разговаривала с собой. Тем временем Паша Божий, несмотря на крепкую утреннюю прохладу, скинул с себя костюм и развесил его на ветках поблизости от костра. От костюма уже пошел пар, который припахивал потом, когда Француз улучил минуту и отомстил: он незаметно сбросил прутиком Пашин костюм в огонь. Паша с печальным воплем бросился за одеждой, но было поздно — по брюкам и пиджаку уже расползлись ожоги, превращавшиеся в труху, и всем стало ясно, что Паше этот костюм более не носить. Однако Французу его вредительство безнаказанно не прошло, так как Маша Шаляпина по случаю заметила его манипуляции с прутиком и выдала виновного, что называется, с головой. Француза только что не побили, а так высказали ему все, что к тому времени накипело, и в конце концов было решено изгнать его из компании навсегда. К чести Француза нужно заметить, что такое единодушие товарищей его потрясло; он сказал себе, что уж если бичи его гонят, то это — все, потом встал на колени и горячо предложил с лихвой загладить свою вину.

Бичи поворчали, но согласились.

Вечером того же дня Новосильцев-старший, вернувшись домой из конторы прииска, немного покопался в теплице, где он выращивал помидоры и огурцы, и засел с сыном ужинать в большой комнате, которая у них на южный манер называлась залой. В ту минуту, когда он взял из хлебницы свою излюбленную горбушку, раздался оглушительный телефонный звонок, и горбушка, выскользнув из пальцев,

упала в борщ. Новосильцев-старший крякнул, поднялся из-за стола, подошел к телефону, взял трубку: звонили из конторы; диспетчер сообщал, что апробщица Казакова дала промашку, и на самом добычливом полигоне последняя съемка не показала ни одного грамма золота. В масштабах прииска это была маленькая трагедия, поскольку план квартала, как выражаются хозяйственники, горел, и Новосильцев-старший вернулся за стол пришибленным, потемневшим, как если бы на него свалилось большое горе. Он было потянулся к другой горбушке, но вдруг замер, дико вытаращил глаза и повалился со стула на пол. Новосильцев-младший бросился к отцу, перевернул его на спину, и от этого движения из тела с тяжелым шелестом вышел воздух. Новосильцев-младший, мониторщик, здоровый малый, подошел к зеркалу, некоторое время смотрел в него, утирая кулаком слезы, а потом изо всей силы нанес удар собственному отражению, раскрошив зеркало на мелкие серебряные осколки.

Двое суток спустя Новосильцева-старшего хоронили. Погода в тот день выдалась пакостная, как на заказ: было холодно, ветрено, моросило, и два далеких гольца по прозванию Желтые Братья смотрелись особенно траурно, гармонично.

После того как похоронная процессия покинула кладбище, к Новосильцеву-младшему подошла кассирша поселкового магазина; она взяла его под руку и сказала:

— Я понимаю, что сейчас не время, но все-таки.

— Что «все-таки»? — спросил ее Новосильцев.

— Несколько дней тому назад я продала вашему отцу лотерейный билет.

— Ну и что?

— А то, что он выиграл.

— Почем вы знаете, что именно отцовский билет выиграл?

— Я все билеты записываю.

— Это чтобы потом комиссионные собирать?

Кассирша в ответ кокетливо улыбнулась.

— Так что же он выиграл?

— «Москвича».

— Вот это да! — воскликнул Новосильцев и смешно помахал забинтованным кулаком.— Но, с другой стороны, возникает вопрос: где мне теперь этот билет искать?!

Кассирша пожала плечами и отошла.

На другой день Новосильцев вытребовал отгул и принялся искать выигравший билет. В течение рабочего дня он успел обшарить все ящики, полочки, коробки и тому подобные укромные уголки и даже кое-где отодрал обои, но обнаружить лотерейный билет ему так и не удалось. Вечером он с горя сходил в пивную, стоявшую напротив автобусной остановки, где поведал двум-трем приятелям о новой беде, и вскоре слух о пропавшем билете разнесся по территории, равной территориям Франции и Швейцарии, вместе взятым.

Дошел этот слух почему-то в первую очередь до бичей. Большинство отнеслось к нему равнодушно, Маша Шаляпина заявила, что если бы она выиграла автомобиль, то продала бы его и на вырученные деньги купила бы себе искусственную шубу (по своей наивности Маша предполагала, что искусственные шубы стоят ужасно дорого), Француз заметил: «Дуракам счастье», а Паша Божий откликнулся на слух следующими словами:

— Как утверждает философ Шопенгауэр, в этом мире нет почти никого, кроме сумасшедших и идиотов; боюсь, что философ прав.

Однако очень скоро эта новость поблекла перед другой: Француз сдержал-таки слово и загладил свою давешнюю вину, подарив Паше Божию отличный костюм, который он якобы выменял на эсэсовский кинжал у парикмахера из палатки, бывшего румынского резидента. Брюки, правда, оказались длинны, но Маша Шаляпина об-

стригла их ножницами, и вышло, в общем-то, ничего. Паша переоделся в обнову и долго ходил по острову Бичей не совсем ловким шагом, какой иногда появляется у людей, облачившихся в какую-нибудь обнову.

Между тем Новосильцев-младший не отказался от надежды найти билет. Он еще и на другой день рылся у себя в доме, но дело кончилось только тем, что он превратил жилое помещение без малого в нежилое. Ближе к вечеру он решил потолковать с кассиршей поселкового магазина; он пришел под закрытие, облокотился об угол кассы и грустно заговорил:

— Не нашел я билет. Все обыскал, даже половицы повыдергал — нету билета, хоть волком вой!

— А отцовские карманы вы проверяли? — спросила его кассирша.

— Ну,— подтвердил Новосильцев.

— А в таком синем пиджаке вы смотрели? Он в тот день, когда покупал билет, был в таком синем бостоновом пиджаке. Как сейчас помню: ваш отец положил билет в нагрудный карман синего пиджака.

Новосильцев тяжелым-тяжелым взглядом посмотрел сквозь стену поселкового магазина.

— Ё-моё! — чужим голосом сказал он.— Мы ж его в этом костюме похоронили!..

Кассирша вскрикнула и прижала ко рту ладонь.

Первая мысль, которая пришла в голову Новосильцеву, была мысль о том, что хорошо было бы потихоньку вырыть тело отца и этим путем завладеть билетом, но основательно пораскинув умом, он пришел к заключению, что за такую самодеятельность по головке его, наверное, не погладят, что придется действовать по закону. Часа через полтора он уже находился в Сладком, в районном управлении внутренних дел, где у него был дружок, сержант милицейской службы, маленький человек с пушистыми гренадерскими усами, ёра и весельчак. Сержант выслушал Новосильцева и сказал:

— Если бы ты не был такой свистун, то мы бы с тобой все обделали втихаря. А теперь придется заводить целую волокиту с прокуратурой.

И он демонстративно постучал себя по лбу костяшками пальцев.

Вопреки этому предсказанию особой волокиты с районной прокуратурой не завелось, поскольку заместитель ягодновского прокурора был до такой степени ошарашен и возмущен заявлением Новосильцева, что принципиально выписал постановление об эксгумации и чуть ли не в лицо швырнул его заявителю, как некогда швыряли вызывные лайковые перчатки.

— Он что у вас, не в себе? — спросил Новосильцев сержанта, который поджидал его в коридоре.

— Есть немного,— сказал сержант.

В ночь на 15 августа приятели вооружились лопатами, веревками, карманными фонарями и отправились на приисковое кладбище, которое располагалось в маленькой лиственничной роще неподалеку от берега Картхалы. Ночь была светлая и какая-то сторожкая, притаившаяся, так сказать, ночь-засада.

Дойдя до могилы Новосильцева-старшего, приятели поплевали на ладони и стали копать. По той причине, что из-за вечной мерзлоты могилы в этих краях роются очень мелкими, не прошло и пяти минут, как сержантова лопата глухо ударила в крышку гроба. Новосильцев-младший вздрогнул, выпрямился и вытер ладонью пот. Некоторое время его колотила дрожь, которую невозможно было унять, но в конце концов он взял себя в руки и снова принялся за лопату. Вскоре гроб вырыли, поставили его на соседний холмик и сняли крышку. То, что приятели увидели, их во всяком случае удивило: труп был голый.

— М-да!..— сказал сержант.— Налицо двести двадцать девятая статья. Придется возбуждать дело.

Дело, однако, возбуждать не пришлось, и вот по какой причине. На другой день утром Паша Божий, сидя на корточках возле поселкового магазина, рассказывал бичам о Полтавском сражении и на самом интересном месте полез в нагрудный карман за своей сломанной авторучкой, чтобы начертить на песке схему окружения шведов под Яковцами, и вместе с авторучкой извлек из кармана лотерейный билет, от которого остро припахивало землей. В течение минуты Паша задумчиво рассматривал билет, потом поднялся и пошел в сторону заброшенных мастерских. В мастерских он снял с себя новый костюм, переоделся в лохмотья, которыми были застелены верстаки, и направился в новосильцевскую бригаду, мывшую золото примерно в трех километрах вверх по течению Картхалы.

Новосильцева за монитором не было, он колол кувалдой негабарит, но почувствовав спиной постороннего человека, обернулся и зло посмотрел на Пашу.

— Ты зачем сюда пришел, охломон?! — сказал он, презрительно сощуривая глаза.— Ты что, не знаешь, что без пропуска появляться на полигоне запрещено?

— Давайте отойдем,— мирно предложил Паша.

Новосильцев немедленно переменился в лице, точно он догадался, с чем пришел бич, и, бросив кувалду, пошел за Пашей. Отойдя шагов на пятьдесят, они одновременно остановились; Паша Божий опустился на корточки, достал билет и протянул его Новосильцеву.

— Посмотрите,— сказал он при этом,— не ваш ли это билет.

Новосильцев принял бумажку, повертел ее и ответил:

— А черт его знает, думаешь, я помню! Дома у меня номер записан, а на память я, конечно, не соображу.

— Я вечером зайду,— сказал Паша.— Вы сверьтесь с записью: если номера не сойдутся, вернете билет обратно.

Вечером, в начале седьмого часа, Паша Божий зашел к Новосильцеву домой и по приветливой физиономии хозяина тотчас понял, что все сошлось.

— Прямо я и не знаю, как тебя благодарить! — сказал Новосильцев, вводя Пашу в комнаты.— Давай, что ли, примем на грудь? Ты что больше обожаешь: водку или вино?

— Я водку не пью,— сказал Паша.

— Что касается выигрыша,— продолжал Новосильцев,— то четвертая часть — твоя.

— Мне ничего не надо.

— Ну, ты ненормальный!..

Паша пожал плечами.

— Слушай, а как он к тебе попал?

— Нашел,— ответил Паша и опустил глаза долу.

— В нагрудном кармане синего пиджака?

Паша кивнул.

— Ладно,— сказал Новосильцев,— мы это дело замнем на радостях, только ты признайся: сам откапывал?

— Что откапывал? — спросил Паша.

— Значит, не сам. Тем лучше.

Новосильцев пошел на кухню и через пару минут вернулся в обнимку с банкой кабачковой икры, бутылкой водки и двумя бутылками марочного вина.

— Послушайте, а что это у вас такой разгром? — поинтересовался Паша.— Точно Мамай прошел...

Новосильцев самым добродушным образом рассмеялся.

— Это я лотерейный билет искал,— сказал он сквозь смех.— Еще денька два поисков, и жить было бы негде. Ну ладно, бери стакан. С добрым утром, как говорится!

— А почему «с добрым утром»?

— Ну, это так говорится, чтобы интереснее было пить. Сначала говоришь «с добрым утром», а после того, как выпьешь, «утром выпил — весь день свободен». Это вроде поговорка такая. А вы что, безо всего пьете?

— Мы безо всего.

— Скучный вы народ, бичи, неизобретательный, нету в вас огонька!

Паша смолчал.

— Скажу больше: паскудный вы народ — ты уж не обижайся. Ну, посуди: здоровые мужики, а живете как паразиты, бутылки собираете — это же срамота! Неужели вам нравится такая позорная жизнь?

— Вообще, бичуют не потому, что нравится.

— А почему?

— Потому что по-другому уже не могут. В другой раз отколется человек от житья-бытья, да так, я бы сказал, фундаментально отколется, наотрез, что обратного хода нет.

— Не понимаю я этого! — сказал Новосильцев и крепко ударил по столу кулаком.— Ноги есть, руки есть, голова на месте — ну все есть для того, чтобы вернуться к нормальной жизни!

— Нормальная жизнь — это как? — немного слукавил Паша.

— Работать иди! Деньги будешь иметь, общежитие дадут — вот как!

— Да некуда идти, в том-то все и дело. В начальники меня не возьмут, в контору какую-нибудь завалящую и то не возьмут.

— На стройку иди, на стройку возьмут.

— Да ведь на стройке, чай, вкалывать надо, а у меня руки спичечный коробок не держат. Я ведь насквозь больной, истлел весь внутри.

— Ну разве что внутри,— недружелюбно заметил Новосильцев.— Снаружи ты еще молоток.

— Это только так кажется. Я еще годика два побичую, и все — холодный сон могилы.

— В таком случае твое дело табак. Как говорится, налицо полное отсутствие перспективы. Только вот что интересно: как же ты дошел до жизни такой?

— Обыкновенно дошел,— сказал Паша и протяжно вздохнул.— В семьдесят восьмом году принял срок за растрату. Отбывал его в Кутемане. В семьдесят девятом жена прислала развод и сразу же вышла замуж. В восемьдесят первом освободился и на радостях в Сладком загулял. Когда через неделю очнулся — гол как сокóл. И есть нечего, и ехать не на что, да и ехать-то, будем откровенно говорить, некуда...

— Слабость это,— сказал Новосильцев.— Не мужик ты, вот в чем беда.

— Ничего не поделаешь, у всякого своя внутренняя конституция.

— Никудышная у тебя внутренняя конституция: говоришь и плачешь.

— Да как же мне не плакать, если я горе лопатой ел?!

— И все-таки я это отказываюсь понимать! Ведь в такой стране живем: палец о палец только нужно ударить, чтобы человек был, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке, и тем не менее кое-кто умудряется горе лопатой есть!..

— Никто не обязан быть счастливым,— сказал Паша строго.

— Нет, обязан! — возразил Новосильцев.

— Нет, не обязан!

— Нет, обязан, потому что если есть возможность достигнуть счастья, человек обязан достигнуть счастья!

— Нет, не обязан, потому что для некоторых счастье — это несчастье, и наоборот!

— Что-то я не врублюсь,— сказал Новосильцев, изображая тупое недоумение.— Ты, что ли, намекаешь на то, что некоторые нарочно наживают себе несчастья? Да ведь это же анекдот, не дай бог за границей узнают про такие наши дела — животы со смеху надорвут!

— Ну, не то чтобы нарочно... Тут, конечно, все намного сложнее, но отчасти, в общем-то, и нарочно. Понимаете, какое дело: есть в нашем характере одна загадочная струна, которая постоянно наигрывает такую строптивую, наперекорную мелодию,— в народе она называется «только чтобы не как у людей». Это очень могущественная струна, которая во многом определяет музыку нашей жизни. Даже когда у нас на каждом углу будут бесплатно раздавать легковые автомобили, каждый десятый станет принципиально пользоваться общественным транспортом или демонстративно ходить пешком. Даже когда у нас созреет полное, всеобщее и, может быть, даже неизбежное счастье, то, уверяю вас, проходу не будет от юродивых, непризнанных гениев и возмутительных одиночек. И это не потому, что каждый десятый у нас просто не приспособлен для счастья или его сбивает с пути струна, хотя тут отчасти и неприспособленность и струна, а потому, что наша жизнь как-то заданно, запрограммированно рождает разных намеренных несчастливцев типа генерала Уварова, который в один прекрасный день вышел из дома, погулял по Питеру и исчез...

— Погоди,— сказал Новосильцев и стал разливать спиртное.— Мы с тобой за этими разговорами совсем пьянку выпустили из виду.

— Я даже думаю,— продолжал Паша,— что без этих людей наша жизнь невозможна, без них мы будем не мы, как Афродита с руками уже будет не Афродита. Вы спросите, почему? Да потому, что всеобщее благосостояние это та же самая сахарная болезнь, и организм нации, если он, конечно, здоров, обязательно должен выделять какой-то горестный элемент, который не позволит нации заболеть и ни за что ни про что сойти в могилу. Вот у нас сейчас действительно нет голодных и холодных, действительно только палец о палец нужно ударить, чтобы завалиться холодильниками и коврами, и тем не менее в другой раз квартала не пройдешь, чтобы какой-нибудь хмырь не стрельнул у тебя двадцать копеек из жалости к самому себе. Или: у нас, слава богу, полная семейная свобода по разводам, слава богу, держим первое место в мире, и тем не менее в другой раз кружки пива выпить нельзя без того, чтобы тебе не пожаловались на жену...

— Ну, с добрым утром! — сказал Новосильцев, опрокинул в себя стакан, выдохнул и добавил: — Утром выпил, весь день свободен!

— Вот вы говорите — «свободен»,— опять завел Паша.— Да где же свободен-то?! На самом деле вы не только не свободны, а вы просто-напросто белый раб! Вы белый раб промышленного производства, собственных потребностей и общественных предрассудков. Кто действительно свободен, так это я! А вы из-за несчастного лотерейного билета чуть собственный дом по бревнам не разнесли!

— Эх, голуба моя! — проговорил Новосильцев, и взгляд его как-то окаменел.— Если бы ты знал, на что я пошел ради этого дурацкого билета, ты бы со мной здороваться перестал. Ведь я из-за него родного отца из могилы вырыл!

— Да ну вас,— отмахнулся Паша.— Вы тоже скажете...

— Даю голову на отсечение, что правда вырыл! — сказал Новосильцев и крепко ударил по столу кулаком.— Вот до чего я черствая, бесчувственная скотина! И, главное, непонятно: на хрена мне сдался этот билет?! Ведь я безо всякого билета хоть завтра три «Москвича» возьму и еще останется на запчасти! Нет, наверное, я точно раб. Послушай, а, может, мне того... тоже забичевать?

— А что? — сказал Паша.— Вы не смотрите на нас, среди бичей были и выдающиеся фигуры, например, Хлебников, Горький, Александр Грин... Наконец, кто такой был Иисус Христос, если не самый заправский бич?!

— Погоди, давай еще выпьем,— предложил Новосильцев и уже нацелился разливать спиртное, но Паша торопливо прикрыл свой стакан ладонью.

— Я больше не буду,— сконфуженно сказал он при этом.— Честно говоря, я вино видеть не могу. И вообще: пойду-ка я, пожалуй, домой. То есть не домой, просто пойду, а то совсем уже ночь.

— Тогда давай я тебя провожу?

— Так я и говорю: некуда меня провожать.

— Действительно...— сказал Новосильцев.— Ну, будь здоров! А костюмчик ты носи, пусть это будет как бы память о нашей встрече. Ты ничего человек, гражданин бич, я отвечаю,— положительный человек. Только вот философия у тебя завиральная — чистый идеализм. Я буду говорить откровенно, ты уж не обижайся: прохиндеи твои бичи, алкоголики и полные прохиндеи. Неужели ты и вправду подумал, что Аркадий Новосильцев может забичевать? Да он скорее выроет всех своих предков до тр... сейчас... до тринадцатого колена, чем будет собирать пустые бутылки и похмеляться одеколоном!

Пашу Божия эти слова задели. Сначала он собрался в отместку тоже сказать что-нибудь обидное Новосильцеву, но потом передумал и решил ему по-хорошему объяснить, что-де даже в качестве прохиндея и алкоголика средний бич олицетворяет собой протест против диких благосостоятельных суеверий. Впрочем, ему тотчас пришло на ум, что всякие теории, исходящие от человека в лохмотьях, пахнущих машинным маслом, должны прозвучать неизбежно и именно завирально.

— И билет ты зря отдал,— вдруг сказал Новосильцев с видимой неприязнью.— Дурак ты, дурак!..

— Зря,— согласился Паша.

Новый Завод

Жизнь вообще хороша. В частности же она хороша потому, что нас время от времени подстерегают приятные неожиданности. Допустим, идешь по своим делам и вдруг наткнешься на кошелек или встретишься взглядом с какой-нибудь очаровательной женщиной. Кажется, как будто солнце восходит в тебе, обдавая нутро ласковыми лучами — так вдруг сделается весело и теснительно-хорошо.

Один молодой человек по фамилии Комнатов как-то не поладил с женой. Ссора вышла из-за того, что Комнатов наотрез отказался встречать на вокзале тестя, которого он не любил такой удивительной нелюбовью, что всякий раз, когда тесть приезжал гостить, у него делалось расстройство желудка. По этому случаю жена устроила Комнатову нахлобучку. Мало того что она наговорила ему незаслуженных колкостей, среди которых попадались такие, какие слышать от жен бывает невмоготу, но после того, как Комнатов заткнул указательными пальцами уши, она еще и стукнула его два раза кулаком по спине. Это его самым серьезным образом оскорбило. Он отправился в ванную, заперся там и стал в упор разглядывать себя в зеркале. Ему было горько. Он смотрел в глаза своему отражению, и ему было так жалко своего оскорбленного отражения, что начинало щемить в носу. В эти минуты он думал о том, что можно прожить полжизни с каким-нибудь якобы родным человеком и вдруг обнаружить, что на самом деле этот человек тебе чужд, как идеалистическое мировоззрение.

В ванной он пробыл всего десять минут, но умудрился за это время до такой степени растравить себе душу, что неожиданно надумал уехать далеко-далеко, куда-нибудь туда, где еще машут вслед птицам и поездам. Вообще, он был взбалмошный человек и на своем веку наделал немало глупостей.

Из дома Комнатов отправился на вокзал, где купил билет на одесский поезд, а потом долго томился, сидя в купе, где пахло давнишним хлебом, пылью, углем и еще чем-то горелым.

Компания в купе подобралась неприятная. Ехала до Курска бабка с чудовищным багажом и пожилые супруги — до станции Новый Завод. Бабка сердито молчала и все время ела соленые огурцы, а супруги сразу завели нудный невразумительный разговор. Из-за этого разговора, по милости которого у Комнатова начался зуд в затылке, из-за бабки, неутомимо пожиравшей соленые огурцы, из-за того, что сразу после Калуги в тамбуре подрались два матроса, Комнатову стало очень нехорошо: он расстроился и затосковал. «И куда это я еду, зачем?»— спрашивал он себя, чувствуя недоброе беспокойство. Он вспомнил свою квартиру, где так покойно, так славно пахнет родным и сквозь занавеску видно, как на балконе развеваются разноцветными вымпелами женины лифчики и прочая милая дребедень. Тут ему до першения в горле захотелось назад, домой, чтобы лежать теперь на диване с книжкой и чтобы над ухом сонно жужжали мухи. А поезд все уносил его, уносил...

Комнатов залез на верхнюю полку, поворочался и в скором времени задремал. «Дурак,— говорил он себе сквозь сон,— набитый дурак!..»

...Проснулся он ночью. За окном пробегали редкие огоньки, вагон покачивало, что-то скрипело, а на сердце была такая тяжесть, какая бывает, если кого-то убить во сне. Комнатов насилу дождался станции и сошел.

Станция называлась Новый Завод. По причине раннего времени на платформе не было ни души, и неодушевленное пространство, в котором занималось холодное утро, наполнило его совсем уже непереносимым чувством одиночества и тоски. Он стоял, глядя в ту сторону, где за сизыми предрассветными тучами уже давало о себе знать тревожного цвета солнце, и даже солнце, которое было решительно ни при чем, казалось ему враждебным.

Сразу за станционным зданием ему открылась большая площадь, вымощенная булыжником, который поблескивал от росы, точно площадь подвергли влажной уборке. Вообще, чисто и как-то порядочно кругом было необыкновенно. Но самым примечательным ему показалось то, что, несмотря на ранний час, площадь уже жила: по-лошадиному цокая подковами, прохаживались туда-сюда мужики, женщины улыбались всякому встречному-поперечному, кое-где чинно беседовали старушки, из-за окон доносился бодрый утренний кашель. Главным образом Комнатов подивился тому, что увиденное им по эту сторону станционного здания нисколько не походило на виденное по ту, точно он нечаянно прошел в волшебную дверь и вдруг очутился в каком-то чудесном мире. Этот мир сразу пришелся ему по душе, тоска улетучилась, и напало волнующее ожидание неожиданностей.

Действительно: не успел он вступить на площадь, как один мужик угостил его сигаретой, другой выпросил спичечный коробок, двое позвали попить кваску, а кто-то даже предложил ботинками поменяться.

Тут его остановили трое мальчишек. Один взял его за рукав и сказал:

— Ты, товарищ, к кому приехал?

Комнатов ответил, что он здесь случайно. Потом он ответил на вопрос другого мальчишки, конопатенького, из какого он города, по-

том на вопрос, кем он работает, потом на вопрос, не знаменитость ли он, и наконец вынужден был дать честное партийное слово, что не имеет привычки врать. В заключение конопатый сказал:

— Ну, раз такое дело, то давай мы тебе покажем наши достопримечательности...

Комнатов пожал плечами и согласился.

Сначала мальчишки повели его на здешнее кладбище, которое они патриархально называли погостом. Там Комнатову была показана могила действительного статского советника Чехмодурова, непонятно какими судьбами попавшего в такую глушь, потом могила какой-то женщины с двойной фамилией, бросившейся под поезд из-за любви, часовня, где водятся привидения, и памятник, выкрашенный серебрянкой, который воздвигли одному матросу каспийской флотилии, этот матрос проводил в городке электричество и был застрелен местными кулаками.

— Ребята, а почему вы, собственно, не в школе? — вдруг спохватился Комнатов.

— А мы не учимся,— сказал первый.

— Ну, это вы заливаете,— сказал Комнатов.

— Нет, мы правда не учимся,— подтвердил конопатенький.— Не хотим и не учимся, это у нас свободно. Конечно, кто хочет, тот учится, но мы — не хотим.

Комнатов, прямо сказать, опешил.

— Ну, и чем же вы тогда занимаетесь? — после короткой паузы спросил он.

— А кто чем,— ответил первый мальчишка.— Я, например, книжки читаю, это прямо ужас, до чего я их обожаю! Сейчас я заканчиваю «Введение в латинскую эпитафику».

— А я книжки не обожаю,— сказал конопатенький.— Больно в них много врут. Я обожаю всякое мастерство. Мы с отцом знаете какие сручные?! Что хочешь построим...

— И кем твой отец работает? — перебил его Комнатов.

— Он никем не работает, он просто работает — такая, понимаете, специальность. Сейчас, например, он строит водородный реактор для нашей электростанции.

— Отец у него точно мастеровой,— подтвердил первый мальчик.— Он, почитай, за целый завод работает. Вот в прошлой пятилетке он построил водопровод — в Москве даже нет такого: водопровод, а без труб.

— Интересно! — удивился Комнатов.— А как же вода течет?

— Она не течет,— ответил конопатенький,— она конденсируется. При этом коэффициент засоленности практически нулевой.

— Но в личной жизни я твоего папашу не одобряю,— сказал первый мальчик.— Надо все-таки честь знать. Ведь седьмой раз женится, куда, к черту!

— А вот это не наше дело,— беззлобно сказал конопатенький.— Сколько ему надо, столько пускай и женится. И что у тебя за повадка такая — всех осуждать! Знаешь, как Марк Твен говорил: никто не имеет права критиковать человека на той почве, на которой он сам не стоит перпендикулярно.

— Ты это на что намекаешь?

— Я намекаю на Акимову и Преображенскую.

— Это да... Это, конечно,— мирно согласился первый мальчишка.

Третий мальчишка между тем все помалкивал.

За разговором незаметно дошли до следующей достопримечательности, которой оказалась здешняя баня. На первый взгляд достопримечательного в ней было только то, что она помещалась в старинном особняке с колоннами по фасаду.

— Вот баня,— сказал первый мальчик.— Моются в ней раздельно, а парятся вместе — такая, понимаете, у нас баня.

— И не стыдно? — опасливо спросил Комнатов.

— А чего стыдиться,— сказал конопатенький.— Тело — оно и есть тело. Зато с малолетства привыкаем к этому... ну, понятно к чему, и потом уже нет этого ажиотажа.

Комнатов удивленно посмотрел на мальчишек, покачал головой, но промолчал, потому что против тела действительно возразить было нечего.

После бани смотрели церковь, затем домик, где бывал знаменитый боевик Савинков, и еще другой домик, занятый одним отставным министром. На вопрос Комнатова, с чего это бывший министр здесь поселился, первый мальчик сказал:

— Взял и поселился. Говорит, хочу напоследок пожить среди счастливых людей. Говорят, сроду не встречал столько счастливых людей, как в Новом Заводе.

— Только уж больно он надоел,— добавил конопатенький,— по каждому случаю выступает: «Трудиться надо, товарищи, трудиться за совесть, а не за страх!» Конечно, над ним смеются. Ну, иногда перебьют: дескать, зачем трудиться-то, товарищ бывший министр? «Как зачем,— говорит,— чтобы создавать материальные блага...» Наши опять смеются.

— Погоди,— сказал Комнатов,— но ведь и твой отец трудится: значит, и его поднимают на смех?

— Мой отец ради своего удовольствия трудится, чего тут смешного...

Комнатову стало не по себе. То есть ему и раньше было не по себе, но тут как-то уж очень стало не по себе.

— Что-то я, ребята, не пойму,— сказал он.— Если у вас почти никто не работает, то как же вы живете?

— Во как живем! — сказал первый мальчишка и показал большой палец.— Тут у нас происходит обыкновенная светлая жизнь, основанная на уважении к личности человека. Просто в других местах еще до этого не дошли, и поэтому, конечно, некоторые смотрят на нашу жизнь как баран на новые ворота.

Комнатова задели эти слова, но виду он не показал.

— Вообще я предлагаю такую формулировку,— добавил конопатенький,— советская власть плюс уважение к личности равняется обыкновенная светлая жизнь. Поэтому-то и народ у нас покладистый, добродушный и работает исключительно для души.

— Знаете что, ребята,— сказал Комнатов,— это, может быть, и хорошо, но преждевременно.

— Конечно, преждевременно! — согласился с ним конопатенький.— Только уж больно пожить охота!..

На этом разговор временно приостановился, и Комнатов воспользовался паузой, чтобы хорошенько разобраться в том, что наговорили ему мальчишки. Было очевидно, что в Новом Заводе совершается какая-то чудна́я, необыкновенная жизнь, которую разделяют даже подростки и не то что разделяют — это было бы естественно,— а всячески поддерживают, в то время как по норме подростки не поддерживают ничего и чаще всего даже не разделяют. Но поскольку толком он в этой жизни не разобрался и поскольку его очень смутило, что новозаводские жители откровенно манкируют трудом, он почувствовал к ним какое-то тяжелое нерасположение, которое обыкновенные люди часто питают к «избранникам праздным», героям и мудрецам. И ему непереносимо, до боли под ложечкой, захотелось назад, домой. Он решил немедленно идти на вокзал покупать обратный билет и сообщил об этом мальчишкам.

Мальчишки его решению нисколько не удивились.

— Вот он тебя проводит,— сказал конопатенький, показывая пальцем на молчуна.— Мы бы вас все вместе проводили, да времени нет, спешим.

Они по-взрослому подали Комнатову руки и пошли по каким-то своим делам. Комнатову вдруг захотелось спросить, по каким именно, но он побоялся услышать что-нибудь уж совсем фантастическое и смолчал.

Придя на вокзал, Комнатов купил обратный билет, сел на скамейку, одиноко торчавшую в дальнем конце платформы, и приготовился ожидать. Молчун присел рядом.

— А у меня тетка в Москве живет...— вдруг сказал он.— То есть не в Москве, а в Монине, но ведь это то же самое, что в Москве?..

И он опять замолчал, печально глядя куда-то вдаль.

Приятели его все же явились перед самым отходом поезда; подозрительно покосившись на молчуна, они вручили Комнатову букет черемухи и потом, когда поезд тронулся, долго махали вслед, пока не превратились в трогательное отточие...

«Вот ведь какая странная штука жизнь,— думал Комнатов, лежа на своей верхней полке.— Не напросись в гости тесть, не разругайся я с женой, не уйди из дома, так никогда бы и не узнал, что в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от родного узилища люди живут совсем на иной манер...» И вот что интересно: чуть позже он уже думал о том, что на самом деле этот манер — в высшей степени соблазнительный манер, что, судя по всему, в Новом Заводе точно совершается светлая жизнь, а его дом родной, это именно узилище, в котором его между прочим поджидают новые сцены и болван-тесть,— в лучшем случае лежание на боку. Комнатова почему-то настораживал только контрапункт подозрительного молчуна, но вообще это было такое нервное соображение, что ему вдруг страстно захотелось сойти и пересесть на обратный поезд. «Дурак,— говорил он себе,— набитый дурак!..»

Поезд тем временем сбавил ход и вскоре остановился. Комнатов выглянул в окошко, чтобы узнать, как называется станция; станция называлась — Новый Завод.

ДМИТРИЙ КЕДРИН
(1907—1945)

★

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Сумерки

Стонут мухи, и заперты ставни.
Песни дальние спать не дают.
То ребята в днепровские плавни
Вышли рыбу удить — и поют.

Серебристые листья маслины
В белом пухе — на ощупь нежны.
Над плетнем с кувшинами из глины —
Золотые цветы бузины.

Солнце падает. Щедро раскрашен
Красным отблеском угол двора.
Над янтарными гребнями пашен
На межах умирает жара.

Вечер близится медленным шагом,
Тень влача от гумна до гумна,
Не спеша над глубоким оврагом
Выползает седая луна.

1927.

Детство

Верно, леший ночью лазил в ригу,
Перепутал вожжи, спрятал грабли.
Тихий летний дождик. И на книгу
Падают большие капли.

Няня знает: не покрестишь двери,
Он и проползет, как вакса, черен.
Пахнет сеном. В книге любит Мери
Странный офицер Печорин.

В поле ветер трогает пшеницу,
Где-то свищет суслик тонко-тонко.
Нежно гладят белую страницу
Пальцы сероглазого ребенка.

Дождь прошел. Ушла жара дневная.
Сладко пахнет табаком из сада...
«Это сказки, милый?»
«Да, родная,
Но теперь душа и сказкам рада».

1928.

Публикация СВЕТЛАНЫ КЕДРИНОЙ.

Грешник

Судьбой зачарован цыганской,
Обнесенный чарой мирской,
Иду я Смоленской и Брянской,
Рязанской иду и Тверской.

Повешу котомку на посох,
Лаптями дорогу мету,
А травы в серебряных росах
И яблони, знаешь, в цвету.

Российский шагающий житель
На холмике, мой дорогой,
Обитель увижу — в обитель
Зайду на денек, на другой.

Хожу помаленьку за рожью,
Чиню старикам жернова,
Живу и во славушку божью
Рублю, понимаешь, дрова.

То дверь починю, то бочонок,
То хлевик срублю для овцы.
Сухариков, яблок моченых
Дадут на дорогу отцы.

Зовут: «Оставался бы, дедка!»
Да где уж. Не выдержу я.
Зима? Прижимает, да редко:
Ведь мы и с зимою друзья.

И снова дубняк, да орешник,
Да пчелы в янтарном меду...
Эх, батюшка, грешник я, грешник.
Как думаешь: буду в аду?

1927.

Мастер

Склонясь над червонной солонкой,
Узорную травишь резьбу,
Запрятав седины под тонкий
Серебряный венчик на лбу.
На медный чеканенный кубок
Античные врежешь слова,
Чету полногрудых голубок
И пасть разъяренного льва.
Пускай голубой кислотою
Изъедены пальцы твои,
Зато чешуей золотою
Блистает головка змеи.
И разве не щедрая плата —
Вливать, осторожно дыша,
Густое тягучее злато
В граненую форму ковша?
Чтоб славили гости Калифа
Священное имя твое,
По крыльям свирепого грифа
Узнав золотое литье.

1927.

Пой и веруй!

Да, верить в славу — труд
напрасный,
Ее на свете нет, а есть
Вражды ревнивой суд
пристрастный,
Друзей расчетливая лесть.

Хвале не радуйся наружно.
Пусть позаботится о ней
Потомок, если это нужно:
Он беспристрастней и честней.

А ты работай, и да будет
Живое сердце — твой улов.
Завистливо и лживо судит
Толкучий рынок. Пошлых слов—

Даров его хвалы умильной —
Не жди, поэт. Тебе дано
От шелухи пустой и пыльной
Отсеять чистое зерно.

Отмерь искусству полной мерой
Живую кровь и трудный пот,
Живи, надейся, пой и веруй:
Твое прекрасное — взойдет!

1928.

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ

★

АВАНСЫ И ДОЛГИ

Состояние нашей экономики не удовлетворяет никого. Два ее центральных, встроенных, так сказать, дефекта — монополия производителя в условиях всеобщего дефицита и незаинтересованность предприятий в научно-техническом прогрессе — ясны, наверное, всем. Но как избавиться от этих дефектов, что делать, и не в теории, а на практике,— уверен, нет сегодня таких мудрецов ни наверху, ни внизу, кто решился бы утверждать, что им известен полностью пригодный для жизни рецепт. Вопросов у нас у всех сейчас гораздо больше, чем ответов на них. И нам еще много надо говорить, спорить, предлагать и отвергать, прежде чем мы всем миром их нащупаем, эти столь необходимые нам ответы.

По вспыхнувшим надеждам, по глубине, откровенности и смелости обсуждения наших проблем последние два года — это время подлинного возрождения нашей общественной мысли, нашего национального самосознания. XXVII съезд КПСС положил начало революционным переменам в жизни нашего общества. И развернувшаяся в стране прямая, честная дискуссия по наболевшим экономическим проблемам — одно из важнейших проявлений этого процесса.

Уже выявлены основные причины закупорки сосудов и замедления кровообращения в хозяйстве страны. Выдвинут принцип «от продразверстки к продналогу», означающий, что административные методы управления должны быть заменены экономическими, хозрасчетными стимулами и рычагами. Можно, наверное, сказать, что дорога здравому смыслу, по крайней мере в идейно-теоретическом плане, открылась. Очевидно, однако, что перестройку таких масштабов нельзя осуществить, как бы нам этого ни хотелось, одним махом. Слишком долго господствовал в нашем хозяйстве приказ вместо рубля. Настолько долго, что мы уже вроде бы и забыли: было, действительно было время, когда в нашей экономике господствовал рубль, а не приказ, то есть здравый смысл, а не кабинетный, умозрительный произвол.

Я понимаю, на какие упреки напрашиваюсь, но вопрос слишком серьезен и жизненно важен, чтобы смягчать выражения и прибегать к умолчаниям. Без признания того факта, что отказ от ленинской новой экономической политики самым тяжким образом осложнил социалистическое строительство в СССР, мы опять, как в 1953-м, как в 1965 году, обречем себя на половинчатые меры, а половинчатость бывает, как известно, нередко хуже бездеятельности. Нэп с его экономическими стимулами и рычагами был заменен административной системой управления. Такая система по самой своей природе не могла заботиться о росте качества продукции и о повышении эффективности производства, о том, чтобы наибольший результат достигался при наименьших затратах. Нужного количества — вала — она добивалась не в согласии с объективными экономическими законами, а вопреки им. А раз вопреки — значит, ценой немыслимо высоких затрат материальных и, главное, людских ресурсов.

У нас пока еще господствует представление, что сложившаяся в стране система хозяйственных отношений, включая и структуру собственности,— это и есть воплощение марксизма-ленинизма на практике, воплощение, полностью отвечающее природе социализма как общественного строя. Ее можно, дескать, совершенствовать, подправлять, но в своих принципиальных основах она неприкосновенна. Однако если в научных выводах руководствоваться не указаниями, а фактами, не ностальгией по недавним временам, а честным желанием революционных по сути перемен, то вопрос об исторических корнях нашей экономической модели окажется далеко не решенным.

Известно, что к моменту победы революции в России никто из ее признанных те-

оретиков или наиболее авторитетных практиков не имел (да и не мог иметь) более или менее законченного представления о контурах будущей экономической системы социализма. Маркс и Энгельс разработали теоретические основы революции, обосновали ее объективную неизбежность, однако в отношении того, какой должна быть экономика после победы, у них имелись лишь догадки. Речь шла преимущественно о самых общих социально-экономических целях социализма Они не оставили нам фактически ничего, что можно было бы рассматривать как практический совет относительно методов достижения этих целей. Предреволюционные работы В. И. Ленина также были в основном посвящены чистой политике (как уничтожить отживший общественный строй), но отнюдь не тому, что конкретно придется делать, чтобы наладить полнокровную экономическую жизнь после революции.

Революция, таким образом, застала нас не вооруженными продуманной, законченной экономической теорией социализма. Есть, однако, основания считать, что в первые месяцы после Октября, когда обстановка еще позволяла, Ленин уделял этой проблеме самое серьезное внимание. Именно тогда он сформулировал свою знаменитую мысль о том, что социализм есть советская власть плюс прусский порядок железных дорог, плюс американская техника и организация трестов, плюс американское народное образование и т. п. Надо, писал он тогда же, учиться социализму у организаторов трестов. Большое значение он также придавал денежной политике и здоровой, сбалансированной финансовой системе. Как видно, в начальный период революции Ленин исходил из того, что капитализм уже создал для социализма все необходимые экономические формы, нужно только наполнить их новым, социалистическим содержанием.

Однако последовавшие затем события вызвали к жизни политику «военного коммунизма» с ее исключительно административными, волевыми методами организации экономики. В какой-то момент Ленин, поглощенный этой борьбой не на жизнь, а на смерть, видимо, и сам стал верить в то, что приказные методы — это и есть основные методы социалистической экономики. Здесь сказалось, несомненно, и убеждение в том, что Россия не будет долго в одиночестве, что не мы, а богатый промышленный Запад будет прокладывать дорогу к новой экономической системе, что революция на Западе поможет решить многие из наших наиболее острых экономических проблем. Кронштадтский мятеж, антоновщина и спад революционной волны в Европе заставили, как известно, пересмотреть эти взгляды и расчеты. Нэп означал резкий разрыв с недавним прошлым. Это была своего рода революция в экономическом мышлении. Впервые в полный рост был поставлен вопрос: какой должна быть социалистическая экономика не в чрезвычайных, а в нормальных человеческих условиях?

Многие еще считают, что нэп это был только маневр, только временное отступление. Отступление, конечно, было: советская власть давала некоторый простор для частного предпринимательства в городах. Но основное, непреходящее значение нэпа в другом. Впервые были сформулированы принципиальные основы научного, реалистического подхода к задачам социалистического экономического строительства. От азартного, эмоционального (к тому же вынужденного чрезвычайными обстоятельствами) напора переходили к будничной, взвешенной, конструктивной работе — к созданию такого хозяйственного механизма, который не подавлял бы, а мобилизовал все творческие силы и энергию трудящегося населения. Нэп, по сути дела, означал переход от «административного социализма» к «хозрасчетному социализму». В ленинском плане перевода экономики страны в нормальные, здоровые условия центральное значение имели три практические идеи. Во-первых, всемерное развитие товарно-денежных, рыночных отношений в народном хозяйстве, начало самоокупаемости и самофинансирования, преимущественное использование стоимостных рычагов управления в экономических процессах: цен, полновесного золотого рубля, прибыли, налогов, банковского кредита и процента Иными словами — полный, сквозной хозрасчет во всех экономических отношениях сверху донизу Во-вторых, создание хозрасчетных трестов и их добровольных объединений — синдикатов как основных рабочих звеньев организационной структуры экономики. В-третьих, развитие кооперативной собственности и кооперативных отношений не только в деревне, но и в городе — в промышленности, строительстве, торговле и в том, что сегодня называют сферой бытовых услуг.

В условиях нэпа, писал Ленин, тресты (объединения предприятий) должны работать «на началах наибольшей финансовой и экономической самостоятельности, независимости от местных сибирских, киргизских и др. властей и прямого подчинения ВСНХозу».

Известен ожесточеннейший характер борьбы, которую Ленин и те, кто воплощал тогда этот новый курс в жизнь, вели против сверхцентрализации, бюрократизма, монополии любых ведомств. В экономической и организационной самостоятельности трестов и синдикатов видели главную гарантию против монополии, инструмент самонастройки производства на постоянно меняющиеся потребности рынка.

Демонтаж ленинской политики «хозрасчетного социализма» еще и сегодня нередко связывают с возникновением фашизма и резко обозначившейся в 30-е годы угрозой новой войны. Это неверно: демонтаж начался в 1927—1928 годах. Произвольно заниженные закупочные цены на зерно вынудили деревню сократить не только продажу хлеба государству, но и его производство. Тогда было решено обеспечить государственные заготовки методами принуждения. Именно с этого момента начался возврат к административной экономике, к методам «военного коммунизма». Наиболее наглядно они выразились в коллективизации. Однако столь же произвольные отношения были очень быстро распространены и на город. Промышленность стала получать плановые задания с потолка, и не случайно основные из них не были выполнены ни в одну из предвоенных пятилеток.

Ценой предельного напряжения сил страна выдержала и 30-е годы, и самую страшную в своей истории войну, и трудности послевоенного восстановления народного хозяйства. Можно понять тех, кто считает, что сопоставлять эту цену и результаты сегодня бесполезно. Но одно очевидно: ее могли как-то объяснить, хотя и не оправдать, только чрезвычайные, нечеловеческие обстоятельства, которых уже не существует как минимум с середины 50-х годов. Между тем последствия отказа от нэпа не только не устранялись, а накапливались, недуги народного хозяйства не излечивались, а лишь загонялись вглубь.

Объективные требования современного научно-технического прогресса, новые условия и новые задачи в экономическом соревновании с капитализмом еще более обнажили историческую нежизненность этой волюнтаристской, подчас просто придуманной в кабинетах системы управления экономикой. С самого начала всю эту систему отличали экономический романтизм, густо замешенный на экономической малограмотности, и невероятное преувеличение действенности так называемого административного, организационного фактора. Не эта система свойственна социализму, как еще считают многие,— наоборот, в нормальных условиях она противопоказана ему.

Необходимо ясно представлять себе, что причина наших трудностей не только и даже не столько в тяжком бремени военных расходов и весьма дорогостоящих масштабах глобальной ответственности страны. При разумном расходовании даже остающихся материальных и человеческих ресурсов вполне могло бы хватать для поддержания сбалансированной ориентированной на технический прогресс экономики и для удовлетворения традиционно скромных социальных нужд нашего населения. Однако настойчивые, длительные попытки переломить объективные законы экономической жизни подавить складывавшиеся веками отвечающие природе человека стимулы к труду привели в конечном счете к результатам, прямо противоположным тем, на которые мы рассчитывали. Сегодня мы имеем дефицитную, несбалансированную фактически по всем статьям и во многом неуправляемую, а если быть до конца честными, почти не поддающуюся планированию экономику, которая все еще не принимает научно-технический прогресс. Промышленность сегодня отвергает до 80 процентов новых апробированных технических решений и изобретений. У нас одна из самых низких среди индустриальных стран производительность труда, в особенности в сельском хозяйстве и строительстве, ибо за годы застоя массы трудящегося населения дошли почти до полной незаинтересованности в полнокровном, добросовестном труде.

Однако наиболее трудноизлечимые результаты «административной экономики» лежат даже не в экономической сфере.

Глубоко укоренился сугубо административный взгляд на экономические проблемы: почти религиозная «вера в организацию», нежелание и неумение видеть, что силой, давлением, призывом и понуканиями в экономике никогда ничего путного не сделаешь. Как показывает и наш и мировой опыт, главное условие жизнеспособности и эффективности сложных общественных систем — это самонастройка, саморегулирование, саморазвитие. Попытки полностью подчинить социально-экономическое «броуновское движение» с его неизбежными, но в итоге приемлемыми издержками некоему

[1] Источником ряда цифровых данных и оценок являются собственные исследования автора.

центральному пункту управления были бесплодны изначально, и чем дальше, тем это становится все более очевидным.

Массовыми стали апатия и безразличие, воровство, неуважение к честному труду и одновременно агрессивная зависть к тем, кто много зарабатывает, даже если зарабатывает честно появились признаки почти физической деградации значительной части народа на почве пьянства и безделья И, наконец, неверие в провозглашаемые цели и намерения, в то что возможна более разумная организация экономической и социальной жизни. По справедливому замечанию академика Т. И. Заславской в журнале «Коммунист» (1986 № 13), «частые столкновения с различными формами социальной несправедливости тщетность попыток индивидуальной борьбы с ее проявлениями стали одной из главных причин отчуждения части трудящихся от общественных целей и ценностей».

По-видимому, нереально рассчитывать на то, что все это может быть быстро изжито,— потребуются годы а может быть, и поколения. Построить полностью «хозрасчетный социализм» намного сложнее, чем просто устранить отдельные громоздкие бюрократические структуры Это не означает, однако, что можно сидеть сложа руки. Назад к «административному социализму», учитывая сегодняшние внутренние и международные реальности, у нас дороги нет. Но нет и времени для топтания на месте и половинчатости.

Однако сегодня нас больше всего тревожит именно нерешительность в движении к здравому смыслу Призывы не могут изменить мировоззрение многих руководящих кадров, владеющих только техникой голого администраторства и аппаратного искусства. Точно так же никакая разъяснительная работа не победит известное недоверие людей к словам, к тому, что лидеры всерьез взялись за дело и доведут намеченные перемены до конца, что после полушага вперед опять не будет двух шагов назад. Убедить может только само дело. Для того чтобы вдохнуть веру в оздоровление экономики, уже в ближайшее время необходимы успех, ощутимые, видимые всем признаки улучшения жизни Прежде всего должен быть насыщен рынок — и насыщен как можно скорее. Это непросто, но при должной решимости возможно. Возможно, однако, только на пути «хозрасчетного социализма», на путях развития самого рынка.

Последовательный хозрасчет не потребует значительных капитальных затрат. Все, что нужно, это смелость, твердость, последовательность в деле высвобождения внутренних сил экономики. Что мешает этому? Прежде всего идеологическая перестраховка опасения, что мы выпустим из бутылки злой дух капитализма. Тому, кто понимает, что классы, из которых состоит любое общество, возникают, существуют и сходят с исторической арены отнюдь не в результате тех или иных управленческих решений, тому совершенно ясна беспочвенность этих опасений. Но риск, что вместе с позитивными переменами появятся и новые противоречия, трудности и недостатки, конечно, есть Более того, определенные минусы неизбежны — такова диалектика исторического процесса. И заранее все не обезвредишь. Важно не позволить этим опасениям парализовать нас. «Надо ввязаться в драку, а там — посмотрим» — Ленин, как известно, любил повторять эту мысль.

Когда говорят о вероятном усилении стихийных явлений необходимо отдавать себе отчет в том, что в действительности показывает наш собственный экономический опыт Попытки наладить стопроцентный контроль над всем и вся приводят к такой стихии к такой бесконтрольности по сравнению с которыми любая анархия действительно кажется матерью порядка Элементы стихийности будут неизбежной и на деле минимальной платой за прогресс, за оживление экономики Но именно этим возможная новая стихийность будет отличаться от старой, привычной которую видят и ощущают все, но которую многие просто предпочитают вроде бы не замечать.

Рынок должен быть насыщен И наиболее быстрой отдачи здесь можно ждать прежде всего от здоровых, нормальных товарно-денежных отношений в аграрном секторе

При введении вместо продразверстки продналога производство зерна в Советском Союзе всего за три года (1922—1925) выросло на 33, продукции животноводства — на 34, сахарной свеклы — на 480 процентов. Такой же быстрый и значительный результат был достигнут в 80-е годы в сельском хозяйстве Китая и в какой-то мере Вьетнама, где сердцевиной экономических отношений в деревне стал продналог.

Долгое время темпы роста сельскохозяйственного производства составляли у нас менее процента в год, а в отдельные годы цифру приходилось сопровождать знаком минус, и это при немыслимо высоких государственных капиталовложениях. Миллиарды уходят практически бесследно в песок. Возникает, естественно, вопрос: за что мы платим столь громадную цену? Неужели действительно за боязнь рыночных отношений? Или же все-таки за то, чтобы очень тонкий слой руководящих кадров в аграрном секторе имел какое-то дело и тем вроде бы оправдывал свое существование?

Решение о новом хозяйственном механизме в сельском хозяйстве половинчато, а потому малоэффективно Сказав «а», надо говорить и «б».

Во-первых, в твердом законодательном порядке должны быть запрещены любые приказы, любое административное вмешательство извне в производственную жизнь колхозов и совхозов Во-вторых, должны быть выровнены закупочные цены на все виды аграрной продукции, чтобы ликвидировать убыточность многих отраслей сельского хозяйства, например, животноводства и картофелеводства. Средства на это могут быть получены за счет сокращения государственных более чем пятидесятимиллиардных продовольственных дотаций. В-третьих, нужно решиться на простую формулу отношений между государством и сельскохозяйственными производственными коллективами: твердая ставка прогрессивного налога с доходов и (без самой крайней необходимости) никаких натуральных заданий. Колхоз и совхоз должны иметь право свободно продавать свою продукцию государственным и кооперативным организациям и потребителям. В-четвертых, необходимо в экономических и социальных правах полностью уравнять приусадебное хозяйство с коллективным.

Если будут сбалансированы закупочные цены, никто не станет сворачивать ни полевые культуры, ни животноводство. Может лишь произойти сокращение непродуктивных площадей и непродуктивного скота и в итоге — увеличение общей продуктивности хозяйств. Только так можно создать условия для подряда в сельском хозяйстве, а какой он будет — коллективный, бригадный, семейный — это должно зависеть от местных условий.

О каком реальном хозрасчете в деревне можно сейчас говорить, когда колхозы и совхозы все еще вынуждены сдавать государству продукцию по одной, низкой цене, причем сплошь и рядом вплоть до фуража и даже семенного зерна, а потом значительную часть этой же продукции покупать у того же государства по другой, двойной и тройной цене? Не пора ли наконец остановить и перекачку дохода из деревни через произвольные цены за сельхозтехнику, ремонт, химикаты и прочее? Конечно, значительная часть этих средств потом компенсируется им за счет безвозвратного финансирования и регулярно списываемых кредитов. Более того, возможно, что компенсируется все. Но как можно наладить хозрасчет, то есть эквивалентный обмен, в таких ненормальных, нездоровых условиях? Вместо спокойного, трезвого сопоставления прихода и расхода, прибылей и убытков чутье, ловкость, всякого рода «экономическая ворожба» определяют сегодня успех хозяйственника. Брать одной рукой, чтобы возвращать другой — зачем? В какие экономические законы это укладывается? Уже не брать надо через цены, а давать. Во всех индустриальных странах мира сельское хозяйство давно пользуется специальной и очень значительной материальной поддержкой государства, в том числе и через цены, и это во многом и определяет его успех.

Особых мер требует российское Нечерноземье. Деградация деревни здесь зашла так далеко, что никакие мероприятия в рамках существующей системы аграрных отношений уже, наверное, не помогут. Надеяться можно, вероятно, лишь на медленную и разнообразную терапию, индивидуальный подход к каждому району, каждому хозяйству. Не исключено, что для многих давно «лежачих» хозяйств спасением будет преимущественно семейный подряд и раздача в аренду (особенно в пригородах) пустующих или бесплодных сегодня земель всем желающим — а такие несомненно найдутся — независимо от того, сельские они жители или городские.

Текущий момент для нашего сельского хозяйства поистине переломный. Если и сегодня (в который раз) не оправдается надежда людей на возрождение здравого смысла, апатия может стать необратимой

В свое время был провозглашен лозунг ликвидации кулачества как класса. Но упразднялся, по существу, класс крестьянства. Сейчас еще сохраняется, пусть не очень многочисленное, последнее поколение этого класса, поколение хозяев, любящих землю и крестьянский труд. Если это поколение не передаст эстафету следующему, может

случиться непоправимое. Известен ряд решений последнего времени, призванных закрепить людей на земле, возродить хозяйский дух, коллективное предпринимательство, поощрять индивидуальные хозяйства. Но сейчас порой снова получается так, что правая рука вроде бы не знает, что делает левая. Перечеркивая эту линию, пытается пробить себе дорогу другая. Под флагом борьбы за социальную справедливость, против нетрудовых доходов выступают самое оголтелое левачество и головотяпство. Разве можно, например, оправдать вновь вспыхнувшую было в печати кампанию против продуктивных приусадебных хозяйств? Как понять обозначившиеся летом 1986 года признаки нового погрома приусадебных теплиц, садов, личного откормочного хозяйства? Неужели не был сразу виден враждебный стране антигосударственный характер этой кампании? В конце концов разве это мыслимо — покупать столько хлеба и мяса за границей и в то же время, боясь, что единицы заработают лишнее, душить хозяйственную инициативу сотен тысяч и миллионов своих граждан? Как понять удручающую своей примитивностью борьбу против перекупщиков или запреты на вывоз местной продукции в другие районы? Мы должны наконец раз и навсегда решить, что важнее для нас: иметь достаток собственных продуктов или вечно ублажать поборников равенства всех в нищете и разного рода безответственных крикунов.

Необходимо назвать вещи своими именами: глупость — глупостью, некомпетентность — некомпетентностью, действующий сталинизм — действующим сталинизмом. Жизнь требует пойти на все, чтобы уже в ближайшие годы обеспечить наш продовольственный рынок. Иначе все расчеты на активизацию человеческого фактора повиснут в воздухе, люди не откликнутся на них. Пусть мы потеряем свою идеологическую девственность, существующую, кстати говоря, только в газетных сказках-передовицах. Воруют и наживаются при этой девственности больше, чем когда бы то ни было. Причем речь идет о людях, которые зарабатывают, ничего не создавая, не желая и не умея что-либо создавать. Так пусть уж лучше процветают те, кто хочет и может давать обществу реальные продукты и услуги, реальные ценности. А когда мы решим задачу обеспечения себя хлебом насущным — и не раньше,— можно будет подумать и о том, чтобы большие доходы самых трудолюбивых и предприимчивых хозяев не привели к образованию угрожающих капиталов. Для этого есть простые, действенные средства — налоги и соответствующие полномочия фининспектора (разумные, конечно, чтобы не прирезать курицу, которая только-только начинает нести на благо всем золотые яйца).

Налоговые рычаги могут и должны обеспечить разумный контроль и еще над одним средством насыщения потребительского рынка, средством, тоже не требующим крупных капитальных вложений. Речь идет о личном, семейном и кооперативном производстве в сфере услуг и мелкой промышленности. Наверное, только сегодня мы можем в полную меру оценить значение ленинской мысли о том, что строй цивилизованных кооператоров — это все, что нам нужно для победы социализма.

Расширение индивидуально-кооперативного сектора в городах будет содействовать не только физическому насыщению рынка. Наши легкая промышленность, торговля и сфера услуг находятся сегодня в непозволительно благоприятных условиях, поощряющих спячку. С ними никто не конкурирует Импорт товаров широкого потребления пока еще слишком мал, чтобы заставить их шевелиться. Появление такого конкурента, как индивидуально-кооперативный сектор, может быстро изменить обстановку на рынке. Государственным промышленным, торговым и бытовым предприятиям придется либо резко улучшить работу, либо уступить существенную часть своих доходов другим производителям со всеми вытекающими из этого последствиями: снижением заработков и расходов на социальные нужды, сокращением персонала вплоть до роспуска коллектива бракоделов и закрытия предприятия.

Нынешняя система материальных стимулов добросовестного труда слабо действует не только потому, что она из рук вон плоха. Зарплата и премии не работают также потому, что на полученные деньги человеку нечего купить. Оживить обстановку в потребительском секторе народного хозяйства, насытить рынок, дать массовому покупателю возможность выбора — значит, добиться того, чтобы зарплата наконец начала работать в полную силу, чтобы наш человек по-настоящему пожелал хорошо зарабатывать честным, напряженным трудом.

Материальные условия для развития индивидуально-кооперативного сектора в стране несомненно есть. В городах достаточно пустующих помещений. В запасах государственных предприятий сколько угодно — на миллиарды рублей! — излишнего или

устаревшего оборудования и припрятанных на всякий случай сырья и материалов. Пустив их в свободную продажу, можно, что называется, играючи обеспечить первоначальные базовые потребности мелкого личного и кооперативного предпринимательства. Само собой разумеется, что при таком повороте событий избежать разгула воровства и коррупции можно будет лишь при двух условиях. Первое — свободная оптовая торговля средствами производства, сырьем и материалами. Второе — в правовом и экономическом отношениях индивидуально-кооперативный сектор должен быть полностью (и как покупатель и как продавец) приравнен к государственным предприятиям и организациям.

Мы уже сегодня (не дожидаясь, когда будет создан некий излишек или внефондовый резерв основных видов промышленной продукции) можем решиться на широкую оптовую торговлю средствами производства. Для этого даже необязательно пока упразднять систему фондируемого («карточного») снабжения. В стране уже имеются огромные запасы материальных ценностей. Они созданы стихийно, в порядке своеобразного самострахования, самозащиты предприятий от капризов и пороков «карточного» снабжения. Это неустановленное и часто ненужное предприятиям-владельцам оборудование, нормативные и сверхнормативные залежи сырья, материалов, готовой продукции, комплектуюших изделий и т. д. Всего не меньше чем на 450 миллиардов рублей, из них 170 миллиардов — сверхнормативные запасы. Позволить предприятиям и организациям уже сейчас свободно продавать, покупать, передавать взаймы эти ценности, исходя из своих реальных потребностей, значит, создать могучий, оживленный товарный рынок, пустить в дело, в прибыль колоссальные омертвленные товарные ресурсы, развязать на практике, а не на словах хозяйственную инициативу в стране. Естественно, такой рынок не замрет только в том случае, если доходы от расчистки складов будут (после вычета налогов) оставаться полностью в распоряжении предприятия. Ни при каких обстоятельствах нельзя подпускать к ним министерства и ведомства. То же и в отношении всех видов сверхплановой продукции.

По-видимому, только таким путем — расширением оптовой торговли, свободой реализации запасов и сверхплановой продукции — может быть преодолено одно из наиболее острых противоречий между нынешней жизнью предприятий и провозглашенной целью перевести их на полный хозрасчет. Деньги, дополнительный доход сегодня никому не нужны. Взять хоть завод, хоть торговое объединение, хоть колхоз — что они могут в действительности купить на свои рубли? Если же появится хоть какая-то возможность реализовать доходы не через Москву, не через поклоны и унижения в самых высших инстанциях, а на рынке, свободно, легко, спокойно, тогда деньги опять начнут превращаться в нечто весомое, значимое, остро желанное. Сегодня же сплошь и рядом и поощрительные фонды, и фонд развития производства, даже если их не отбирает в конце концов министерство, это только воздух, деньги в банке, а не реальные ценности, которые могли бы пойти на модернизацию предприятия или на его разнообразные социальные нужды.

На смену бесплодным попыткам планировать из центра всю номенклатуру нашего промышленного производства, в которой уже свыше 24 миллионов изделий, идет такой метод, как договор между поставщиком и потребителем. Свободная торговля излишками и сверхплановой продукцией сразу же наполнит договор жизненным смыслом. Это будет первым, но важнейшим шагом в демократизации планирования, в развитии рынка, который только и способен пробудить производственные коллективы.

Очень быстрый эффект может дать и решительное, повсеместное внедрение известной «щекинской формулы». Если судить по прошлому, загубленному министерствами опыту, она без больших вложений позволяет всего за полтора-два года сократить число работающих на 25—30 процентов. Это особенно важно именно сегодня, когда производственные мощности многих отраслей недогружены на 20—40 процентов, когда большинство станков используется лишь в одну смену и когда стройкам страны остро не хватает рабочих рук. Так что опасения, что повсеместное распространение «щекинской формулы» вызовет безработицу, представляются сильно преувеличенными.

Во-первых, естественная безработица среди людей, ищущих или меняющих место работы, существует и сегодня: вряд ли она на каждый данный момент меньше 2 процентов рабочей силы, а с учетом нигде не регистрируемых бродяг доходит, наверное, и до 3. Так что одно дело обсуждать проблему, делая вид, что никакой безработицы у нас нет, и совсем другое — спокойно отдавая себе отчет в том, что какая-то

безработица есть и что ее не может не быть. Во-вторых, есть миллионы незанятых и постоянно открывающихся новых рабочих мест. При должной поворотливости с их помощью можно свести масштабы временной безработицы к минимуму. Естественно, это потребует значительных дополнительных усилий со стороны государства по переквалификации высвобождаемой рабочей силы, переводу ее в другие отрасли и районы, стимулированию организованной миграции и т. д. В-третьих, не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной занятости, сегодня кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы. Это разговор о замене административного принуждения сугубо экономическим. Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют,— очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности. Многие эксперты считают что было бы дешевле платить таким временно безработным несколько месяцев достаточное пособие, чем держать на производстве массу ничего не боящихся бездельников о которых может разбиться (и разбивается) любой хозрасчет, любые попытки поднять качество и эффективность общественного труда.

«Социализму,— подчеркивает известный советский экономист С. Шаталин,— еще предстоит создать механизм не просто полной занятости населения (это пройденный этап экстенсивного развития), а социально и экономически эффективной, рациональной полной занятости. Принципы социализма — это не принципы благотворительности, автоматически гарантирующие каждому рабочее место вне связи со способностями на нем трудиться» («Коммунист», 1986, № 14).

И опять-таки: чтобы «шекинская формула» дала ощутимый результат, основная часть дохода от нее должна оставаться в распоряжении коллектива. Можно обмануть людей один раз, можно, хотя это и труднее, и два, но третьего не будет. Если предприятию пока что нечего купить на свои кровные, пусть лучше эти деньги болтаются на их счетах в банке. Зато каждый трудовой коллектив будет твердо знать, что они принадлежат ему и только ему и хотя и не сразу, но будут потрачены на его производственные и социальные нужды. И необходимо платить за эти средства не символический, а реальный процент в рублях, а если это валюта, то и в валюте.

К сожалению, у нас вообще недооценивают исключительную важность таких понятий, как экономическая порядочность, экономическое доверие. Между тем без экономической порядочности управляющих инстанций и экономического доверия к ним со стороны низов сквозной хозрасчет просто невозможен. Сейчас мы переживаем исключительно ответственный момент. Если то, о чем говорилось М. С. Горбачевым в Тольятти (а говорилось о беспардонности, с какой министерства распоряжаются поощрительными фондами предприятий, их валютными доходами), если эти манеры опять закрепятся, экономическая реформа при всех громких словах о ней будет загублена на корню.

Сегодня твердое, нерушимое ни при каких обстоятельствах слово государства в подобных делах дороже денег, дороже всего. Это самая большая политика, от которой зависит судьба страны. И даже в трудные, очень трудные времена необходимо сделать все, чтобы решения государства, обещания государства не нарушались: потом это обойдется много дороже, чем выдержка в период трудностей. Судя по всему, так, к сожалению, и случилось летом 1986 года: «продразверстка», устроенная вместо обещанного «продналога», принесла сельскому хозяйству, возможно, больше вреда, чем любая засуха. Сейчас нигде так не беспокоятся за судьбы перестройки, как на селе. Авторитету райкомов и обкомов, которые вынуждены были осуществлять «продразверстку», был нанесен удар, оправиться от которого многим из них будет теперь очень нелегко.

В мыслях о лекарствах для нашей экономики нельзя не обратиться и к внешне экономическим связям Речь идет не только о таких очевидных, но, к сожалению, долгосрочных или дорогостоящих задачах, как, например коренная перестройка структуры нашего экспорта в пользу наукоемкой продукции или сокращение средних сроков капитального строительства с одиннадцати-двенадцати до господствующих в мире полутора-двух лет (наш «долгострой» мешает нам широко привлекать иностранный инвестиционный кредит). Речь идет преимущественно о мерах, которые могут дать что-то реальное в ближайшее время, уже в нынешней пятилетке

Не пора ли подумать, как быть с тем значительным долгом нам со стороны стран СЭВ, который пока что ничего не дает нам и очень мало им? Конечно, долг — это во многом политическая проблема. Однако можно, наверное, сделать так, что нашим должникам будет выгодно постепенно рассчитываться с нами. Для этого надо открыть советский внутренний рынок для любой их продукции. Если стремишься хорошо заработать в СССР — оставляй нам часть этого заработка в порядке погашения долга. Перспективы стабильной работы на практически безграничный рынок Советского Союза — такое благо, которым вряд ли кто захотел бы пренебречь. Особенно если учесть растущие трудности международной конкуренции. И нам немалая выгода, причем не только прямая, но и косвенная, побочная. Наличие на нашем рынке массы конкурирующих иностранных товаров заставляло бы отечественную промышленность держать себя в хорошей форме, постоянно бороться за своего потребителя. В прошлом наши партнеры не раз ставили этот вопрос. Они могли бы не только продавать свою продукцию в нашей стране где хотят, но и покупать нашу. И совсем не обязательно через Внешторг. Прямые связи с отраслевыми ведомствами, местными властями и предприятиями могли бы постепенно решить эту проблему. В условиях свободной внутренней торговли средствами производства они, несомненно, всегда найдут что у нас купить. Все мыслимые их потребности в наших товарах, по оценкам экспертов, не превышают одного процента советского промышленного производства и могут быть удовлетворены (при должной заинтересованности наших предприятий!) за счет скрытых резервов и внеплановой продукции.

Естественно, что открыть советский рынок и создать «общий рынок» стран СЭВ невозможно без изменения нынешнего курса рубля и внедрения свободной обратимости его в рамках СЭВ. Придется постепенно отказаться от действующих сегодня бесчисленных отраслевых валютных коэффициентов, перейти к единому курсу рубля и допустить свободное хождение национальных валют в рамках СЭВ. Дело это давно назревшее, абсолютно неизбежное, и откладывать его нет расчета, тем более что должны сегодня не мы, а нам.

Назрел и определенный пересмотр всей нашей политики экономического содействия социалистическим и развивающимся государствам. Речь в конечном счете тоже идет о миллиардах. Слишком многие возводимые с нашим участием объекты не приносят пока реальной пользы ни нам, ни нашим партнерам. Примером, в частности, может служить строительство гигантских ГЭС (средства поглощаются огромные, а отдача ожидается не раньше чем в следующем тысячелетии), разорительных металлургических заводов и вообще упор на тяжелую промышленность там, где больше всего нуждаются в мелких и средних предприятиях для производства продукции массового спроса.

Мы решились пойти на создание на нашей территории предприятий с иностранным участием. Стоило бы, возможно, подумать и о создании «свободных экономических зон». Дело это и политически и экономически очень нелегкое. Привлечь серьезный иностранный капитал трудно. Еще труднее добиться, чтобы смешанные предприятия легко уживались с нашими порядками, чтобы иностранцы охотно вкладывали в нашу промышленность полученные у нас же прибыли (реинвестиция). Если бы удалось добиться тут видимого успеха, мы могли бы не только ускорить насыщение внутреннего рынка, но и заметно укрепили бы экспортные позиции страны. Уже сегодня нам делаются интересные предложения. Настораживает, однако, то, что условия нового закона, в частности предусматриваемый им налог на доходы иностранного партнера порядка 45 процентов, рассматриваются за рубежом как непривлекательные. Думается, что здесь сыграли свою роль привычные, мало оправданные экономически стереотипы, и их неизбежно придется менять.

При всей важности решения задачи первоначального насыщения нашего внутреннего рынка необходимо вместе с тем отдавать себе трезвый отчет в том, что это только лишь самая острая, самая неотложная часть всей проблемы хозрасчета, «хозрасчетного социализма».

Последовательный хозрасчет не может быть просто объявлен или введен приказом. Он требует определенных условий многие из которых еще не созданы.

Несерьезно думать, что без контроля со стороны Госплана авиационный завод вдруг ни с того ни с сего переключится на выпуск детских колясок. А ведь этим Госплан сегодня и занят с величайшей бдительностью следит, чтобы сапожники тачали сапоги, а пирожники пекли пироги. При всей нашей сверхцентрализации стра-

тегическая роль центра, по существу, ничтожна по той простой причине, что ему, центру, не до нее, не до стратегии. Сторонников последовательного, решительного хозрасчета все еще обвиняют, случается, в том, что они якобы выступают за ослабление планового начала, тогда как на самом деле они всей душой за — за усиление подлинно планового, подлинно центрального начала, за то, чтобы Госплан занимался своим и только своим стратегическим делом: планировал в натуре не больше 250—300 видов стратегической продукции (а может быть, и существенно меньше), распределял общественный фонд капитальных вложений по отраслям и республикам и на этой основе поддерживал наиболее важные народнохозяйственные пропорции, определял твердые ставки отчислений в бюджет из прибыли, нормы амортизации, баланс цен и доходов, банковский процент, плату за землю, воду, полезные ископаемые.

Новая экономическая политика образца 80-х годов не может оставить в покое и наши промышленные министерства. Их так безобразно много, их аппараты так раздуты, что они часто просто вынуждены искать себе занятия и тем самым зачастую лишь мешают предприятиям. Министерства сами по себе уже давно стали серьезнейшей, без преувеличения политической проблемой, требующей быстрейшего радикального решения.

В свое время В. И. Ленин писал: «Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте «ведомств». Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все». Не исключено, что мы вынуждены будем вернуться к ленинской схеме управления народным хозяйством: Госплан (или ВСНХ) — синдикаты — тресты (или объединения, по принятой сегодня терминологии). Синдикаты, например, вполне могли бы выполнять роль нынешних министерств, но с одним ценнейшим, принципиальнейшим отличием: синдикат — это добровольное объединение самостоятельных производственных коллективов. Он подотчетен им и существует на их добровольные взносы или отчисления. Синдикат может и должен быть не административной надстройкой над производством, не министерством, которое, по существу, не несет никакой экономической ответственности перед теми, кем оно командует, а организацией, которая с полного согласия своих коллективных членов берет на себя дела, непосильные каждому из них в отдельности: поиски заказов, организация сбыта, формирование общего фонда поддержки слабых производств, поощрение отраслевого научно-технического прогресса.

Но самой трудной проблемой в организации полностью хозрасчетной экономики представляется сегодня выравнивание основных ценовых пропорций в народном хозяйстве. Накопившиеся с конца 20-х годов волюнтаристские ценовые решения — это поистине страшное наследие. Не покончив с ним, мы никогда не будем иметь объективных стоимостных ориентиров для бесспорного, не зависящего от людского произвола сопоставления затрат и результатов производства. А следовательно, никогда не будем иметь и подлинного хозрасчета. В теоретических дискуссиях сегодня выдвигаются различные проекты преобразования системы цен. В большинстве из этих проектов, однако, содержится один общий и, судя по нашему опыту, чрезвычайно опасный порок: предполагается, что цены опять будут конструироваться в кабинетах, опять умозрительно, в отрыве от жизни, от реальных процессов как в нашей экономике, так и в мировом хозяйстве.

Не только в капиталистических, но и во многих социалистических странах сейчас действуют примерно одинаковые пропорции цен. Они сложились объективно под влиянием общих тенденций развития производительных сил. Конечно, национальные различия в уровнях и пропорциях цен существуют, но базовые соотношения, как правило, остаются. Чтобы быстро и надежно оздоровить нашу экономику, надо постепенно выровнять сначала оптовые, а затем и розничные пропорции цен по пропорциям, сложившимся в мире. У нас резко занижены цены на топливо, на минеральное и сельскохозяйственное сырье и завышены на продукцию машиностроения. У нас неоправданно резко занижены цены на продовольствие и коммунальные услуги и неоправданно завышены на все промышленные потребительские товары. Советские цены должны как можно точнее соответствовать мировым. Кто будет потом заниматься ценообразованием (Госкомцен, промышленное министерство или само предприятие-производитель) — вопрос следующий. Сначала надо сделать первый шаг и выровнять пропорции.

Выравнивание цен — дело исключительно деликатное, в частности, потому, что придется заметно повысить цены на продовольственные товары и коммунальные ус-

луги. Но при настойчивой, методичной, а главное, честной и откровенной подготовительной работе пойти на это необходимо.

Сейчас советский потребитель в виде дотаций на убыточные цены основных продовольственных товаров и услуг получает из казны более 50 миллиардов рублей. А почему бы ему не получать те же самые деньги в форме доплаты к основному заработку, а возможно, и к своему вкладу в сберкассу? В конце концов, почему недоплачивать за мясо и в то же время переплачивать за ткани и обувь, а не покупать то и другое по реальным ценам? Конечно, чтобы люди к этому привыкли, надо сломать сложившиеся у них стереотипы, а ломать их будет трудно. Только честное, всем понятное стремление оздоровить нашу экономику может убедить рядового потребителя поменять свои привычки. С людьми надо начинать говорить по существу, как это делали в Венгрии, где большая разъяснительная подготовка в 1976 году помогла безболезненно ввести новые цены. И нельзя забывать печальный опыт Польши, где в том же 1976 году попытались изменить цены в одночасье, а потом вынуждены были отступить.

Экономическое положение предприятий и объединений должно прямо зависеть от прибыли, а пока мы не выровняем оптовые цены и не избавимся от плановых субсидий, критерий прибыльности работать не сможет. Прибыль начнет врать в ту или иную сторону, она будет или преувеличивать реальные достижения коллектива, или приуменьшать. До каких пор, оценивая экономический эффект работы предприятий, мы будем пользоваться громоздким набором различных, часто исключающих друг друга показателей: валом в том или ином его виде, товарной продукцией, выполнением обязательств по договорам, снижением себестоимости, снижением материальных затрат, выполнением плана в натуре, по производительности труда, по новой технике и т. д.? Когда перестанем придумывать в кабинетах искусственные показатели вроде условно чистой продукции? Необходимо реально смотреть на вещи. За много веков человечество не нашло никакого другого критерия эффективной работы, кроме прибыли. Только он объединяет в себе количественную и качественную стороны экономической деятельности и дает возможность объективно и однозначно сопоставлять издержки и результаты производства.

По ленинской мысли, прибыль — основной принцип хозрасчета. Полувековой опыт управления экономикой с помощью административно-натуральных рычагов сделал эту мысль только более актуальной. В хозрасчетной экономике прибыль — это основа самонастройки, саморегулирования, саморазвития густейшей сети связей между предприятиями. Сегодня число таких связей в стране измеряется многими десятками миллиардов. Нет и, по-видимому, никогда не будет такой ЭВМ, которая могла бы собрать все эти связи в один узел и подчинить единому пульту управления. Простая, всем понятная система отношений между государством, предприятием и отдельным работником появится, только когда мы начнем пользоваться критерием прибыльности.

Крайне подозрительное отношение к прибыли — своего рода историческое недоразумение, плата за экономическую безграмотность людей, считавших, что раз социализм — значит, никаких прибылей и никаких убытков. В действительности же ничего сомнительного в себе критерий прибыльности при социализме не несет, он лишь говорит, хорошо или плохо вы работаете.

После вычета налогов предприятие должно полностью распоряжаться своей прибылью. Но, с другой стороны, если прибыли у него нет, это тоже должно как-то ложиться на плечи коллектива. Одно предприятие в результате плохой работы и финансовых убытков может, например, просто закрыться. Другому поможет система государственного страхования или целевые субсидии. Однако «спасательные операции» государство будет проводить не без разбора, а сугубо выборочно, сообразуясь со своими политическими и экономическими интересами.

Еще один предрассудок — неприятие акционерной формы. Почему свободные средства наших граждан и предприятий нельзя привлекать для создания новых и расширения старых производств? Никаким разумным объяснениям такая позиция не поддается. Это просто слепота или откровенное нежелание поднять то, что лежит пока втуне, а может сослужить всей стране очень полезную службу. Правильно ставят вопрос наши известные экономисты П. Бунич и В. Москаленко: нынешний недостаток инвестиционных средств «может быть восполнен, в частности, путем продажи соответствующими предприятиями своих облигаций предприятиям, имеющим свободные ре-

сурсы». Следовало бы только добавить: и частным лицам тоже. Или для государства лучше, если эти средства лежат в чулке?

Здоровые финансы всегда были и остаются основой всякой здоровой экономики. И наоборот — в чрезвычайных обстоятельствах (война, разруха, социальные потрясения) именно финансы были всегда той сферой, где нездоровые, кризисные явления проявлялись раньше всего и с наибольшей силой. Убежден, что сегодня наша экономика нуждается в финансовой реформе не меньшей глубины и размаха, чем в начале 20-х годов. Деньги, цены, доходы, налоги, кредит, бюджет, возможности государственного заимствования и, соответственно, государственного долга — все это вопросы, которые мы даже и не начинали еще всерьез обсуждать. Между тем дефекты нынешней финансовой системы очевидны: масштабы отложенного спроса населения, дыры в бюджете по различным статьям доходов, инфляционные методы финансирования вроде включения в бюджет доходов от еще не проданной продукции, которая к тому же может и вообще не найти себе сбыта, превращение кредита, по существу, в безвозвратное финансирование (безнадежные долги только сельского хозяйства приближаются уже к 100 миллиардам рублей) и т. д. Рано или поздно все эти проблемы придется решать — уйти от них некуда.

В перспективе все более важное значение будут приобретать и внешнеэкономические связи. Чтобы резко повысить конкурентоспособность нашего машинотехнического и другого экспорта и одновременно сделать рациональнее наш импорт, одной передачи части внешнеторговой деятельности промышленным министерствам недостаточно. Нужна прямая связь между внешними и внутренними ценами. Без нее, как и без прямого обмена в наших банках советского рубля на иностранную валюту (продажа, покупка, отдача взаймы), мы вряд ли сможем пробудить у наших предприятий настоящий интерес к внешнеэкономической деятельности. Для производства конкурентоспособных товаров нужен реальный стимул. К тому же без связи с мировыми ценами и прямого обмена рубля нереально всерьез рассчитывать на новые формы сотрудничества с нашими зарубежными партнерами в странах СЭВ и в капиталистическом мире, на успех кооперации и совместных предприятий. Выравнивая оптовые цены внутри страны, мы одновременно должны установить реальный и единый курс рубля и постепенно сделать наш рубль таким же обратимым, как доллар или фунт стерлингов. Пока в кабинетах делают вид, что такой проблемы не существует, никакого перехода к всеобщему, сквозному хозрасчету не получится.

Назрела необходимость решить и судьбу так называемого переводного рубля. Это мертворожденное дитя уже давно превратилось в простой инструмент счета. Никаких других функций денег (я имею в виду определение Маркса) оно не выполняет. Чем эта придуманная, кабинетная конструкция лучше живых, реальных рубля, марки, кроны, лева? Боюсь, что сейчас, когда ее автора уже нет в живых, никто так и не сможет ответить на этот вопрос ничего более или менее определенного.

И, наконец, проблема качества. Какую важную роль играет сейчас качество наших товаров, понятно всякому. Принято решение о госприемке продукции в наиболее важных отраслях промышленности. Несомненно, это важный шаг вперед, и мы вправе ожидать от него положительных результатов. Однако если государственные органы и хозяйственные ведомства решат, что госприемка — это главный, радикальный, наконец-то найденный метод резкого повышения качества продукции, это будет серьезной ошибкой. Жаль, что председатель Госстандарта уже поторопился публично заявить, что «с организацией госприемки, по сути дела, приведен в действие архимедов рычаг перестройки, призванный революционизировать промышленность». Госприемка может дать важный, но все же лишь ограниченный эффект. Ограниченность ее неизбежна потому, что контроль на выходе лишь незначительно влияет на сам процесс производства. По оценкам, например, американских специалистов, если все меры по обеспечению качества продукции принять за 100 процентов, то 75 из них придется на поиск конструктивных решений, проектирование, отработку макетного и доводку опытных образцов, отладку технологии, 20 — на контроль самих производственных процессов и лишь 5 процентов — на окончательную приемку изделия. В Японии этот показатель еще ниже — всего-навсего один процент.

Хорошее качество — это даже не столько проблема добросовестного труда рабочего, сколько проблема производства и управления, ответственность за которую несет высшее руководство. Американцы считают, что лишь 15—20 процентов ошибок происходит по вине непосредственных исполнителей, остальные связаны с решениями и

действиями всей стоящей над производственным процессом управленческой пирамиды. Иными словами, с хозяйственным механизмом.

Не следует упускать из виду, что госприемка устраняет от оценки качества самую заинтересованную инстанцию — потребителя, не важно, будет ли им предприятие, для которого предназначена продукция, или человек в магазине. Получив штамп приемщика на своих изделиях, предприятие-изготовитель сможет иногда даже еще сильнее давить и на того и на другого. А коренной порок ныне действующей хозяйственной системы — диктат производителя — останется, по существу, в неприкосновенности.

Пока, по наиболее «патриотичным» оценкам, лишь 17—18 процентов продукции нашей обрабатывающей промышленности отвечают мировым стандартам, а по самым осторожным и пессимистичным — 7—8 процентов. Ставится задача уже в этой пятилетке подняться до 80—90 процентов. Задача-то поставлена, но сумеем ли мы ее выполнить? Слишком глубоки корни этой проблемы, и слишком долго она была у нас второстепенной.

Многие и теоретики и практики согласны сегодня в том, что гарантированный рынок сбыта, распределение продукции «по карточкам», жесткая и, по существу, насильственная привязка потребителей к поставщикам, то есть монополия производителя,— это главная причина того, что продукция большинства наших отраслей мало куда годится. Между тем именно эту главную болезнь — монополию производителя — госприемка не затрагивает. Получается, что вновь мы больше всего уповаем на такие факторы, как стойкость, партийная совесть, боязнь начальства, личная честность отдельного госприемщика, которого, однако, жизнь может очень скоро «повязать» со всеми его поднадзорными.

Да, госприемка хороша как первая, пожарная, мера, как паллиатив, но не архимедов рычаг. Только постепенное ослабление, а затем и полное устранение монополии производителя в нашей экономике может дать что-то принципиально новое. У потребителя должны быть и права и возможности брать то, что ему предлагают, или не брать. Это значит прежде всего, что у него должен быть реальный выбор. А у производителя — реальная опасность прогореть вплоть до полного банкротства, если продукция его не найдет сбыта. Только так можно не на словах, а на деле подорвать господствующий сегодня режим «взаимной амнистии», когда предприятие-потребитель прощает брак поставщику, зная, что и его, потребителя, собственная товарная дрянь в свою очередь будет где-нибудь пристроена.

Нам следует наконец перестать обманывать самих себя, перестать верить кабинетным невеждам и спокойно признать, что проблема «выбора для потребителя», проблема конкуренции, не имеет под собой никакой социально-классовой подоплеки. Идеологией здесь и не пахнет. Это чисто экономическая, даже технико-экономическая проблема. Выбор, конкуренция — это объективное условие, без соблюдения которого ни одна экономическая система не может быть жизнеспособной или по крайней мере достаточно эффективной. Всеобщий дефицит, диктат производителя — это не та экономическая обстановка, в которой производители будут сами, а не из-под палки искать новые технические решения. Всякая монополия неизбежно ведет к застою, абсолютная монополия — к абсолютному застою.

Тут мы пока делаем лишь первые шаги, только-только начинаем. Все для нас ново, непривычно, все не вяжется со сложившимися представлениями. Не можем мы пока принять даже в теории, не говоря уж о практике, и главную особенность, главное объективное условие бездефицитной экономики — некий неизбежный уровень народнохозяйственных потерь, бросовой, не нашедшей себе сбыта продукции в качестве обязательной платы за возможность выбора для потребителя. В кабинетной, умозрительной погоне за «стопроцентной рациональностью», за стопроцентным использованием наших ресурсов и продукции мы в итоге теряем несравнимо больше и одновременно сами себе мешаем покончить с браком, подняться до мировых стандартов качества.

Или нам удастся создать некий постоянный излишек всех основных средств производства, сырья и ширпотреба, излишек, который стал бы материальной основой, прессом, рычагом, с помощью которого потребитель давил бы на изготовителя,— или мы никогда ничего путного выпускать не будем. По-другому проблема качества неразрешима в принципе — оставь надежды всяк, их имеющий. Без такого излишка нельзя перейти и от современного «карточного» снабжения к оптовой торговле сред-

ствами производства и сырьем. Излишек этот может и должен быть создан с двух сторон — и сверху и снизу, и планово-административными методами и рынком, расширением товарно-денежных отношений в народном хозяйстве.

При ясном понимании проблемы и должной решимости Госплан вполне может обеспечить постоянное повышение объемов производства планируемой в натуре продукции над ее фондами, поступающими в систему распределения, на 2—3 процента в год (или же иметь соответствующий резерв производственных мощностей). Пусть эти 2—3 процента предприятия сами продают на рынке, через оптовую торговлю. Увязка материального поощрения предприятий с выручкой от такой торговли может стать первым реальным шагом к подрыву монополии, к появлению у потребителей хоть какого-то выбора.

Пусть это вызовет на первых порах определенное замедление темпов роста по валу. Даром ничего в жизни не дается, и за выход из удушающей обстановки всеобщего дефицита тоже придется, конечно, что-то заплатить. Да и что вообще в таком замедлении темпов страшного, если оно необходимо, чтобы встряхнуть производителей, чтобы избавиться от затоваривания, от неходовой продукции, чтобы заставить наконец производителя понять, что высокое качество его продукции — это не блажь, не чей-то каприз, а неизбежное условие его собственного существования?

Главным методом текущего и среднесрочного планирования в основном массиве нашей промышленности, видимо, станут прямые связи между предприятиями-изготовителями и предприятиями-потребителями. Предприятие должно иметь реальную возможность по своей воле (даже, если угодно, по своей прихоти) в любой момент поменять поставщика с уплатой или неуплатой неустойки в зависимости от конкретных обстоятельств такого разрыва. Договоры должны возобновляться каждый год. Подобные же права необходимо предоставить и торговле в ее отношениях с предприятиями — производителями предметов ширпотреба.

Прямые договорные связи и оптовая торговля средствами производства — две неразрывные стороны одного и того же процесса. Если предприятие будет сбывать свою плановую и сверхплановую рядовую и улучшенную продукцию через рынок, это вызовет такую заинтересованность производителей в конечных результатах, о которой сегодня ни один из тех, кто специализируется на «вопросах сознательности», не может и мечтать. Рыночные хозрасчетные стимулы должны быть распространены на все стадии процесса «исследования — конструкторские разработки — инвестиции — производство — сбыт — послепродажное обслуживание». Только рынок, а не просто административные нововведения, может подчинить всю эту цепь запросам потребителя.

Чем скорее мы признаем, что силой, окриком, угрозой здесь мало что возьмешь, что качество — это итог всей системы экономических отношений, тем быстрее примемся за дело. Для перевода советского рынка из «рынка продавца» в «рынок покупателя» необходимо прежде всего расширить и укрепить сам этот рынок. Для этого у нас есть огромные возможности. Речь идет все о том же: о свободной продаже ненужного оборудования и запасов предприятий, о прямом выходе на рынок колхозов и совхозов, об индивидуально-кооперативной деятельности, о более свободном импорте, в первую очередь из стран СЭВ. Конечно, для всего этого требуется время. Но это уже будет настоящий, всеохватывающий рынок, нечто по самой сути своей противоположное абсолютной монополии и диктату производителя. Между прочим, вопреки распространенным представлениям рынок за исключением чрезвычайных обстоятельств полной монополии нигде и никогда не знал. Не будет он знать ее и у нас.

Конечно, дело не только в рынке и не в том, хотят или не хотят предприятия бороться за место на нем. Качество зависит и от социальной обстановки. Приниженное положение инженеров и конструкторов на производстве, то, что им платят ощутимо меньше, чем неквалифицированным рабочим, не сулит ничего хорошего. Нельзя также не видеть, что и в решающем звене — в науке — низкая оплата труда подавляющего большинства работников порождает массовую апатию. В науку теперь пошел своего рода «третий сорт» из числа людей с высшим образованием. Болезнь понятна, способы лечения ее известны, а вот говорить об этом в полный голос мы почему-то не решаемся до сих пор.

Качество нашей продукции — это, таким образом, лишь отчасти техническая и административная проблема. Прежде всего это экономическая и социальная проблема.

Будут люди материально заинтересованы в научно-техническом прогрессе, останется в прошлом обстановка всеобщей дефицитности — будет и качество. Не сумеем мы справиться с этой задачей — вряд ли найдется какая-либо палочка-выручалочка, которая позволит чего-то добиться без глубоких экономических преобразований.

Радикальная экономическая реформа предъявляет, естественно, соответствующие требования и к тем, кто проводит ее в жизнь. Упрощая, можно, наверное сказать, что в прежних условиях хозяйственный руководитель любого ранга решал прежде всего две главные задачи: он обязан был любой ценой дать план и обеспечить своему коллективу установленный сверху прожиточный минимум. Причем сплошь и рядом этот минимум не зависел от результатов работы. О том, что это так, свидетельствуют такие массовые явления в нашем народном хозяйстве, как всеобщее стремление предприятий потреблять как можно больше «чужого» сырья, энергии и материалов, незаинтересованность в качестве, равнодушие к научно-техническому уровню производства, всеобщий дефицит и одновременно огромные запасы продукции, не находящей сбыта, бездумное выполнение никому не нужной, более того — вредной работы (вроде поворота рек), массовые приписки, очковтирательство, выводиловка и прочее.

Хозяйственный руководитель не отвечал (и пока еще не отвечает) ни перед своим коллективом, ни тем более перед своими хозяйственными партнерами. Он знал только одну простую, грубую административную ответственность перед вышестоящим начальством. Личные отношения значили исключительно много, почти все. В то же время и формы поощрения деятельности руководителей были (и пока остаются) совершенно особыми. Для руководителя еще и сегодня даже большая премия — дело десятое. Его профессиональный успех измеряется иным — орденами, депутатством, местом в президиуме, служебным автомобилем, льготным снабжением, казенной квартирой, поездкой за рубеж, перемещением в более почетный кабинет.

В условиях полного, последовательного хозрасчета работа руководителя резко меняется и столь же резко усложняется. Он должен не только произвести продукцию, но обеспечить ее сбыт, не только отгрузить продукцию, но отгрузить ее в срок и по всей установленной договорами номенклатуре, не просто выполнить плановые задания, но обеспечить достаточную прибыль, не выколотить, выклянчить, выцыганить любыми правдами и неправдами фонды, а найти и купить лучшее, что есть на рынке, не выдрать у своего министерства или в банке безвозвратные средства на капиталовложения, а заработать их самому, не ждать, когда новые технические решения ему спустят сверху, а самому искать их, не прятаться от научно-технического прогресса, а гнаться за ним, не следить за тем, чтобы его рабочий или инженер, не дай бог, слишком много заработали, а, напротив, всячески побуждать их к этому, не отбиваться под любым предлогом от социальных проблем коллектива, а решать их в первую очередь... Наконец, не перекладывать ответственность на чужие плечи, на вышестоящие инстанции, а самому отвечать фактически за все. Очевидно, что ни одну из этих задач ни «пузом», ни горлом, ни дипломатической изворотливостью не решить — они требуют принципиально иных способностей, методов руководства и всего стиля жизни.

Эти задачи требуют не «волкодава», не кулачного бойца, жесткого и, если смотреть правде в глаза, не особо обремененного моральными тормозами, а делового, компетентного, экономически грамотного и предприимчивого человека, привыкшего свято соблюдать этику деловых отношений, всегда и во всем держать свое слово, понимающего людей и их заботы, благожелательного, независимого, уверенного в себе и в силу именно этой уверенности не боящегося никаких форм демократической ответственности ни перед вышестоящими инстанциями, ни — что ныне особенно важно — перед своим собственным коллективом.

Для выращивания такой фигуры нужны время и определенный климат в стране, но начинать надо уже сейчас, сегодня, иначе строить «хозрасчетный социализм» и работать при нем будет просто некому. В годы первых пятилеток и какое-то время после войны хозяйственный руководитель в массе своей был прежде всего профессиональным администратором, нередко без всякого специального образования, умевшим делать лишь одно дело — руководить. Затем центральной фигурой во всей хозяйственной иерархии от начальника цеха до министра стал инженер (со всеми достоинствами и недостатками чисто инженерного мышления), имевший, как правило, на-

выки и опыт организаторской работы, но часто не знавший и не понимавший экономики и экономических законов.

Думается, что постепенно главной фигурой во всей системе хозяйственного управления должен стать не инженер, а экономист, а может быть, и экономист и социолог в одном лице Возможно, инженер (или агроном) должен остаться в качестве непосредственного руководителя в низовом звене — в цехе, в строительном подразделении, в колхозной бригаде или отделении совхоза, в отделе НИИ. Но предприятие, объединение, трест колхоз или совхоз научно-исследовательский институт, ведомство должен возглавлять экономист, имеющий своим первым заместителем толкового технического специалиста, досконально знающего весь технологический процесс.

В ведущих странах Запада сегодня отнюдь не инженер — главная фигура в хозяйственном управлении. В США, например, на рубеже 80-х годов лишь менее 10 процентов высших руководителей ведущих компаний и фирм были специалистами в области технологии. Большинство же хозяйственных руководителей там не имеют инженерной подготовки, это выпускники школ бизнеса или экономисты, специалисты по финансам, юристы. В Японии чисто технической подготовке хозяйственных руководителей уделяют значительно больше внимания, чем в США, но и там хозяйственный руководитель — преимущественно бизнесмен, а не инженер.

Лучший учитель — это сама жизнь. Если экономическая реформа будет достаточно последовательна и глубока, если не будет попятного движения, если люди окончательно поверят, что этот процесс необратим, они сами начнут перестраиваться не на словах, а на деле. Инстинкт самосохранения и стремление к успеху нашему человеку свойственны не меньше, чем кому бы то ни было. Но, как и всякого человека, обманывать его нельзя. И не дай бог, если открытые и скрытые противники реформы опять попытаются исподволь пустить ее по печально известному пути «щекинского эксперимента». Кто может подсчитать сегодня тот не только экономический, но и чисто моральный, общественный ущерб, который соответствующие министерства в силу своей экономической непорядочности нанесли тогда стране, загубив на корню это дело? И сколько, например, времени и усилий еще нужно, чтобы промышленные предприятия, чьи честно заработанные валютные средства вот уже десяток лет лежат арестованные во Внешторгбанке, решились на активную внешнеэкономическую деятельность? Недаром сейчас, когда им это и предлагают и навязывают, они с таким упорством открещиваются от нее. И кто сейчас может подсчитать урон от более чем двухмесячного разгула «административного умопомешательства» по всей стране в связи с принятием скороспелого закона о нетрудовых доходах? Кто конкретно ответит за головотяпское проведение его в жизнь?

Кто будет вдалбливать всем нашим хозяйственным кадрам сверху донизу, что время административных методов управления экономической жизнью проходит, что экономика имеет свои законы, нарушать которые так же непозволительно и страшно, как законы ядерного реактора в Чернобыле, что современный руководитель должен знать эти законы и строить свои деловые решения в соответствии с ними, а не вопреки им? Ведь не в административных и не в технических категориях будет оцениваться его деятельность в неуклонно приближающемся будущем, а прежде всего в категориях прибылей и убытков возглавляемого им коллектива.

Кто разрушит веру наших хозяйственников во всесилие приказа, нажима, силовых методов решения и деловых человеческих проблем? «Хозрасчетный социализм» немыслим, если на смену приказу не придут материальный и моральный интересы, коллегиальность, экономический компромисс, экономическое, а не административное согласование вопросов и проблем как по вертикали, так и по горизонтали. Коренной порок нашей нынешней структуры хозяйственного управления — полная безответственность высших этажей пирамиды, отсутствие каких бы то ни было приводных ремней «обратной связи», скрытые от посторонних глаз и, как правило, никак не связанные с результатами работы предприятий и организаций формы поощрения, которые находятся в противоречии с самой идеологией хозрасчета.

Кто будет прививать нашим хозяйственным кадрам понимание того, что мы не одни в мире, что существуют мировые критерии качества и научно-технического уровня продукции, мировые обязательные, непреложные требования к ней? Вплоть до сегодняшнего дня для большинства хозяйственных руководителей это пока китайская грамота, нечто такое, что существует где-то там, где нас нет, и не имеет ни-

какого отношения к их повседневной деятельности как на производстве, так и на рынке.

Кто будет отучать наших хозяйственных руководителей, особенно высших, от феодальной психологии, кастового чванства, уверенности в своей непотопляемости, своем «богом данном» праве командовать, в том, что он выше законов и выше критики? Поколения наших хозяйственных руководителей были приучены к любым опасностям, кроме одной — опасности, исходящей снизу. Еще и сегодня вмешательство в их деятельность прессы, или избирателей, или собственного коллектива — это не норма для них, а лишь досадное чрезвычайное происшествие.

Все это будет делать тот, кому это по плечу и по праву, а по плечу и по праву это только народу, массе, низам. Как — тоже хорошо известно: гласность, демократизм, подлинная выборность снизу доверху, нестесненная общественная жизнь.

Основные возможности ускорения экономического и научно-технического прогресса нашей страны — это не только, а может быть, даже и не столько приоритетное развитие нескольких новых и сверхновых отраслей: аэрокосмической промышленности, ядерной энергетики, электроники и производства ЭВМ, автоматики, гибких производственных систем, микропроцессоров, робототехники, лазерной техники, средств связи, контрольно-измерительной аппаратуры, новых синтетических материалов, тонкой химической технологии, фармацевтики, биоинженерии.

Еще бóльшие возможности экономического прогресса заключены в модернизации и рациональном использовании того, что у нас уже есть. Мы производим металла почти вдвое больше, чем США, и нам его больше не надо — нам нужен иной металл, иного качества. Нам не нужно больше энергии: энергоемкость нашего национального дохода почти в 1,5 раза выше, чем в большинстве западных стран, а внедрение передовой энергосберегающей технологии дает тот же эффект, но только в 3—4 раза дешевле, чем бурение новых нефтяных скважин. Нам не нужны новые площади под лесоповал: если мы сегодня пускаем в дело в среднем всего 30 процентов древесины, то в США, Канаде, Швеции степень утилизации сырья в лесной промышленности составляет сегодня более 95 процентов. Нам не нужно больше воды, нам не нужно больше никаких поворотов рек, нам нужно остановить расхищение и ужасающие потери воды, поступающей по уже действующим ирригационным системам,— по некоторым оценкам, эти потери составляют в конечном итоге 75 процентов. Нам не нужен импорт зерна и, следовательно, таких масштабов нефтяной экспорт: импорт зерна фактически равен ежегодным потерям нашего собственного урожая. Нам не нужно больше тракторов, мы производим их и так в 6—7 раз больше, чем США,— нам необходимо добиться, чтобы уже имеющийся у нас тракторный парк действовал, а не простаивал и чтобы чуть ли не каждый второй новый трактор не разбирали на запчасти. Нам не нужно больше станков, их у нас и так почти в 2,5 раза больше, чем в США,— нам нужны станки иного качества и чтобы работали они не в одну смену, а хотя бы в две, не говоря уж о трех. И нам не нужно больше обуви: мы и так производим ее больше всех в мире, а купить в магазинах нечего.

Нельзя не согласиться с академиком А. И. Анчишкиным: сегодня больше — это должно быть на самом деле сплошь и рядом меньше. Количественный рост нам не нужен, во всяком случае в большинстве отраслей, он нужен только в отраслях «высокой технологии» и, может быть, в некоторых отраслях аграрно-промышленного комплекса. Нам нужен не количественный, а качественный рост, не прирост любого вала, любой продукции ради завораживающей магии процентов, а иное качество роста. По валу это новое, технически передовое качество роста может дать и минус — ну и что в этом страшного? Но зато качественный рост — это гарантия того, что будет произведен металл не для утяжеления станины, а для новых, прогрессивных профилей и ботинки будут произведены не для того, чтобы гнить на складах, а для того, чтобы люди их носили.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ФРИДКИН,
доктор физико-математических наук

★

ВОРОНЦОВО

У входа в парк со стороны Старокалужского шоссе стоят две круглые башни из красного кирпича с белокаменным бельведером. По обе стороны от башен — одноэтажные караульни, тоже из старого красного кирпича. Прямо за входом — аллея, обсаженная вековыми корявыми дубами и старыми липами. Конец апреля, но весна запоздала. Деревья, черные и сырые, спускаются к прудам, в которых тает грязный, ноздреватый снег. На краю парка, над прудами, стоит каменный господский дом с колоннами, без крыши, с пустыми окнами. Рядом — еще несколько старых зданий, видимо, службы. А вокруг — новый московский микрорайон. Куда ни посмотришь, высотные дома и башни, сложенные из голубых и белых панелей. Москва наступила на Воронцово сразу с двух сторон — с Ленинского проспекта и из Черемушек. Рассказывают, что еще несколько лет тому назад за прудами буйным цветом цвели старые яблоневые сады. А сейчас от подмосковной усадьбы князей Репниных остался только этот парк. В нем гуляют дети из соседних домов. Вот и я качу коляску со своей внучкой Таней. Недавно моя дочь получила здесь квартиру. Улица, на которой она живет, так и называется — Воронцовские пруды. Мне кажется странным, что я не был здесь раньше и ничего не знал о Воронцове. Весной 1983 года, когда я вернулся из командировки в Италию, Воронцово неожиданно вошло в мою жизнь. Тогда, помнится, я много размышлял об этом. Мне казалось удивительным, что для того, чтобы узнать о Воронцове, мне понадобилось улететь в Рим и заняться поиском таинственно исчезнувшего архива графа Миньято Риччи, переводчика Пушкина.

С графом Риччи Пушкин познакомился в Москве в салоне Зинаиды Волконской, по-видимому, осенью 1826 года. Красивый итальянец был не только поэтом, но и композитором и певцом. Пушкин знал и его жену, Екатерину Петровну, двоюродную сестру декабриста Лунина, замечательную певицу, с которой Пушкин встречался в доме Волконской на Тверской и в московских гостиных. Известны два письма Риччи к Пушкину, написанных в 1828 году, где он просит Пушкина сообщить свое мнение о его переводах на итальянский «Демона» и «Пророка». В одном из писем Риччи благодарит Пушкина за благосклонный отзыв, но ответные письма Пушкина не известны. В 1828 году Риччи развелся с женой, покинул Россию и навсегда уехал в Италию. Письма Пушкина он, видимо, увез с собой. Весной следующего года переселилась в Рим и Зинаида Волконская с сыном Александром, его воспитателем — итальянским художником Микеланджело Барбиери и сестрой Марией Александровной Власовой. В Риме на вилле Волконской Риччи прожил долгие годы. Дружба с Зинаидой Волконской прошла через всю его жизнь. В письме к П. А. Вяземскому, отправленному в конце января 1829 года, Пушкин говорит об их близости. Об этом же красноречиво говорят и письма Риччи к Зинаиде Волконской, его стихи и посвященные ей мадригалы, хранящиеся ныне в библиотеке Гарвардского университета, где находится уцелевшая часть литературного архива Волконской. Однако ни ответных писем Пушкина, ни рукописного наследия Риччи в Гарварде нет. Риччи умер в Риме в 1860 году, и его архив пропал бесследно.

Архив Риччи искали многие пушкинисты. И одним из самых неутомимых следопытов был Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов, праправнук Пушкина, родив-

шийся в 1912 году в Париже и проживший в этом городе всю жизнь. По профессии инженер-строитель, в годы второй мировой войны Георгий Михайлович сражался против немцев в рядах французского Сопротивления, был ранен. Праправнук Пушкина был страстным пушкинистом, печатал статьи о Пушкине в советских журналах. После войны он несколько раз приезжал в нашу страну, считал ее своей второй родиной. Я познакомился с ним в Париже в апреле 1982 года во время одной из своих командировок. В маленькой квартирке на улице Ализья одна из комнат была превращена в семейный и пушкинский музей. Помню большую картину в углу — сцена дуэли Онегина с Ленским. Георгий Михайлович собрал большую библиотеку-пушкиниану. За русским ужином, который приготовила его жена Тамара Васильевна, Георгий Михайлович рассказывал об одной из своих пушкинских находок. В Амбуазе, в музее почты, он разыскал дуэльные пистолеты Пушкина и Дантеса. Они принадлежали секунданту Дантеса, секретарю французского посольства д'Аршиаку. Позже на этих же роковых пистолетах сын французского посла де Баранта дрался на дуэли с Лермонтовым. В 1840 году де Барант увез их во Францию, и впоследствии их приобрел на аукционе владелец музея почты. Там их и нашел Г. М. Воронцов-Вельяминов. Незадолго до моего приезда в Париж Георгий Михайлович послал в «Вопросы литературы» свою новую работу — исследование о письме Пушкина генералу Толю, предсмертном письме поэта. После чая мне показали семейный альбом. На первой странице — портреты Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Пушкиной, за ними следовали старые фотографии прадеда — генерала Александра Александровича Пушкина, прославленного героя войны за освобождение Болгарии, бабушки Натальи Александровны Пушкиной, в замужестве Воронцовой-Вельяминовой. В конце альбома я увидел фотографии дочерей Георгия Михайловича Нади и Ани. Георгий Михайлович рассказал, что Аня, русский филолог и переводчица, замужем за итальянцем и живет во Флоренции. Родители часто гостят у нее, и Георгий Михайлович пользуется случаем, чтобы поработать в итальянских архивах и библиотеках. Вот тут я и вспомнил о графе Риччи, ведь он флорентиец, и, может быть, его архив надо искать во Флоренции. Георгий Михайлович на это ответил, что уже искал, но безуспешно. Бумаги Риччи как сквозь землю провалились. Осталось неразведанным одно место — рукописный отдел ватиканской библиотеки. Про себя я подумал: а как туда попасть?

Прошел год. Из Парижа пришло печальное известие: в канун Нового года скоропостижно скончался Георгий Михайлович. В апреле 1983 года я прилетел в Рим. Мне предстояло чтение лекций в нескольких итальянских университетах, и на этом пути лежала Флоренция. Я позвонил из Рима во Флоренцию по телефону, и Анна Георгиевна сказала, что встретит меня у поезда. Я приехал во Флоренцию днем, вышел из вагона и стал ждать на перроне. Ведь я не знаю прапраправнучку Пушкина в лицо. Знаю только, что на фотографии она похожа на своего покойного отца. И вот когда толпа рассеялась, я увидел в голове поезда молодую женщину, бегущую ко мне. Ну, конечно, это Аня, Анна Георгиевна Воронцова-Гури. Аня — высокая, несколько худая шатенка с серыми мягкими, как у отца, глазами. И я впервые (прошло уже две недели, как я в Италии) заговорил по-русски. Остаток дня был у меня свободен. Аня пригласила меня домой на ужин, а пока предложила быть моим чичероне и побродить по городу. И я впервые увидел Флоренцию, белую и бирюзовую, как дворцы Растрелли. Мы не успевали смотреть, а Аня не успевала рассказывать. Вот церковь Санта-Мария Новелла со знаменитыми фресками Андреа да Фиренци, ученика Джотто, XIV век, вот прославленная Санта-Мария дель Фьоре с византийской мозаикой XI века, с колокольней, построенной Джотто, с куполом Брунеллески (об этом куполе флорентийцы говорят: «Я родился под сенью купола»). Входим в небольшую полутемную церковь, мерцают свечи. Здесь венчался Данте и похоронена Беатриче. У Данте, как и у Пушкина, много потомков. Сыновья Данте жили в Вероне, но род по мужской линии пресекся. Одна из подруг Ани — потомок Алигьери по материнской линии. И пока мы шли к галерее Уффици, у меня было время подумать о дружбе потомков Пушкина и Данте. В Уффици одна из лучших картин — это вид, открывающийся из окон дворца на реку Арно, мосты и гряду гор в сиреневой дымке на горизонте. Где-то на их склонах — дом Чайковского, в котором он написал клавир «Пиковой дамы». Пейзаж Флоренции такой же спокойный и гармоничный, как и ее искусство. И вот наконец площадь Синьории, палаццо Веккьо, конная статуя Медичи, Давид. Мы присели за столик кафе и перевели дух. Аня рассказала о Георгии Михайловиче. Он умер внезапно, от разрыва аорты, в ночь с 21 на 22 декабря прошлого года и еще днем нака-

нуне ездил с гостями из Ленинграда в Фонтенбло. Его похоронили на кладбище Сан Женевьев де Буа рядом с И. А. Буниным...

Вечером на квартире у Ани я познакомился с ее мужем Сандро Тури и их детьми — пятнадцатилетним Степой и четырнадцатилетней белокурой прелестной Катей. Юные пушкинские потомки бегло говорят по-русски. Я вспомнил, что их покойный дедушка очень этим гордился. Собрались гости. Я рассказывал о своей удаче, о том, как мне довелось побывать на вилле Зинаиды Волконской в Риме. Говорил о том, что памятники в Аллее воспоминаний гибнут, что стела в честь Пушкина, которую Зинаида Волконская поставила в Аллее еще в 1839 году, валяется на земле, как простой камень. Все возмущались, и особенно флорентийская пушкинистка Альберта, молодая итальянка с живыми яркими глазами, хорошо говорившая по-русски. Она только что вернулась из США и рассказала, что Гарвардский университет готовит публикацию литературного архива Зинаиды Волконской. От американских издателей она привезла письмо в библиотеку Ватикана с просьбой дать справку, не содержится ли там архив переводчика Пушкина графа Миньято Риччи. Вот так неожиданно я снова вспомнил о Риччи. Значит, американцы тоже идут по этому литературному следу. Аня сказала, что нельзя терять времени, и вышла из комнаты. Скоро она вернулась и сказала, что позвонила в Рим своему знакомому, работающему в библиотеке Ватикана. Все улажено. В Риме мне заказан пропуск в рукописный отдел ватиканской библиотеки.

Площадь Святого Петра и формальности с пропуском задержали меня на час. Я прошел мимо швейцарских стрелков в широких беретах и полосатых костюмах, пересек площадь музеев и поднялся на второй этаж. В первом зале — каталоги, во втором — выдача рукописей и читальня. А вот и семейные бумаги Риччи, я нашел их в каталоге в первый же день. Но радость была преждевременной. Ни писем Пушкина, ни переводов из Пушкина, ни других документов, относящихся к московскому периоду жизни Миньято Риччи, в архиве не оказалось. Конечно, архив этот нуждается в тщательном изучении, но одно несомненно: Пушкина в нем нет.

Часто бывает так, что ищешь одно, а находишь другое. В каталоге рукописного отдела в семейном архиве Висконти значились четыре письма Зинаиды Волконской. Когда я получил и прочел эти письма, оказалось, что их атрибуция неверна. Три письма были написаны матерью декабриста Сергея Григорьевича Волконского княгиней Александрой Николаевной Волконской (урожденной Репниной), свекровью Зинаиды Волконской. Автором четвертого письма был Никита Григорьевич Волконский, муж Зинаиды Волконской. Все письма были адресованы воспитателю ее сына, художнику Микеланджело Барбиери. Эти семейные письма запечатлели эпизоды из жизни замечательной русской женщины, поэтессы, писательницы и певицы, друга Гоголя и Веневитинова, которую очарованный Пушкин назвал «царицей муз и красоты». Письмо Н. Г. Волконского отправлено из Петербурга в Рим, где в начале 20-х годов Зинаида Волконская жила с сестрой Марией Александровной Власовой и работала над созданием и постановкой своей оперы «Жанна д'Арк». Вот перевод этого письма с французского:

«Санкт-Петербург, 3 февраля 1823.

Не могу выразить Вам, дорогой Барбиери, до какой степени я благодарен за Ваши усердие и хлопоты при похоронах. Несчастье ужасно для нас, неслыханно для Мадлен, и это особая милость Провидения, что Зинаида находится подле сестры во время ужасной катастрофы. Я прочел два Ваших письма maman Волконской. Ее очень беспокоит Мадлен и состояние ее финансов, она пишет Зинаиде по этому поводу. Скажите мне наконец, месье Барбиери, что случилось с суммой 93 тысячи рублей, которую Игнаций Лабенский послал на днях через коммерческий банк дорогому усопшему? А он не оставил никакой доверенности. Вот ведь какая неудача с деньгами! Пожалуйста, держите меня в курсе того, что происходит. Вы знаете, что здоровье Зинаиды может от этого пострадать. Невозможно написать обо всем яснее и точнее, чем это делаете Вы, мы все это знаем. Я рассчитываю на то, что Вы не оставите меня без новостей.

Ваш князь Н. Волконский.

Я обнимаю Александра. Скажите, какое впечатление произвела на него смерть его дяди? Сегодня исполнилось 12 лет, как я женат, и в этом же году он появился на свет. А в 13 лет он уже не младенец. Тургеневы шлют Вам привет».

Это письмо рассказало о трагическом событии в жизни семьи Волконских — смерти мужа М. А. Власовой. Мы знаем, что овдовевшая М. А. Власова отныне до конца своих дней посвятит себя сестре Зинаиде. В 30 — 40-х годах в Риме она станет другом Гоголя, который напишет ей в альбом шуточное посвящение «Как ни глуп Индейский петух...» Этот неизвестный текст Гоголя из альбома М. А. Власовой, хранящегося в Гарварде, недавно был опубликован в советской печати[1] Письмо это интересно и тем, что позволяет точно датировать день свадьбы Зинаиды Волконской — 3 февраля 1811 года,— и год рождения ее сына Александра.

Из трех найденных писем А. Н Волконской два безусловно представляют интерес. Они написаны в московский период жизни Зинаиды Волконской. Вот их перевод с французского.

«Царское Село. 15 июля 1825.

Только рассчитывая на Вашу любезность, я смогла позволить себе просить Вас через мою невестку княгиню Зинаиду оказать мне услугу разобраться в жалобе, которую мне адресовали мои крестьяне из деревни Воронцово Заставьте крестьян рассказать, но чтобы ни они, ни управляющий Филипп Кошелев не знали, что я Вас об этом прошу Если Вы исполните это и отправите мне бумагу с жалобой и в то же время скажете мне свое мнение, Вы меня много обяжете, и я прошу Вас, месье, верить, что я буду Вам за это очень благодарна и что с этим чувством и с моим глубоким уважением остаюсь преданная Вам

княгиня Волконская,
урожденная княгиня Репнина».

«Санкт-Петербург. 21 декабря 1826.

Рассчитывая на Вашу дружбу, мой дорогой месье Барбиери, я надеюсь, что Вы меня простите за то, что я до сих пор забыла уплатить Вам мой долг, который я здесь прилагаю, 180 рублей, за табакерку с серебряной картиной Ван Дейка, подарок моему сыну Никите. Итак, я рассчитываю на Вашу снисходительность в отношении моей забывчивости и надеюсь что это не лишит меня Вашего внимания Письмо, которое я кладу в этот же конверт, предназначено для передачи моей невестке Зинаиде с тем, чтобы она прочла его как можно раньше Это совершенно необходимо, и я рассчитываю в этом на Вас Желая Вам счастливого Нового года, который скоро наступит, прошу Вас верить в мое уважение и дружбу.

Преданная Вам княгиня Волконская,
урожденная княгиня Репнина».

Письма эти любопытны и тем, что рассказывают об итальянском художнике Микеланджело Барбиери, воспитателе сына Зинаиды Волконской То немногое, что о нем известно, говорит о его важной роли в театральной и музыкальной жизни Зинаиды Волконской Волконская познакомилась с Барбиери скорее всего до своего возвращения в Россию в 1817 году Весной следующего года она уехала в Одессу, чтобы определить сына в Ришельевский лицей Об этом мы узнаем, в частности, из письма фрейлины М. А Волковой к В И. Ланской, отправленного из Москвы 22 октября 1817 года, где упоминается имя Барбиери В начале 20-х годов Волконская и Барбиери с его воспитанником живут в Риме Из найденного письма Н. Г. Волконского мы узнаем, что уже в это время Барбиери выполнял важные поручения семьи К этому же времени относится запись путешествовавшего по Италии М Д. Бутурлина: «На сцене певал с нею и управлял ее домом и делами наставник ее сына римлянин г. Барбиери, галантливый и приятный в обществе человек Он же писал и декорации для ее театра и превосходно составлял столы (т. е верхнюю их часть) из мозаичной мелкой работы...»[3] Таким образом, именно Барбиери работает в 1820 — 1821 годах в Риме над декорациями, костюмами к опере «Жанна д'Арк», музыку и либретто которой написала Зинаида Волконская Как известно, вместе с письмом от 29 октября 1826 года Волконская посылает Пушкину литографию с картины Федора Бруни, изобразившего ее в этой роли. Итак, как декоратор Барбиери имеет прямое отношение как к этой картине, так и к

---

[1] Н Прожогин, «Альбомная страница, или Стихотворение в прозе» («Советская культура», 24 марта 1984 года) В. М. Фридкин, «Отчет о командировке» («Наука и жизнь» 1985, № 2).

[2] М. Свистунова, «Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской» («Вестник Европы», 1875, № 8, стр. 679).

[3] «Записки графа М. Д. Бутурлина» («Русский архив», 1897, кн. 1, стр. 641).

другой картине Бруни, где Волконская изображена в костюме Танкреда. (Последняя находится ныне в Русском музее в Ленинграде.)

В московский период Зинаиды Волконской (1824 — 1829) Барбиери живет в ее доме. П. И. Бартенев писал в 1901 году: «Барбиери, итальянский художник, прекрасно расписавший залы в доме княгини Волконской на Тверской, на углу Козицкого переулка, ныне Елисеева. Живопись на потолках доселе сохранилась[4]. Барбиери расписывал стены и в имении Волконских в Суханове[5]. Об искусстве итальянского мастера говорит и письмо А. Н. Волконской, по заказу которой он изготовил на серебре копию картины Ван Дейка.

В доме на Тверской Зинаида Волконская создает оперную сцену, на которой выступает и как певица и как режиссер. Барбиери пишет декорации к спектаклям. На этой сцене, по обе стороны от которой стояли бюсты Мольера и Чимарозы, звучало чарующее контральто Волконской, играли и пели выдающиеся музыканты и певцы. Спектакли и концерты в доме Волконской были событием в театральной и музыкальной жизни России.

Барбиери должен присутствовать и на знаменитых академических обедах, на которых читали свои стихи Пушкин, Вяземский, Веневитинов, Баратынский и спорили о литературе московские «любомудры» и «архивные юноши». Как недавно стало известно из документов гарвардского архива Волконской, Пушкин преподнес Зинаиде Волконской свое знаменитое послание «Среди рассеянной Москвы...» вместе с экземпляром поэмы «Цыганы» 5 мая 1827 года в день представления в доме на Тверской оперы Россини «Итальянка в Алжире»[6]. Несомненно, Барбиери принимал участие в этой постановке как художник, а может быть, и как исполнитель. Вяземский вспоминает о постановке в ее доме «Танкреда», в котором пела Зинаида Волконская. Нет сомнений в том, что Барбиери писал декорации и к этой постановке. Предполагают, что Пушкин был в этот вечер в доме на Тверской. Не случайно вечер импровизатора в «Египетских ночах» Пушкин открыл увертюрой к «Танкреду». И кто знает, не было ли во внешности Микеланджело Барбиери тех черт, какими Пушкин наградил итальянца-импровизатора?

Упоминаний о Барбиери и в это время крайне мало. Вот отрывок из письма А. Я. Булгакова брату от 26 мая 1825 года: «Вчера в девятом часу вечера скончался Алексей Мих. Пушкин... В вечеру была музыка у кн. Зинаиды. Барбьери явился оттуда и возвестил весть печальную. Тургенев, Вяземский тотчас туда поехали...»[7]. Между прочим, Вяземский сообщил об этом Пушкину в письме от 7 июня 1825 года. Известно ответное письмо Пушкина, посланное Вяземскому из Михайловского в начале июля, в котором он откликается на смерть своего дальнего родственника, известного в ту пору переводчика Мольера и актера-любителя. Таким образом, А. М. Пушкина, Волконскую и Барбиери связывали общие театральные интересы. Через несколько дней, 30 мая 1825 года, А. Я. Булгаков пишет брату: «Были мы у княгини Зинаиды, которая, надобно признаться, очень мила. Собирается ехать завтра в Воронцово и жить там лето, ежели полюбится Место плоское, было только хорошо отличным содержанием садов и домов; теперь, верно, все это запущено. Однако же, ежели решится там жить, съезжу посмотреть; я чаю, нет и следов нашего Китайского домика, в коем жили мы с покойным батюшкою»[8].

Первое письмо А. Н. Волконской возвращает нас к лету 1825 года, когда Зинаида Волконская жила в Воронцове. Мать будущего декабриста доверяет Барбиери важное поручение — разобраться в жалобе воронцовских крестьян и высказать свое мнение, которому она доверяла. Через пять месяцев декабристы выйдут на Сенатскую площадь и ее сын Сергей Григорьевич Волконский, один из руководителей Южного общества, будет осужден к двадцати годам каторги. А в следующем году ее невестка Мария Николаевна Волконская уедет к сосланному мужу в Сибирь. 26 декабря 1826 года она навсегда простится с Пушкиным в доме Зинаиды Волконской на Тверской. Позже Мария Николаевна будет часто вспоминать прощальный концерт, устроенный в ее честь в этот вечер.

---

[4] «Русский архив», 1901, кн. 2, стр. 182.

[5] «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV—XIX веков». М. 1962, стр. 265.

[6] «Наука и жизнь», 1985, № 2, стр. 149.

[7] «Русский архив», 1901, кн. 2, стр. 182.

[8] Там же, стр. 182—183.

Нет сомнений, что второе письмо матери декабриста, датированное 21 декабря, как раз связано с отъездом Марии Николаевны Волконской. 15 декабря 1826 года Мария Николаевна в Петербурге обращается к царю с письмом, в котором просит разрешить ей следовать за мужем в Сибирь. Ответ царя приходит к ней 21 декабря. В раздраженном тоне царь бездушно предостерегает отважную женщину, но разрешает: «Я считаю обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные, относительно того, что вас ожидает...» Мария Николаевна далее вспоминает в своих записках: «В ту же ночь я выехала (то есть 21 декабря или на следующий день.— *В. Ф.*)... Я заехала обнять свекровь, которая велела мне вручить как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска... Я поручила своего бедного малютку попечению свекрови и невесток и, с трудом оторвавшись от него, вышла». Таким образом, деньги и письмо для передачи Барбиери А. Н. Волконская вручила своей невестке. В этот же конверт она вложила и письмо для другой невестки, Зинаиды Волконской, «с тем чтобы она прочла его как можно раньше». Видимо, это письмо было не только срочным, но и строго конфиденциальным. А. Н. Волконская не доверила его почте. Можно только догадываться о его содержании: так или иначе в нем говорилось об отъезде Марии Николаевны к сосланному мужу. Вот какой путь проделало это письмо матери декабриста, прежде чем навсегда осесть в подвалах архива Ватикана.

Зинаида Волконская не скрывает своего сочувствия к декабристам, своей открытой оппозиции к правительству Николая, установившему над ней негласный надзор. Весной 1829 года она покинет Россию, но связь ее с родиной не прервется ни на один день. В своем дорожном дневнике она напишет: «Отечество — священное имя, священный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество! Ты — наш родитель, а братья и друзья — всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин, гордись родиной, дари ее жизнию своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца...»

Нам пора возвращаться домой. Вот и снова ворота, две круглые башни из красного кирпича. Много они повидали на своем веку. Теперь Воронцово — это Москва, но мой путь сюда оказался неблизким. Тайны архива Риччи более не существует. Но писем Пушкина я так и не нашел. Нашлись другие письма. Они слегка приоткрыли занавес над сценой оперного театра, где вместе грудились Зинаида Волконская и итальянский художник Микеланджело Барбиери.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. ВИЛЬМОНТ

★

БОРИС ПАСТЕРНАК

Воспоминания и мысли

Или воспоминание самая сильная способность души нашей ..

Пушкин.

Николай Николаевич Вильмонт (1901—1986), историк культуры, литературовед и переводчик, более полувека своей жизни посвятил изучению немецкой классической литературы и философии. Гёте и Шиллер, Кант, Лессинг и Томас Манн — с этими «великими спутниками» (так называлась одна из его книг) связан круг его основных научных и художественных интересов.

Разносторонне образованный, Н Вильмонт был не только крупным русским германистом, но и незаурядным исследователем и знатоком отечественной, классической и современной, литературы. Его лучшие работы и в той и в другой областях — от глубоко оригинального исследования «Достоевский и Шиллер» до небольших по объему статей или вступительных заметок к разным изданиям, будь то «Зарубежная поэзия в русских переводах» или «Разговоры с Гёте» Эккермана,— отличают фундаментальность суждений, точность и тонкость характеристик, богатство языка и артистизм стиля.

Осанистый и легкий, слегка горбоносый, с высоким лбом и пронзительными светлыми глазами из-под густых, поседевших к старости бровей,— сам облик этого «московского Пиквика», по меткой характеристике одного из его друзей, сам его характер, в котором счастливо уживалась богатая художественная одаренность, фактурность с холодным умом мыслителя (недаром в его крови причудливо слились разные — и какие!— ручейки и культуры — от боярского рода Колычевых, немецкого религиозного реформатора Лютера до шотландского королевского дома Стюартов, настоящая его фамилия Вильям-Вильмонт), сам облик и характер его были произведением искусства и, казалось, созданы для дружбы и творчества. В том числе и той дружбы, которая связывала его на протяжении многих лет с другим «великим спутником» его жизни — Борисом Леонидовичем Пастернаком, о котором он оставил публикуемые в этом номере воспоминания.

Начатые непосредственно после ухода поэта и с первых страниц дышащие неподдельным чувством потери, они потом и писались — глава за главой — к годовщинам его смерти. К сожалению, воспоминания эти по целому ряду причин остались незаконченными, хотя не однажды он собирался их продолжить (да уже и собрался: собственная скоропостижная смерть застала его за работой над главою о «Докторе Живаго»), однако и то, что сохранилось,— первые шесть глав, пять из которых мы предлагаем с небольшим сокращением нашим читателям,— воссоздает целостный и живой образ большого художника. Блестящая память мемуариста, сохранившая смысл и стиль речи Пастернака, его неповторимый, якобы косноязычный «захлеб» и прихотливо разветвленное ассоциативное движение мысли — и это тридцать — сорок лет спустя после описываемых встреч и событий!— эта память сама по себе драгоценна, но она согрета еще и пониманием.

Может быть, кому-то эти воспоминания и оценки покажутся чересчур субъективными и пристрастными, но не следует забывать, что писались они не только знатоком поэзии, не только выдающимся ученым и историком культуры, у которого есть своя точка зрения на иерархию литературных ценностей и место в ней поэта, но писались они — и это прежде всего — некогда молодым поэтом и влюбленным другом. Да и существуют ли в искусстве беспристрастные свидетельства? В конце концов, беспристрастные оценки выносит сама история.

О. ЧУХОНЦЕВ.

Глава первая

Умер Борис Пастернак. И сразу стало ясно, что от нас ушел гениальный художник, последний большой поэт современности «Есть ли в поле жив человек?» Не думаю, чтобы так-таки перевелись богатыри на земле. Пройдут десятилетия, даже не века, и, возможно, появятся новые Поэты. Но покуда их нет. И не только у нас, на Руси, как оно ни обидно для самолюбия современников отечественных и зарубежных. В нем одном (после смерти Блока) наблюдалась та соразмерность дарования и творчества с жизнью поэта, которая, собственно, и составляет отличительный признак истинно великого художника.

Пока гений живет среди нас, трудно верить в его гениальность, если только — и притом вне зависимости от чисто артистического его обаяния — жизнь художника не успела перерасти в легенду до того, как он нас покинул. Прижизненному признанию художника гением больше всего мешает почти неизбежное свойство гениальности — неравноценность, даже несовершенство иных его творений.

Совершенен ли Леонардо да Винчи? Совершенны ли Гёте, Толстой, Шекспир или Сервантес? Достоевский, Томас Манн, даже Пушкин и Чехов? Нет, они г е н и а л ь н ы. Совершенны стихи Теофиля Готье, проза Мериме или Анатоля Франса Но кто назовет их гениями? Они только совершенны, и это заслуженно возвышает их надо всем что несовершенно, не будучи гениальным.

От большинства полотен Леонардо веет холодом; они кажутся искусственными при их сопоставлении с его фрагментами (с головой безбородого Христа, например), или с его анатомическими студиями, или с карикатурными зарисовками флорентийских старух Так ли сплошь совершенен гениальный «Фауст»? Нет, конечно. И часто в легковесных суждениях его порицателей больше толку, нежели в пустых панегириках присяжных его превозносителей.

И все же гении и только они, достигая предела своего мастерства, своего искусства «владеть и властвовать»[1] дают нам понять, что такое высшее искусство. Оно пламенеет «рождественской звездой»,

как этот в стороне
От неба и Бога,

и указует нам на истинную природу совершенства.

Не без боли и внутреннего сопротивления я здесь, уже в самом начале моих записей, пробуждаю физически навсегда умолкший бессмертный голос Бориса Пастернака, создателя, быть может, самого совершенного русского стихотворения XX века — «Рождественская звезда», где его поэзия достигает небывалой виртуозности и — вопреки виртуозности и с нею в союзе — предельной простоты.

— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя Подождите у входа.

Средь серой, как пепел предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы.
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало Рассвет, как былинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода,

[1] Формула древнегреческого поэта Пиндара, к которой любил обращаться Б Л Пастернак.

И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей, рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Он умер на исходе 30 мая 1960 года и был моим другом — «давно-давно»... Это дважды повторенное «давно» — намек на другие, более ранние его стихи из цикла «Второе рождение». Он удивительно умел произносить эту словесную двоицу — приглушенно-напевным голосом, будто смычок тронул струну контрабаса; и сразу создавалось впечатление глухого пустынного пространства (немец бы здесь воспользовался выражением Zeitraum, но мы не располагаем таким словосочетанием):

Давно-давно
Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск,— был кругом войн и перемирий
И кругом свойств занятий и знакомств.
И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.
И мерил я полуторною мерой
Судьбы и жизни нашей недомер.
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример.

Спешу оговориться: эти стихи до меня не имеют никакого касательства, а тот, к кому они были обращены[2], от смущенной и горькой растроганности воскликнул веселым фальцетом: «Почему только Омск и Томск? Это о т в р а т и т е л ь н ы е города с у ж а с н ы м и уборными!»— чем вызвал такой же веселый, но баритональный смех автора; на глазах у поэта блеснули слезы, в которых себе мужественно отказал адресат стихотворения. Пастернак обнял его, «ища губами губ», и адресат, невзирая на понятную ему подоплеку стихов, остался его другом...

Последние четыре года мы почти не встречались. Размолвки не было. С моей стороны была обида (существа которой я здесь не коснусь), с его — нежелание рассеять обиду, иначе: равнодушие, а быть может, и более глубокое и оправданное недовольство мною к а к ч е л о в е к о м и л и т е р а т о р о м, от которого он в свое время ждал интересной книги о себе. Но написанию такой книги время долго не благоприятствовало. А потому меня даже удивило, что он, казалось бы переставший в меня «верить», все же на смертном одре повторил свое желание (большой давности), чтобы я о нем написал...

Мысль написать о Борисе Пастернаке не могла застать меня врасплох. Я все чаще думал об этом в последнее время, особенно в годы нашего расхождения, не без надежды, ребяческой не по возрасту, одним броском восстановить status quo ante. Без того, чтобы при его жизни (и отчасти ему в укор) не написать о нем своих «Воспоминаний и мыслей», мне не хотелось вновь переступить порог его переделкинского дома. Позднее в связи с его семидесятилетием я все же надумал приехать к нему, но захворал и долго проболел. Пришлось ограничиться посылкой телеграммы. Он прочел ее с добрым чувством. Так мне передали.

А там е г о настигли болезнь и смерть. За два дня до кончины Бориса Леонидовича я в последний раз слышал его голос. Нисколько не изменившийся,

[2] Н е й г а у з Г. Г. (1888—1964) — выдающийся пианист и гениальный музыкант, профессор (в то время директор) Московской консерватории; первый муж З. Н. Пастернак, жены поэта.

гудящий и вибрирующий, вполне покорный его ничуть не помутневшей мысли. Тело же, лицо и руки страшно похудели и непреложно говорили о конце.

Теперь я обязательно напишу о нем, если только немощная плоть не сыграет со мною дурной шутки.

Наша дружба (тогда это было дружбой) началась весною 1920 года Мне было девятнадцать лет, ему тоже только тридцать, и он еще очень походил на свой юношеский портрет — рисунок углем его отца академика живописи Л. О. Пастернака.

Хочу успокоить читателя: мои записи не будут посвящены теме «История нашей дружбы». Она едва ли кому интересна. Для дружбы с поэтом Борисом Пастернаком я был слишком слабым партнером Но эта щедро меня одарявшая близость, с годами, как почти все слишком страстные молодые дружбы, перешедшая в многолетние доброприятельские отношения, конечно, помогла мне более глубоко проникнуть в духовную суть большого поэта и человека. И как источник для будущей биографии Б. Л. Пастернака мои воспоминания, быть может, возымеют некоторую ценность. Впрочем, я отнюдь не даю зарок тщательно избегать всего, что относилось бы к хронике наших отношений.

Вначале его и меня связывал род какого-то взаимного гипноза. Часто Борис Леонидович не мог на меня смотреть без смеха, так как, основываясь на повторных случаях, вообразил, будто я без труда читаю все его мысли. Вряд ли я это умел (тем более все), но иногда мне это «удавалось».

— Ну как вам это опять удалось? Знаете, Коля, я должен был бы вас опасаться, если б не ваша чистота почти уже юного лорда Фаунтлероя! — Он искренне восхищался моим «ясновидением», тогда как я считал его зачинщиком всей этой чертовщины.

Доходило до курьезов. Так мне однажды случилось сидеть за обильным пасхальным столом в одном родственном нам семействе, столь состоятельном в недавно рухнувшем в пропасть истории прошлом, что хозяйка дома со скорбно сомкнутым ртом еще могла давать «старорежимные» обеды. В 1921 году в поголовно голодавшей Москве это было почти немыслимо. Гости из уважения к такому безвременному успеху домоводства вели себя подчеркнуто чинно (совсем не в духе последнего царствования), отмечая строжайшим этикетом Христово Воскресение. И вдруг я совершил поступок попросту неприличный. Ни слова не говоря, я встаю из-за стола и направляюсь в коридор почему-то еще не уплотненного дома, где висел телефон, также еще не снятый благодаря щедрым переговорам главы семейства со «спецами» Московской городской телефонной станции. Я поднял трубку и назвал барышне номер нашего телефона.

— Я слушаю,— уже раздался голос одной из моих тетушек.— Как? Monsieur Nicolas? Что случилось? Но прости, я должна открыть дверь — звонят.

И слава богу! Я никак не мог объяснить ей мое телефонное вторжение.

— Ты слышишь? Это пришел Борис Осипович, то есть Леонидович. (Он еще никогда у меня не бывал.) — И в сторону: — Простите, ради бога! Борис Леонидович тебе хочет что-то сказать. Я передаю трубку.

— Коля? Как счастливо! А я шел на Водопьяный к Маяковским и подумал, вам будет интересно там побывать. Приходите! Не можете? На пасхальном обеде? Ну делайте как знаете! — Его еще недавно обрадованный голос теперь звучит капризно: он явно обиделся.— Ну, Христос воскресе! — Это звучало почти как угроза. И — с напускным равнодушием:— Если завтра будете валандаться по городу, заходите. Я все расскажу.— И — опять не без угрозы: — Значит, до завтра!

Разговор на этом оборвался. О тетушке и ее насмешливом «monsieur Nicolas» я, признаться, просто позабыл. Так как трубку повесил Борис Леонидович, моя доля невежливости не была столь уж львиной.

На то, что я позвонил точно в момент его прихода, он не обратил никакого внимания. Хотя почти через десять лет без моей помощи об этом вспомнил. Придя к нему на другой день (для того только и «проваландался»), я тоже не коснулся этого обстоятельства. Конечно, я знал о «передачах мыслей на расстояние». Но ведь не так это часто бывает... Я промолчал из юношеской мнительности: он вчера был на Водопьяном, а в кругу Бриков — Маяковского упо-

минания о подобных «странностях» — «Как странно, Адалина Иванна!» — назывались «разговорами для дворницкой» (с монахами на побывке и с отцом Иоанном Кронштадтским под образами). Автором этого «домашнего термина» была сама Лиля Юрьевна.

Кстати, об обидчивости и даже злопамятстве Бориса Леонидовича. Все это было очень добродушно — при суровости приговора, однако. Он как-то «локализовал» свои обиды: никогда, в частности, не повторял предложения, однажды натолкнувшегося на отказ. Даже вескость причин отказа его не смягчала. Ни разу с тех пор он меня уже не звал на Водопьяный, впрочем, и сам бывал там редко. Ни с ним, ни без него я в кругу Бриков — Маяковского так и не побывал.

Моя первая встреча с Борисом Пастернаком состоялась в месте, для него необычном,— в «Кафе поэтов», помещавшемся на Тверской (ныне улица Горького), ближе к Охотному ряду Никогда на моей памяти он там уже не бывал, да и я перестал бывать ему в угоду (он опасался без всякого на то основания, что я там научусь нюхать кокаин). Пастернак должен был прочесть в этом кафе нечто вроде доклада о поэзии. Он тогда еще не был широко популярен, доклады же не привлекали ни окололитературной публики, ни тем менее «братьев по Аполлону»: последние только «творили», и большинство из них прескверно.

«Большой зал», где происходили выступления, был, собственно, очень невелик Столики там стояли только вдоль одной стены, все остальное пространство было заставлено стульями — для «аудитории». На стенах висели или просто были намалеваны инфантильные образцы абстрактной живописи (некоторые из них «принадлежали кисти» Давида Бурлюка), а в углу очевидно кому-то в назидание, были выставлены пропыленные черные штаны футуриста Василия Каменского. За аркой, по левой стене зала, имелся еще другой, бесспорно «малый» зал, с буфетом, уже сплошь уставленный столиками, где можно было выпить стакан чая с повидлом и пирожным на сахарине Здесь же обладатели «многомиллионных состояний» (в обесцененных керенках и совзнаках) могли даже сытно пообедать.

В ожидании «наплыва публики», так и не подошедшей, докладчик и председатель вечера, поэт, а позднее беллетрист С. Ф. Буданцев пили чай. К ним вскоре подсел «знаменитость», убийца посла Вильгельма II графа Мирбаха левый эсер Блюмкин, бородатый брюнет плотного телосложения, страшно гордившийся до конца своей (вскоре сокращенной) жизни этим богатым последствиями историческим выстрелом.

Докладчик то и дело говорил, что уйдет непременно и никакого доклада не будет. Так бы он, наверное, и поступил, как вдруг за соседним столиком разыгралась забавная сцена, повлиявшая на весь дальнейший ход событий.

За столиком сидели один бывший помещик Нижегородской губернии из нобилизированных купцов И. С. Рукавишников, он же автор книги триолетов (чем-то даже талантливой), с лицом, телом и бородкой Дон Кихота, а насупротив его — замухрышка крестьянин. Они ели горячий борщ и пили коньяк и горькую, перелитые в графины — из соображений гуманности, чтобы не дожонать голодных и поневоле трезвых посетителей поэтического кафе. Подошла барышня, как тогда еще называли официанток, и тут помещик начал куролесить.

— Откуда у меня деньги? Нет денег! Денег нет! Пусть о н теперь платит! У него они е с т ь.— Он произнес все это зловеще-мертвенным голосом.— Не я ел, не я плачу! — Перед ним и правда стояла поджарка, не снятая с чугунного треножника.

Крестьянин вскочил со стула в жадном ужасе.

— Помилуйте! Иван Сергеич! Господи! Это Пантюхины все затеяли и Генералов! Ну Воронины тоже со снохой. Они и подожгли. А мне шиш! Да! Накось выкусь! Иван Сергеич! Батюшка! Да разве я...

— Не я ел, не я плачу.

— Но борщ-то ели? Так? И пили вместе? Иван Сергеич! Батюшка! Откуда же у меня деньги? Иван Сергеич!

Пастернак быстро встал из-за столика и с хмурым лицом пошел к двери

в левом углу комнаты, где помещалась контора и сидел директор и учредитель кафе, миловидный белокурый еврей, тоже писавший стихи.

Прошло минут десять. Иван Сергеевич твердо держался аргумента «не я ел» и так далее. Но вот распахнулась конторская дверь, и Борис Леонидович, уже с сияющим лицом, быстро нагнулся к Буданцеву:

— Все в порядке, Сережа! Еврейский Зигфрид заплатил за доклад и еще дал под честное слово. Я ему все объяснил. С ним говорить можно.

Потом он подошел к помещику-декаденту.

— Иван Сергеевич, я могу вам одолжить.

— Не надо.

— Как не надо?

— У меня деньги есть. Луначарский велел выдать под идею революционного цирка. Я хотел его проучить. Он — мешочник. Утром продал мне пшена. И торчит с утра. Надоел!

— Верно, Иван Сергеич! Учить надыть! — кричал во всю глотку крестьянин.— Верно! Надыть!

Иван Сергеевич уже расплачивался с барышней. Потом столкнул сковородку с треножника и брезгливо крикнул собутыльнику:

— На! Ешь!

— Да, учить надо и учиться надо,— внятным дружеским шепотом и как трезвому говорил Борис Леонидович жующему мужичку.— Нечего теперь грабить ограбленных! Раньше они, может, и грабили, а теперь и сами ничего не имеют. Живите без них, и получше!

Рукавишников давно дремал, зажав бородку сложенными в слабый кулачок красивыми неопрятными пальцами.

— Ну что ж, Сережа! Пойдемте читать доклад этим нескольким чудакам. Теперь уж нечего рассуждать... Нет, Ганс Сакс молодец! Демьяну [3] понравились мои переводы. Там — об этом. Он ведь был горожанином. Ну, ну! Пойдемте!

Все в том же веселом возбуждении Борис Леонидович сел вместе с Буданцевым за сдвинутый черный ломберный столик с резными ножками. Буданцев поддерживал его веселье, никакого Galgenhumor (веселья висельника) не замечая.

«Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре,— читал Борис Леонидович из клетчатой школьной тетрадки, густо покрытой его нарядным почерком,— я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободомыслящий любитель. Когда разговор заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, превозмогая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творчестве и тому подобном. По собственной же воле, без принуждения я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду... Книга есть кубический кусок горящей, дымящейся совести — и больше ничего... Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть...» И — еще: «...вообразили, что искусство — как фонтан, тогда как оно — губка... решили, что искусство должно б и т ь, тогда как оно должно всасывать... сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия».

Это были разрозненные афоризмы, но сквозная мысль развивалась, вернее, наполнялась эмоциями, «всасывала» их. Был там и отрывок о Марии Стюарт, но не Шиллера, а Суинберна. В нем приводились французские стихи этой гордой племянницы Гизов, сочиненные «у окна, за которым улюлюкали пуритане»:

Car mon pis et mon mieux
Sont les plus deserts lieux[4].

---

[3] Демьян Бедный.

[4] Лучшее во мне и худшее —
суть две пустыни. *(Франц.).*

Мне их напомнила моя сестра Ирина Николаевна (жена архитектора Александра Леонидовича Пастернака) в день кончины поэта, и я понял, с какою целью...

И уже в самом конце «доклада» или «нескольких положений», как он был озаглавлен: «Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю голого поля в черный голодный год». И — без паузы, опять веселым голосом:

— Ну вот и все, Сережа!

Жидкие аплодисменты...

— Кто хочет высказаться? Вы, доктор?

На эстраду полез, дважды с нее сорвавшись, гулявший в Москве начальник военно-санитарного поезда, расслабленный, пьяный старичок (каким он мне по младости лет тогда показался) в синем френче и с пунцово-рыжим седлом на поседевших усах. Было ему, надо думать, от силы лет эдак пятьдесят.

— Теперь писать стихов не умеют! Это не стихи!

— Но здесь никто не читал стихов,— осадил его, улыбаясь татарскими глазами, председатель.

— Не читали? Все равно!..

— Ну что вы, Сережа!.. Вы пишете стихи? Так прочитайте!

— Да! Я прочту! — Он вынул из кармана засаленную бумажку.

Люблю я всех поэтов мира,
В особенности же Шекспира!—

выкрикнул начальник военно-санитарного поезда.

Общий хохот немногочисленной аудитории. Громче всех смеялся сам докладчик, перебивая свой хохот уверениями:

— Нет, о ч е н ь хорошо! Читайте! Мы оба провалились. Но-о-о!..

Старичок, окончательно одряхлевший, уже обиженно сходил по ступенькам с эстрады. На этом прения кончились.

Тут я отважился подойти к Пастернаку.

— Мне очень понравился ваш доклад, Борис Леонидович.

— Да? — он обдал меня холодом.— Что же и м е н н о вам понравилось? «Мельницы в черный голодный год»?

Это место мне очень понравилось, но я понял: подтвердить его вопрос, произнесенный таким обидно-скучливым голосом, значило бы провалиться на первом же экзамене.

— Да, и это,— ответил я.— Но я прежде всего думал о том, что вы сказали о «книге», о «куске горящей совести». Это совсем не пахло ковкой меча Зигфрида, вообще, это совсем не о новом эпосе, о котором мечтали символисты. «Книга» здесь звучала почти как «Библия». И огонь — не из кузницы Миме [5], а скорее неопалимая купина.

Трезво говоря, ничего особенного в том, что я тогда сказал, не было. То, что я отметил именно рассуждение о книге, объяснялось тем, что автор сильно выделил чтением это место — так, значит, оно ему дорого Оставалось объяснить, чем именно оно понравилось мне. Я начал аргументировать, хватаясь за подходящие слова. Книга и Библия — синонимы, из которых второй, конечно же, превосходная степень от первого, так же как Библия — больше, чем обычный эпос после девятнадцати с лишним веков христианской культуры. Имя Зигфрид было произнесено самим Пастернаком («еврейский Зигфрид» — о директоре кафе); отсюда — сопоставление двух огней: Миме и «неопалимой купины» (по примеру книги и Библии). Мне даже кажется теперь, что хорошая кибернетическая машина никак по-другому не могла бы распорядиться такими вводными данными.

Но я произнес все это молодым взволнованным голосом, а Борис Леонидович после вынужденного чтения был тоже взволнован, да и вообще предрасположен к волнению, и ему явно померещилось что-то совсем другое, связанное с ходом е г о заветных чувств и мыслей. Это, последнее, я понял уже тогда.

Он слушал меня почти с детским вниманием и вдруг весь просиял. Мне

---

[5] Персонаж «Песни о Нибелунгах», карлик, который хотел завладеть мечом Зигфрида. *(Прим. ред.)*

даже показалось, что на его глаза набежали слезы. Конечно, так оно и было, я просто этого еще не знал за ним.

— Неужели же вы все это поняли? Правда? Как это хорошо! А кто вы такой?

Я назвал себя и прибавил:

— Я Коля, брат Ины, с которой дружит ваш брат.

— Шура? А я и не знал. Ну что ж, стоило прочесть доклад. Оказывается, меня слушали не только пьяные медики. Спасибо Ивану Сергеевичу! Вы ведь присутствовали при этой сцене? Я вас заметил. Но простите, Коля (он назвал меня так впервые), я обязательно должен отужинать с Буданцевым, а на троих не хватит ресурсов. От Сережи уже не отделаться. Да и не надо! Но приходите! Завтра! Непременно! Слышите?

Конечно, я так и сделал. Час встречи не был обусловлен, и я пришел под вечер, без предварительного звонка по телефону. Купола храма Христа Спасителя и розовой церковки, чуть левее, уже заливало малиновыми лучами. Под хрупким небесным куполом, высоко над церковными куполами, проносились стрижи с пронзительно тонким свистом. Впервые я переступал порог квартиры на Волхонке, где вблизи от Серовых, что жили на Знаменском в доме Долгоруковых, давно поселилась семья художника Пастернака. По случаю революции Борис Леонидович вернулся в отчий дом, но родители и сестры должны были на днях уехать за границу. Дверь открыла Лидия Леонидовна — Лида, в которой еще очень много было от подростка.

Борис Леонидович мне обрадовался. Но тут же начал меня расспрашивать, «литературно знакомиться» со мной:

— Меня вы читали?

Нет, я не читал его.

— Да и что читать? Лучше и не надо! Еще во время войны я выпустил книгу «Поверх барьеров» (Я знал, что и до того он напечатал книгу «Близнец в тучах», но я ни одной из них и в руках не держал.) Но Сережка Бобров[6] издал ее как нельзя хуже. (Позднее я заметил, что он зовет Сережками, Сашками и т. д. тех, на кого сердится; не сомневаюсь, что и я заочно побывал в Кольках.) Полным-полно опечаток — ничего понять нельзя! Кого-то, наверное, эпатировал, дурак. То есть Бобров совсем не дурак. Вы мне не верьте! То есть тому, что он дурак, не верьте, а не тому, что не дурак. Но не будем впадать в толстовщину, в его «игру в уточнения». Просто. Боб-ров не ду-рак. Не кончил ни лицея цесаревича Николая, ни Школы живописи (ему отец преподавал) и вдруг залег с головой под одеяло — в квартире мороз! — туда же, под одеяло, уволок и электричество и в два счета вызубрил логарифмы и чуть не всю высшую математику. Теперь работает ученым статистиком и продолжает кропать стихи.

— Кропать?

— Да, кропать. Но, может, будет и п и с а т ь. Умом возьмет, да есть и способности... А кого вы любите из современников?

— Гумилева и Мандельштама. И, конечно, Блока.

— Гумилева и Мандельштама? — Третье имя он оставил без внимания, как для всех тогда обязательное.— Но ведь даже Кузмин лучше пишет.

И тут я (будущий «чистой души Фаунтлерой») предал недавних моих кумиров. Неужели только из тщеславного желания ему понравиться? Едва ли т о л ь к о. Меня уже взяла в оборот и покорила пока говорившая прозой мне неведомая еще поэзия, но я в нее уже уверовал. Я сказал:

— По крайней мере они умеют делать стихи.

— Да, да, да, да! Конечно! Умеют. Но-о!.. Они запрягают в пролетку игрушечных лошадок. Знают про сбрую, про дугу и подпругу. Мандельштам? Он, поди, тоже знает про подпругу и чтобы седло не сползало.— Борис Леонидович рассмеялся добродушно, но немного как людоед — Подождите! Он же служил в лейб-гвардии, рядовым, конечно. Его Гумилев определил через влиятельных

---

[6] Б о б р о в Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, переводчик, прозаик. Одним из первых применил математические методы при изучении стиха. *(Прим. ред.)*

особ женского пола. Но т о т — офицер и гвардеец «со связями». Любил «высший свет», хоть от него и следа не осталось, и продолжает любить, наверное, как Оскар Уайльд [7]. Я жил в Петербурге и немного их знаю.

— Боря! К тебе пришел Тодик Левит.— Это голос Лиды.

— Я выйду! — и заговорщическим шепотом — Ну, его я пошлю ко всем чертям! Вот увидите.

И — за дверью:

— Простите, но я очень занят. Здравствуйте! «Гамлета» принесли? Оставьте, я прочитаю. Но сейчас не могу. Никак! Простите! Позвоните по телефону дня через два.

— Вот принес перевод «Гамлета»— первое действие. Молодец Левит! А может быть, и так, чепуха.. Посмотрим.

— Но больше всего я люблю Гёте. Вы ведь меня только о современниках спрашивали...— вернулся я к прерванному разговору.

— Вот с этого бы и начать! — подхватил он радостно и как бы насчет меня успокоившись.— Гёте... Да, вот это свобода! Как прелюды Шопена. То есть совсем непохоже! Вы ведь не только «Zueignung» любите и «Römische Elegien»? Это тоже прекрасно. Но по части свободы у него есть и похлестче. Вы любите «Lilys Park»?

Я не очень любил это стихотворение, да и теперь его не отношу к лучшим созданиям Гёте. Но мне не пришлось покривить душой.

Он продолжал, не выждав ответа:

— Вот где свобода! И ощутить себя медведем в ее субтильном зверинце! Ах, ах! Это — почти Маяковский Но без наших причуд, прямее, с точными адресами, свободнее! С в о б о д е надо учиться! Я учусь. Завоевать свободу — это трудно, и не только для политиков, для рабочих и слушательниц Высших курсов. Но не думайте, что совсем лишены свободы и мои несчастные «Поверх барьеров». Сережка, наверное, не публику эпатировал, а меня. Что вы думаете? Очень возможно! Он — с достоевщинкой. Не надо сразу думать о Смердякове! Есть в этой книге: «Нет сил никаких у вечерних стрижей»— это почти свободно. И еще: «После дождя». Там в последней строфе...— Он раздумчиво запнулся, и я почему-то вспомнил Моцартово (из болдинской «маленькой трагедии»): «Там есть один мотив...»— Это в самом конце: «Вот луч...» Вы ведь помните, Коля, стихи называются «После дождя»:

Вот луч, покатясь к паутине, залег
В крапиву, но, кажется, это не надолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

Он замолчал. Опять глаза его увлажнились. Никогда после он уже себя не цитировал: считал это нескромным. Но я ведь отважился к нему прийти, не прочитав его книг. Он просто выводил меня из неловкого положения.

— Да! Надо у ч и т ь с я свободе.

— Почитали бы стихи, Борис Леонидович.

— Это — в другой раз.

Он покосился на белую двустворчатую дверь в смежную комнату пугливо и гордо. И не ошибся. Двери распахнулись, и под руку, как на двойном портрете, вошли родители: красивый седой старик и женщина с округлым добрым лицом, оба тщательно одетые. На отце, под бородкой клинышком, пышно повязанный бант. Мы оба встали, но Борис Леонидович родителей со мною не познакомил. Леонид Осипович взглянул на меня острым, пристальным и, как мне показалось, неприязненным взглядом и скользнул им, не меняя выражения иссиня-стальных глаз, и по сыну. Слегка кивнув (жена художника при этом широко улыбнулась), они прошли в переднюю, и вскоре коротко грохнула входная дверь.

Меня поразило, что родители не постучав и без крайней надобности прошли через комнату взрослого сына. Я за него оскорбился и потому счел возможным сказать:

— Вы меня не представили, Борис Леонидович, и Леонид Осипович на меня взглянул, словно хотел сказать: «По Сеньке и шапка!»

[7] Гумилев был тогда еще жив. Вообще здесь имелись в виду не реальные факты биографий поэтов, а литературные отношения.

Борис Леонидович, до того несколько смущенный, бурно расхохотался:

— Вот именно! Вы шапка, а я Сенька! Вы это нечаянно сказали, но так и надо! Для папы это так: «Поди на губах еще молоко не обсохло, а тоже поучает молодые дарования!» Однако вы наблюдательны, и это опасно, если пишешь стихи. Поэзия должна быть проста и воздушна, как Верлен или как «Позарастали стежки-дорожки, там, где гуляли милого ножки». (Последнюю строку он пропел.) Да, в жизни все опасно! Нет, нет! Я тоже люблю наблюдать. Но это скорее для прозы. Один университетский товарищ, умный, он знал хорошо досократиков и наизусть помнил из Алкея и Сафо и из трагических хоров, не так уж много... Погодите! Он мне прямо сказал, что я сильнее в прозе. Все может быть. Но, кажется, я и лирик. Здесь надо... Как в яйце! Чтобы белок и желток не сболтались. Белок — это, конечно, поэзия, белая магия! А желток — проза. Там без желчи нельзя.

— Это — как у Бунина,— сказал я, с неприязнью к себе замечая, что и думаю и говорю, как он: ведь он это заметит! Какой позор! — Там уже в середине стихотворения, оно называется «В поезде» (опять, как он!):

Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами...
...От паровоза белый дым,
Как хлопья ваты, расползаясь,
Плывет, цепляется по ним,
К земле беспомощно склоняясь...

Это, собственно, заготовки для прозы, для ее более точных, более проясненных метафор.

Но он ничего не заметил вопреки моим опасениям.

— Неужели вы и это все уже знаете? Вундеркинд Тодик Левит рядом с вами щенок.

Ничего я этого толком не знал. Я просто подыскал подходящую цитату к его сильной, талантливой мысли и чуть-чуть «порефлектировал». Но он, видимо, даже и не подозревал о таком более внешнем, «наживном» способе мышления — по гениальной своей наивности, конечно.

— Но ведь это еще опаснее, Коля,— продолжал он очень серьезно.— Чего доброго, критиком заделаетесь. И придется вам со мной повозиться.

О если бы он был прав и такая приемлющая его критика была потом возможна! Но тогда ни я, ни он, конечно, еще и не догадывались, как все позднее обернется...

Мне вдруг захотелось домой, чтобы успокоиться.

— Чего вы торопитесь? Неужели на свидание? В один день заключить новую дружбу и пойти на свидание — на это меня и в ваши годы не хватало. Так не на свидание, а маме обещали? (Ничего я маме, конечно, не обещал, да и вообще преступно мало с нею считался.) Ну что ж, идите! Но заметьте, это было начало дружбы, и с моей стороны она не будет нарушена, даже если вам не понравятся мои стихи. Я не Heine... Вы меня очень заинтересовали. Позвольте я вас поцелую.

Так была скреплена наша дружба.

...Doch wenn du meine Verse nicht lobst,
So laß ich mich von dir scheiden[8].

Это была моя первая большая дружба да и последняя, конечно, такого масштаба. В эту ночь я почти не спал. Стоило закрыть глаза, и я видел его и слышал его голос. Как при влюбленности. Но это была дружба. Я целиком повторял про себя все, что было им сказано,— оно обладало, как мне казалось, цельностью поэтического произведения — и запомнил почти все, с малыми разве упущениями, как запоминаешь на слух стихи (Блока, например). Я ошибался: поэтической цельностью обладал он сам. Я и потом запоминал его разговоры почти целиком, и на всю жизнь. Что эти страстные запоминания на время сде-

[8] Но если ты не похвалишь моих стихов,
я с тобой разведусь. *Гейне.*

лали меня лодырем, ни на что иное не способным,— уже другое дело. Впрочем, это одно только и спасло меня от безбожного плагиаторства.

Но что за человек! И какой поэт! Четыре строчки его я теперь уже знал, и что за строчки! А какая скромность! Он — не Гейне .. А эта почти восточная щедрость в кафе! Ведь он был нищий, как мы все, если только не выдвигали «идею революционного цирка» и не мешочничали.

Но что это было с «книгой», с «кубическим куском горящей совести»? Здесь — тайна, это-то я понял! Но к а к а я тайна? Нет, этого я еще не понимал. (Теперь, по окончании его жизненного пути, я могу сказать с уверенностью, что он тогда и сам еще не знал истинного смысла этой тайны.) И еще я понял, что не смею о ней расспрашивать. То было бы страшной нескромностью и глупостью сверх того.

Каждый раз, когда мне казалось, что он намекает на свою «тайну», я напрягал всю мою догадливость. Но случалось это крайне редко. Всего два раза на моей памяти.

Первый раз — зимою того же года Я провожал его домой, и мы расстались перед дверью его дома Опять играли в лучах купола храма и церквушки. Но их отсвет был зловеще-багров среди избыточной роскоши инея, как багрово было и круглое солнце за молочной пеленой зимнего неба. Мы поцеловались замерзшими губами На нас смотрели мальчишки И только он скрылся за дверьми, один из них меня спросил: «Дяденька, это вы с Пастернаком гуляли?» Когда я вечером позвонил Борису Леонидовичу — мы перезванивались тогда ежедневно,— я между прочим сказал:

— А вас уже и московские огольцы знают! — И сообщил о случившемся.

— Как вы ошибаетесь, Коля! Еще бы они меня не знали, мальчишки с нашего двора! Но я еще не написал такой книги, которая касалась бы всех.

«Это он о той книге говорит! О кубическом куске горящей, дымящейся совести!»— с испугом подумал я. И, конечно, промолчал.

И второй раз, уже много лет спустя. Он читал мне по рукописи свою (так и не оконченную) «Повесть». Она была напечатана Вяч. Полонским в «Новом мире» и потом в книге «Воздушные пути», вышла и отдельным изданием. Уже одно то, что вещь не имела заглавия, меня насторожило. Повесть как таковая, иначе: к н и г а.

Он дошел уже до места о проститутке Сашке: «Наконец, всех позднее и в страшных попыхах,— точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль,— задом, задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подняли, улица разбегается прямой стрелою, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты И тут на середину мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным мешком бросается паровозный дым, тот самый может статься, ливер, которым питается окрестная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он средь чайных и колониальных товаров, с продажею сигар, и табаку, и кровельного железа, и городовых, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины» На мостовой пахнет овсом, и она, до головной просто-таки боли, припечатана солнцем по конской моче И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки и нос и разум, перед тем как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все И вот видно, правда: дурой жила, дурой и помирать Ей и на тротуар нельзя отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно! Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой Вот городовой при книжке холщовой, с тесемкою, там и она, в ней и читай Ну и (мгновенный нажим похабной собачки) — та-гра-тра, та-та-та — конец один И городовые смотрят ласковей»

Тут я не выдержал:

— Это вы про ту книжку, про «кубический кусок горящей совести»?

Он — вынужденно и скороговоркой:

— Да, да, да! Верно. Погодите!— И продолжил чтение.

Чего было спрашивать? «Детство женщины»— ведь это «Детство Люверс», там «и фамилия нерусская». Но книга была не та, не т а к а я, «которая каса-

лась бы всех», и осталась недописанной, как и все его прозаические наброски,— по этой же причине. А ведь рукопись «Люверс» была вчетверо толще той ее части, которая вскоре стала известна (еще в 1932 году я ее видел). Все его прозаические замыслы одушевлены единой мыслью. Это рассказ о том, как наш народ широким фронтом начал нашествие в грядущий день истории. Автора осаждала горячая забота: спаслась ли уже Россия, совершив Октябрьский переворот? По его убеждениям, экономического переустройства слишком мало, чтобы внести должное б л а г о о б р а з и е (толстовский термин!) в людскую жизнь; здесь-то именно и требуются — больше чем где-либо! — личные нравственные усилия каждого в одиночку и всех вместе, «как того гребовало, но безуспешно, христианство» Это — и м когда-то высказанная мысль, но я не помню ее в дословности. В ушах звучит только кусочек монолога: «...Но непременно ч е р е з с е б я, а не так себе, по указке»

Да, его ранние «рисунки прозой» (я не говорю о самой ранней прозе — «Аппелесовой черте», ребяческом рассказе, опередившем, однако, по времени и по таланту писания французских сюрреалистов и немецких экспрессионистов)... Эти ранние «рисунки прозой» — как картоны Леонардо да Винчи Их надо когда-нибудь выставить все, если только они сохранились (он их часто терял и предавал сожжению — сознательно и оплошно).

Скорблю что я не успел ему сказать все это при жизни, когда по старым картонам, вернее, отбросив все картоны в сторону, он написал-таки свою книгу. Т у к н и г у.

Я не боюсь, что меня приравняют к тому простодушному священнику, который, хотя и знал, что Спаситель — сын еврейки и рожден еврейским богом, все же твердо верил, что Христос — наш, русский Христос.

А слава — почвенная тяга,
О если б я прямей возник!
Но пусть и так,— не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Суд потомства уже начался — «громкий до звезд, как второе пришествие». И первым свидетелем выступил на этом суде профессор В. Ф Асмус со своей замечательной по гражданскому мужеству, правдивости и уму надгробной речью Его поддержали многочисленные русские девушки и юноши, читавшие чуть ли не дотемна стихи Бориса Пастернака на переделкинском кладбище Это не было демонстрацией, тем более политической Первым было прочитано стихотворение «Гамлет» и вслед за ним:

О знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Нет, это не было демонстрацией! То была любовь и признание вины, чужой и своей, перед усопшим В могиле он не был одинок.

Мои «Воспоминания и мысли» принадлежат не мне Не о н е м (или только в пояснениях о нем) моя книга Это в известном смысле — е г о посмертное произведение. Спасибо моей памяти — единственному б е с с п о р н о м у дару, который мне в колыбель положила добрая фея.

И еще. Я помню слова Толстого: «Смерти нет, а есть любовь, память любящих». Это было сказано Львом Николаевичем после смерти Ванечки, любимого сына...

Глава вторая

Первые две встречи с Борисом Пастернаком — в «Кафе поэтов» и затем на Волхонке — почти совпали с моим возвращением в Москву после недолговременной службы в Красной Армии.

Далеко позади остались: и сборный пункт где-то на Ильинке, в Старопанском переулке, с голосящими бабами на тротуарах, и многодневная езда до места назначения (топлива не было, и мы рубили лес вдоль полотна железной дороги), и переправа с вокзала по взмокшему льду на левый берег Волги, где белела и отливала тусклым золотом Кострома, убегая распахнутым веером улиц в сырую даль от полукруглой Еленинской (отныне Ленинской) прибрежной площади с поверженным памятником Сусанину — лицом в талый снег — возле постамента; а потом голодная жизнь в казармах близ Ипатьевского монастыря, где за час до отбоя мы ежевечерне стучали деревянными молотками по швам нательных рубах и гимнастерок (это называлось санобработкой), и ярые речи агитаторов, и культурно-просветительные беседы, на которых явно беспартийный молодой педагог почему-то знакомил новобранцев с «Домом Телье» и «Пышкой» Мопассана, и спешное сколачивание маршевых батальонов, в один из которых был зачислен и я, мимолетная дружба со вновь назначенным ротным командиром Петей Лацисом, латышом по отцу и русским по матери, белокурым красавцем великаном безо всякого, впрочем, военного образования. Он и сам прибыл из Москвы в куцей гимназической шинели и еще недавно был правофланговым нашего взвода.

О нем стоит вспомнить поподробнее, так как он едва ли не один из немногих моих новых товарищей был начисто лишен той стихийной безликости, которой было отмечено большинство новобранцев, равно как и штатный комсостав 7-го запасного,— все эти сквернословящие взводные, и старшины, и брезгливо устранявшиеся от службы бывшие прапоры и поручики, казалось, озабоченные единственно тем, чтобы как-нибудь возместить утрату золотых погон ношением стеков и пропахших бензином белых лайковых перчаток.

Сын родителей-большевиков, потерявший отца на колчаковском фронте, Лацис был живым воплощением «организующей партийности». Его отличала мужественная трезвость суждений, он ясно видел всю «морально-политическую неустойчивость» доверенных ему людей, но это его не смущало — так твердо верил он в их кровную причастность к борьбе народа за лучшее будущее. Поначалу он меньше всего хотел выделиться, резко противопоставить себя «настроениям масс». И когда в страстную субботу было объявлено, что все желающие могут пойти к заутрене, и все, что находилось в казарме, ринулось к собору, он пошел вместе с нами и терпеливо выстоял службу, ни разу, правда, не перекрестившись.

И вот когда под веселое пение «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!», под трезвон еще не снятых костромских колоколов и вновь и вновь повторяемые велигласно-умильные возгласы епископа в золотой митре и настоятеля собора в серебряной с золотыми крестами ризе «Христос воскресе! Христос воскресе!» и под частые его и других иереев благословения народа тройными, разноцветно убранными свечами началось всеобщее христосование, Пете Лацису не помешал его партийный билет в кармане никем еще не ношенного трофейного английского френча отвечать поцелуями на поцелуи назойливо испытующих его подчиненных и откликаться смущенным «воистину» на их «воскресе». При этом с его доброго, мужественного лица не сходила ироническая улыбка, которой он, надо думать, хотел заразить своих подопечных. Но не такие это были ребята, чтобы разгадать тонкий его замысел: «закавычить» стародавний православный обычай.

Мне было искренне жаль его, и потому, вплотную к нему придвинувшись, я сказал полушепотом: «С вами я не христосуюсь, а просто целуюсь»,— в ответ на что он благодарно обменялся со мной не положенным трехкратным, а двукратным поцелуем. «Спасибо вам»,— произнес он сорвавшимся голосом и улыбнулся неожиданно мягко.

...Мы вышли из храма под ликующий благовест больших, полновесных и малых, звонкоголосых колоколов всех костромских церквей. По Волге плыли, изредка лязгаясь друг о друга, запоздалые одинокие льдины с верховья великой реки.

Красноармейцы (быть может, отчасти под влиянием недавно заслушанного «Дома Телье») решили «разойтись по хозяйкам», мы же с Лацисом целомудренно зашагали к казарме, где вступили в долгую беседу.

Лацис подробно и с большой теплотой рассказал мне о своем недавнем детстве, о гибели отца, в прошлом фабричного мастера, о своей матери, бывшей городской учительнице из интеллигентной русской семьи (теперь она служила в Наркомпросе) и о 4-й классической гимназии на Покровке, где он учился.

— Попечитель городского училища, — сказал он между прочим, — даже хотел уволить маму за ее причастность к революционному движению, о чем, понятно, пронюхали подлецы, хоть она и не высказывалась гласно. Но за нее каждый раз заступалась перед городской управой другая учительница. Даром, что княжна Шаховская...

— Мария Александровна?

— Кажется, так. Добрейшая, впрочем, чудачка.

— Тетка композитора Скрябина?

Но об этом он ничего не знал...

В заключение Лацис очень по-мужски и по-мальчишечьи предложил мне командовать вторым взводом своей роты, так как «взводный там очень слаб». Я изъявил согласие. Но из моего столь неожиданного «повышения по службе» ничего не вышло. Плеврит и внезапная вспышка туберкулеза, как косарем, отсекли этот краткий (первый, но не последний) военный эпизод моей биографии. Я снова жил в Москве и пил молоко «по рецептам».

С Лацисом мне и при желании не удалось бы повстречаться: по примеру отца и он «отдал душу свою за други своя» чуть ли не в первом бою с белополяками. Пока я жив, память об этом удивительно чистой души юноше не померкнет.

Я позволил себе вдаться в такие подробности лишь потому, что куда более подробно обо всем этом рассказывал Борису Леонидовичу во время одной из ближайших наших встреч.

— Как это все интересно, Коля! Ведь мы, горожане-интеллигенты, засев в своих берлогах, многим больше теперь оторваны от народа, чем то было до революции. То есть если, конечно, заниматься народом и революцией всерьез и вплотную: попросту быть партийцем. Но уж тогда не в Наркомпросе, куда все набежали со своими обносками, с Фребелем и с «Психологией» Челпанова. А так — не только на уральский завод, да навряд ли он сохранился, и на дачу-то, в деревню не поедешь. А вы все это видели своими глазами. Вам можно позавидовать! Скверно только, что вы заболели, но, даст бог, скоро поправитесь... Как хорошо вы мне все это рассказали — и про город, и про «стихийную безликость», и про дурачков-офицеров, и... — у него дрогнул голос, — про партийца Петю. Он — прелесть! Мы же здесь только варимся в соку собственной горечи... А кто вам сказал, что он погиб?

— В Москву приехал один бывший однополчанин, студент-медик. Его направили в Петроград, в военно-медицинскую академию, где он раньше учился. Он-то и побывал у меня проездом...

— Как его жаль! Вы не смейтесь, что я вместо вас по нем роняю слезы. (Я и не думал смеяться.) Вот сели бы и написали о нем рассказ.

— Ну что вы, Борис Леонидович! Для рассказа этого слишком мало.

— Что значит «слишком мало»? Для «Пинкертона», конечно, слишком мало, но я ведь — не о «Пинкертоне». (№ Я никогда не читал «Пинкертона», как, надо думать, и Борис Леонидович.) И потом в обыкновении каждого зерна давать росток. Глядишь, и рожь заколосится. Я вам больше скажу: удивительнее то, что, и лежа у себя на печи — на буржуйке, правда, не разляжешься! — я все так примерно себе и представлял. Надо только немного — а лучше много! — знать жизнь и секрет ее верстака. Попав под перо — тех, кто любит ее верстак, конечно, и желает ей успеха, — жизнь доскажет все то, на что не дала нам взглянуть.

В мастерской искусства все нити — ариаднины нити: они не только уводят, но и п р и в о д я т, и обязательно к самой сути. Вот одна даже до Скрябина довела...

Реализм — это не направление,— продолжал он,— а сама природа искусства, сторожевой пес, который не дает уклониться от следа, проложенного ариадниной нитью. Вот только найти такой клубок! И если мы, пишущие, все больше отмалчиваемся, не говорим о том, что у нас творится под носом, так это от робости, глубоко нехудожественной, оттого, что все мы еще в обалдении от новизны происшедшего, а может, и с голодухи. Революция! Бог ты мой! Прямая дорога или в крутых поворотах, а жизнь-то все та же. Да и не так мы избалованы прямизной. Был и пятый год и война. История — она как изоляция на проводе: электричеству она не помеха. Ваш Петя с его улыбкой — я опять разревусь! — разве это не жизнь, самая настоящая, молодая жизнь, обычная и неслыханно необычная, какой всегда была? И что конец ему пришел, тоже жизнь. Ведь и Петя Ростов погиб. А н о в о здесь только то, что для его большевика-отца революция была идеалом и целью, а для него — жизнью и обстановкой. Вот он и разбирается в ней и порой попадает впросак и в дураки — тоже как всегда. Правда, теперь он-то уж ни в чем не разбирается: он погиб... И он не граф и не Ростов, а просто Петя и русский только наполовину. И он быстрее взбежал по лестнице чувств и решимости, чем взбежал бы до революции — тем более если б не был партийцем, как его отец. А вы говорите: «слишком мало». И ведь так хорошо рассказали...

Я промолчал. Неужели он не догадался (или все-таки догадался?), что потому-то я обо всем и рассказал так подробно, что по малодушию, не полагаясь на собственные силы, хотел ему передоверить испытанное? Не будь его, я был бы смелее... Когда мне случалось при сестре Ирине говорить Борису Леонидовичу о своих впечатлениях большой (по тогдашним моим годам) давности, она не раз с удивлением меня спрашивала, почему я раньше об этом молчал. Как мог я ей объяснить (и тем более при нем!), что не люблю беспоследственных разговоров, последствий же жду только от него, а никак не от себя,— это было бы слишком горьким признанием...

Белый билет (понятен ли еще этот термин?), казалось, навсегда закрепил меня за гражданским сектором. Но не тут-то было. Надлежало к чему-то пришвартоваться, и по совету сверстников я подал прошение в военно-педагогический институт... Позже, как «негодный к несению строевой службы», я попал на ускоренные курсы при Административно-хозяйственной академии РККА и после восьминедельной подготовки был направлен в распоряжение Чусоснабарма республики при Совете Труда и Обороны. Вскоре я уже состоял помощником инспектора снабжения южного фронта, а после разгрома Врангеля меня (за умение писать удобочитаемые доклады) прикомандировали к Полномочной комиссии ВЦИКа и Совнаркома по делам Крыма, ревизовавшей по распоряжению Ленина сумбурно-кровавую деятельность крымского ревкома... Осенью 1921 года, когда военные тучи рассеялись, мне удалось демобилизоваться, снова вернуться в Москву с зарубцевавшимся уже туберкулезом (чему содействовало мое довольствование в столовой крымского ревкома) и поступить в Высший литературно-художественный институт, основанный Валерием Брюсовым.

В Москве встречи с Борисом Леонидовичем возобновились и на Волхонке и в кругу наших знакомых. Опять я подробно поверял ему мои впечатления: о нищете и страшном неурожае, постигших Крымский полуостров с ревущим и блеющим от голода скотом на выжженной земле; об исхудалых, но по-прежнему нарядных смуглых девушках с тонкими тросточками в руке — не столько данью моде, сколько опорой в их слабости,— стучавших деревянными подошвами самодельных сандалеток по каменным плитам тротуаров; о случайной встрече в Севастополе с Гумилевым, который меня узнал и, между прочим, сообщил, что едет в Москву к Брюсову в надежде, что «метру — так он выразился — верно, уже приелось корчить якобинца» (в чем он, конечно, ошибался); об измучивших меня объяснениях с бывшими знакомыми — долговязым Костей У. и молодым графом Т., недавними врангелевцами, на которых теперь распространилась новая общая амнистия, объявленная по Крыму нашей Полномочной комиссией,— они ошибочно полагали, что я «влиятельный красный» и просили меня «во имя старой

дружбы» (которой не было) о благодетельном вмешательстве в их дальнейшую судьбу; о приехавших с повинной в старом параконном фаэтоне главарях татар-повстанцев в живописных белых чалмах и с эскортом безоружных красавцев конников (живая сцена из «Хаджи Мурата») и, наконец, о стычке с зелеными — еще в самом начале, напавшими на наш поезд и нарвавшимися на ехавший с нами вооруженный конвой.

— Вы тоже стреляли?

— Конечно. Хотя при моей близорукости я и целиться-то не мог. (Очков я тогда не носил.)

— Стреляли не целясь?

— Так пришлось.

— Но ведь это — символ участия интеллигенции в революции!

— Не столько символ, сколько физический изъян на который я очень досадовал при этой «игре в индейцев». Но не будем забывать, что и Ленин — интеллигент.

— Оставьте! Не он стрелял, а Каплан в него стреляла,— опровергал меня Борис Леонидович с необычной для него горячностью.

— Но она ведь тоже интеллигентка. (Я его немного поддразнивал, как всех, кого любил и люблю.)

— Какая там интеллигентка! Сумасшедшая фармацевтка! Дуреха! Седьмая вода на эсеровском киселе! Охота вам, Коля, валять дурака и притворяться непонимающим!

— Но ведь именно студенты числились во внутренних врагах...

— Пока в них стреляли и брали их в нагайки. Но ведь это все при царизме... Физический изъян вам только помог держаться в рамках символа. И слава богу!

Он был мною явно недоволен, хотя «стихийной безликости» было во мне хоть отбавляй и тогда и позже, что, впрочем, мне нисколько не мешало быть усердным служакой — под стать покойному Лацису Когда почти через сорок лет мне довелось прочесть страницу о стрельбе без прицеливания, я невольно вспомнил наш былой разговор.

Период нэпа — всерьез, но ненадолго — пришел на смену периоду «военного коммунизма». Теперь в Москве уже не все голодали, и, получив аванс от издателя З. Н. Гржебина за «Сестру мою жизнь», Борис Леонидович, хоть и был еще холостяком, устроил нечто вроде литературной вечеринки. Правда, читал стихи в этот вечер (когда все уже подвыпили) он один — два цикла, которые поэт, видимо, считал особенно благодарными для декламации «Разрыв» и «Болезнь». Во всяком случае мне еще много раз доводилось слышать их в авторском исполнении.

Читал он тогда не так, как позднее, начиная со «Второго рождения» (а впрочем, уже с «Высокой болезни» и со «Спекторского»), не просто и не торопливо-раздумчиво, а стремительно-страстно поражая слух яростно гудящим словесным потоком. Я не сразу потом привык к его новому приглушенному способу «подавать свои стихи» Но тогда даже его pianissimo было наполнено патетической полнозвучностью.

Начал он с «Разрыва», и, словно грозно взревевший водопад, обрушились на нас и на меня его стихи (я слышал их впервые):

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь зараженная ложью в начале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся,— нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

Казалось, было невозможно перекрыть большей звучностью этот страдальчески-гневный крик раненого сердца и раненой поэтической стихии, и все же

в ряде стихотворений цикла это удавалось, а именно во втором — «О стыд, ты в тягость мне!», в пятом, написанном разностопными анапестами, стремительном, как погоня в h-moll'ной сонате Шопена, где:

...как лань обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей.
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей.
Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей.
— О, на волю! На волю! — как те!

И, наконец, в совсем кратком, всего в пять строк, четвертом:

Помешай мне, попробуй Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли.
Воспрети помешательство мне,— о приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни,
О, туши ж, о, туши! Горячее!

Там, где на краткий срок спадал его голос, «шуму вод подобный», стихи начинали звучать mezzo-voce — по-особому нежной, благородной мужскою страстностью:

Когда как труп затертого до самых труб норвежца,
В виденьи зим, не движущих зайндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутливым — спи, утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.

Местами логическая нить монолога становилась почти неразличимой; стихи пресуществлялись в воспаленную бессмыслицу, однако расчетливо темперированную и уже этим причастную смыслу:

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

Кончается этот стихотворный цикл почти старомодным, классически прозрачным четверостишием, сразу восстанавливавшим логическую непреложность признаний:

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно что жилы отворить.

В тот вечер я нашел да и сказал об этом, что «Разрыв» напоминает шекспировские сонеты, и со мною восторженно согласились. Не только гости, но и автор.

Теперь бы я не решился это утверждать так беспечно-безоговорочно. Ведь сонеты Шекспира — своего рода маленькие трактаты в кратких четырнадцать строк, тогда как стихотворения пастернаковского цикла меньше всего могут быть названы трактатами. Их стержень не рассудителен, а, выражаясь метафорически, м у з ы к а л е н, я бы сказал, даже пианистичен. Тут все сводится к наплыву и сплыву, к сгущению и разряжению звуков и чувств необычной силы. Мысль здесь — по-особому неразрывно! — связана с подвижной образностью словесной ткани, и только в тесном союзе с нею и мало знача в своей обособленности участвует в построении единого музыкально-поэтического образа, рассчитанного в большей мере на нашу впечатлительность, чем на способность к уразумению. И если «Разрыв» вопреки такому различию чем-то все же сродни шекспировской лирике, то разве лишь тем, что и Шекспир — хоть он и опирается на строгий рисунок рассуждения[9]— все же в конечном счете добивается п о в ы ш е н н о - э м о ц и о н а л ь н о й в п е ч а т л я е м о с т и, далеко превосходящей силу его отчетливой логики.

Сходствует с Шекспиром «Разрыв» Пастернака еще и тем, что как там, так и здесь отвлеченные понятия, попадая в круговерть лирического неистовства,

[9] Уверенно ведомое от исходной посылки первых двух катренов к встречному утверждению в третьем, чтобы потом прийти к точному выводу, примиряющему и тезу и антитезу, в заключительном двустишии сонета.

обретают непривычную даже в поэтической речи чувственную осязаемость. Подобно шекспировским «лысому звонарю времени», или «проклятию, лежащему в пару», или «и раб Добро на службе князю Злу», отвлеченные понятия в «Разрыве» становятся чуть ли не действующими лицами житейской драмы:

Ошибается ль еще т о с к а?
Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая»,
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

И еще одно роднит «Разрыв» с сонетами Шекспира — l'eliménation du superflu (отсутствие всего лишнего), исчерпывающая к р а т к о с т ь стихотворений.

Другой прочитанный цикл — «Болезнь» — прозвучал совсем по-иному. В нем бред больного и бред поэзии граничат почти с ворожбою сказки:

Что это? Лавры ли Киева,
Спят купола или Эдду
Север взлелеял и вынянчил
Перлом предвечного бреда?

Или в другом стихотворении:

Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
Будто воском ночь заплыла
Лапой ели на ели слепнет снег,
На дупле — силуэт дупла.
. . . . . .
Губы, губы! Он стиснул их до́ крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

Болезнь, о которой говорится в этом лирическом цикле, протекает в условиях голодного московского быта первых лет революции в обстановке, меньше всего благоприятствовавшей выздоровлению, в дни, когда за окнами нетопленых городских квартир внезапно грянули морозы и больного спасала от замерзания только лыжная фуфайка, сохранившаяся в истощенном домоводстве (я помню его фуфайку). Этот необычный исторический фон вырастает в гигантское виде́ние «Кремля в буран конца 1918 года». Относительно большое это стихотворение поэт всегда читал с особенным подъемом:

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упаде сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою все застелется,

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящей кисти башлыка,
Здоровающейся в наручнях,

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом на́короть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный весь в былом,
Как визьонера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц лезется.
Боится, видно,— год мелькнет,—
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

Но хватит стихов! Давать их в отрывках грешно, а приводить целиком невозможно. Так вернемся же к прерванному рассказу о вечере на Волхонке.

Подбор гостей мне показался несколько случайным. Наиболее людно в тот вечер было представлено некое семейство Штихов — трое мужчин и одна женщина. А может быть, и двое мужчин и две женщины. Попытаюсь отчитаться в такой неточности памяти. Семейное сходство Штихов — так мне показалось — всего ярче давало себя знать в почти ошеломляющей одинаковости их малого роста. По сравнению с этой отличительной чертой даже такое существенное различие, как принадлежность к мужскому или женскому полу, как-то меркло и отступало на задний план. Не сомневаюсь, что все Штихи были милейшими и глубоко порядочными людьми, но я их видел в первый и в последний раз и так в них и не разобрался...

Когда хозяин попросил нас к столу, густо уставленному разными закусками, множеством бутылок, крюшонницей и лиловым, еще родительским, богемским стеклом, Штихи устремились к этой гастрономической «тысяче и одной ночи» (так выразился хозяин) как-то особенно дружно; не думаю, однако, чтобы столь уж дружнее остальных. Но С. П. Бобров тут же выделил их изо всех прочих шутовским возгласом, в котором, как мне показалось, прозвучала довольно внятно антисемитская нотка. Но Борис Леонидович, видимо, заранее закрепил за Бобровым роль весельчака на этом вечере и связанную с нею далеко идущую Narrenfreiheit (шутовскую вольность). Он смеялся до слез над бобровской, что и говорить, почти пластически точной фиксацией наступательного маневра Штихов (точной опять-таки в силу поразительной одинаковости их роста).

Кроме лиц, уже помянутых, на вечере присутствовали: Юлиан Павлович Анисимов, задумчивый лирик несомненного, хотя и несколько рыхлого и расплывчатого дарования, его жена Вера Оскаровна Анисимова-Станевич, впоследствии известная переводчица, и Константин Григорьевич Локс, будущий профессор западной литературы, тогда читавший в Брюсовском институте еще не совсем устоявшийся, но весьма содержательный курс теории прозы, человек немного угрюмый, но большой душевной чистоты, благородства и правдивости [10]. О нем-то и говорил мне Борис Леонидович, не назвав его имени, как об умном «товарище по университету», будто бы сказавшем, что он, Пастернак, «сильнее в прозе». Справедливость, однако, требует заметить, что некто иной, как Константин Григорьевич едва ли не первый отметил в печати значительность и оригинальность пастернаковской лирики.

Только позднее подошел брат поэта, Александр Леонидович, и — почти уже к шапочному разбору — Маяковский и Константин Большаков, поэт, позднее более успешно выступавший как прозаик. Кажется, оба они даже не были приглашены, а зашли на огонек, возвращаясь с карточной игры. Но о них — ниже, по ходу рассказа.

Не допускаю и мысли, чтобы Борис Леонидович преднамеренно созвал гостей для литературной потасовки. Но когда после первых же рюмок и бокалов ясно обозначилось, что старые счеты не были забыты и что Анисимовы и Локс буквально hurlent de se trouver ensemble (рычат, оказавшись в одной клетке — с Боб-

[10] Его выдающееся литературное дарование мне сполна открылось позднее за чтением его мемуарных записок — «Повесть об одном десятилетии (1907—1917 гг.)»,— где много говорится и о молодом Пастернаке (мемуары остались неопубликованными).

ровым), он весь зажегся лукавым мальчишечьим озорством. Встав со своего столь памятного мне резного кресла, он пересел на придвинутый к столу отцовский подиум, который служил сиденьем мне и одному из Штихов, и стал просвещать меня, ничего не ведавшего о сути внезапно обнаружившихся разногласий, торопливым веселым шепотом, едва ли слышным только мне одному:

— Когда-то мы с Бобровым поступили как заядлые большевики! Взяли и отлучили Анисимова и других литераторов его толка от себя и от поэзии. Они, как мы тогда выражались, были «эпигонами символизма». Страшный вздор! Но эпигонами они были. Это имеет и другое название,— тут он и вправду зашептал,— они попросту были тем, что называется «бледными и несамостоятельными дарованиями». По-честному, и Бобров был ничуть их не сильнее. Но он по темпераменту и склонностям альманашник, журналист и имел простоту наивно верить в литературные ш к о л ы, то есть в дырки, которые не дают подняться цеппелину. Но раз взят курс на новаторство и на мои стихи, так доводи до конца! Уж коли новаторство, то эпигонов за борт! Должен же был Бобров радеть о том, чтобы его журнал или там сборники имели свое лицо! Это становится вопросом жизни именно там, где речь идет не о поэзии, а о литературных школах с розгами для тех, кто учится на стороне. Страшный вздор и стариннейший хлам! Но все же не только вздор.

«Эпигоны символизма» грешили не только отвращением к малейшей поэтической самостоятельности (это бы с полгреха!), но и какой-то азартной приверженностью к скудости словаря. Кольцо — лицо, муть — жуть, страхи — плахи, а уж никак не птахи! Всего слов триста на всю бражку. Словарь не больше, чем у бушменов! И это ведь из уважения к «учителям», «старшим богам» символизма. Верлен — и скудость языка? Рильке — и скудость языка? Немыслимо! А у них какое-то столпничество стиля, игра, где не только «да» и «нет», не только «черного» и «белого» не говорят, но и почти все слова, употребляемые народом. Брюсов и — бог ты мой!— Вячеслав[11]! Он просто не знал других слов, кроме тех трехсот! И сам от этого страдал. Но что ж он делает? Вали в квашню славянизмы! То есть те же триста слов, но уже не по-русски. Как будто не было ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Языкова и Фета! У Тютчева словарь беднее. Но мысли — а значит, и слова! — не у соседа списаны! «Он не змиею сердце жалит, но, как пчела, его сосет»! Так сказать о «поэтовой любви»! Ах, ах! Блок и Анненский только одни и держались большого русского словаря. Я еще в Петербурге говорил об этом с Гумилевым и Осипом Мандельштамом, и они меня слушали. Гумилев — храня гордое величье, но Мандельштам — как откровение и мотая себе на ус[12]... На языке столпников — и эпигонствовать! Нет! В этом Бобров был прав...

А на другой дуге большого круглого стола шла пикировка между Бобровым и мало находчивым Юлианом Анисимовым, который все больше дулся и багровел, чем сыпал аттической солью.

— Нельзя, чтобы весь словарь поэзии умещался в одном пупке,— зубоскалил Бобров, стараясь скорей прижать к стенке и разобидеть противника,— даже если это твой пуп, распертый жирным брюхом...

— Вы в своем репертуаре!— заступалась за мужа и за музу своих девичьих лет Вера Оскаровна (она и сама в недавнем прошлом писала «символические стихи»).

Пастернак хохотал. Мне — шепотом:

— Слышите? На нашу тему! Это он с тринадцатого года орет.— И во весь голос:— Сережа, побойся бога! Ты живешь довоенными представлениями. Юлиан тоже похудел. Открой глаза, его брюки набиты не жиром, а московским воздухом. Опомнись! Давно пришла революция. Тут никакого словаря не хватит! — И опять шепотом и придвинувшись ко мне:

— У Высоцких был оркестр для детей — разные птичьи голоса, и среди них трещотка. Уже они были барышнями и об этом оркестре давно позабыли. И вдруг за комодом, куда укатился Леночкин золотой карандашик — подарок Сашки Гав-

[11] Вячеслав Иванов.

[12] С этим показанием мне позже пришлось согласиться, прочитав статью О. Мандельштама «Заметки о поэзии» (1928), она многое повторяла из мыслей и даже терминологии Пастернака.

ронского, я нахожу в пыльном треугольнике между стеной и отодвинутым комодом эту трещотку. Взял, крутанул, и она вопроизвела все тот же самый голос — точно этого только и ждала. Вот так и они. И Бобров тоже!— И снова громко:— Ну что ты, Сережа! В «Лирике», по крайней мере, царила чистота и благородство убеждений.

— Вот именно,— одобрила Вера Оскаровна.

Анисимов тоже что-то проговорил.

— Нет, нет, Юлиан, так тоже нельзя! «Центрифуга» была в свое время свежим течением. Не все и там было вздором.— Он подыгрывал обеим сторонам с гостеприимным коварством.

Пастернака я еще слышал. Но что восклицали другие, до меня доходило как сквозь запертую дверь. Вдруг отчетливо донесся голос Локса:

— Молчи, Сергей! Или получишь по морде.

Бобров гоготал и хихикал.

— Ну, ну! Хватит галдеть, господа! Костя! Костя! Нет, пьянка для меня — не «надрыв в трактире», а эпос. Надо пить много и чинно и говорить со спокойным увлечением, а не ругаться, как мужик с Горем в сказке, не забивать во втулку дубового клина и не топить сображника в Яузе. Так не годится «в гулючки играть»!

Он удивительно вкусно выговаривал простонародно-русские слова. Теперь я знал: это была часть его поэтической программы, которую он (то шепотом, то почти в голос) излагал мне на отцовском подиуме. Но это имело и другое объяснение. Здесь было что-то от «зоркости со стороны», от влюбленной в русскую речь настороженности Даля, бесподобного знатока русского слова и, что существенно, тоже человека нерусских кровей.

Вторжение инородного начала (расового или культурно-сословного) обычно только и делает большого человека полновластным хозяином национальной культуры. Тому первый пример Пушкин, потомок «арапа Петра Великого» и правнук Христины фон Шеберх (по-русски она говорила так: «Шорн шорт делат мне шорни репят и дает им шертовск имя»); и к тому же его в лицее прозвали «французом»... Но именно о нем скажет Гоголь: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа». Архирусский Суворов был с материнской стороны армянином, и насмешливый ипохондрик князь Потемкин-Таврический находил, что «солдатские шутки Александра Васильевича явно отзывают кавказским балагурством»[13]. Только будучи большим барином и просвещенным ценителем Паскаля, Руссо и Стендаля, Толстой сделался, как заметил Ленин в разговоре с Горьким, первым «подлинным мужиком» в русской литературе. А романские глаза, по какому-то неизвестному мне закону генетики унаследованные Гёте от римских легионеров, осевших в прирейнском крае? Томас Манн придавал им большое значение. Разве не ими смотрел «величайший немец» на мир и на немецкое захолустье? Надо думать: слишком н е р а з р е ж е н н о - п о ч в е н н о е противоречит полету духа (как слишком плотно уложенные дрова не дают разгореться огню). Даже Лесков не прозрел бы так остро исконно русской жизни, если б судьба не свела его, очарованного странника, как все поэты, с английскими квакерами, с добронравным семейством Шкоттов, за одним из которых была замужем его тетка.

Не потому ли это т а к, что все разрозненно-национальное — только яркие ипостаси общечеловека и что «лишь все человечество в своей совокупности,— по выражению Гёте,— представляет истинного человека». В любовании замкнутонациональным, как мне кажется, заключена толика добродушной иронии над людской детскостью, над ребяческой попыткой самобытно, на свой аршин и лад жить и быть человеком.

Но назад на Волхонку! Ведь я отступил от застольного монолога нашего хозяина.

— Костя! Костя! Положите себе кусок севрюги на вашу приходо-расходную

---

[13] Записано мною со слов историка Павла Сергеевича Шереметева. Язвительная шутка «светлейшего» была ему сообщена князем Павлом Петровичем Вяземским (сыном поэта Петра Андреевича и дедом П. С. Шереметева); Павел же Петрович ее услышал от фрейлины Наталии Кирилловны Загряжской. Благоговейно наношу на бумагу это сообщение тетки Гончаровых.

тарелку. Занимайтесь делом, только делом! Что это вы? Ведь мы с вами учились в Московском университете... Не хмыкайте, Костя, я тоже помню пушкинского «Альманашника»: «...он был человек ученый, а я учился в Московском университете». И про Бесстыдина помню «Боже мой — стакан вдребезгáх». Именно: «вдребезгáх». До чего непревзойденно по-хамски![14] Но ведь мы сидели на семинаре Лопатина. Как он знал досократиков! Прочитали бы лучше, Костя, из Сáфо.

— Не буду я читать.

— Ну так кушайте севрюгу.

Все затихли. Я уже не сидел, а лежал на подиуме, и Пастернак говорил со мной почти как Митя Карамазов с Калгановым в Мокром, хотя и был сторонником чинного эпоса. Гости начинали трезветь. Тут-то Пастернак, поддавшись настойчивым просьбам, и прочел свои «Разрыв» и «Болезнь».

Все восторгались стихами. Но Бобров и здесь сумел облечь свои критические экспромты в форму обиднейшей полемики с Анисимовым. Юлиан Павлович молча и не прощаясь покинул комнату. То же сделала Вера Оскаровна, а потом и сорвавшийся со стула Бобров. Меня разобрало любопытство. Я тоже проскользнул в переднюю. Дверь на лестницу была широко распахнута. На ступеньках сидели Анисимов с Бобровым, а на площадке, в конце лестничного пролета, стояла в беличьей шубке негодующая Анисимова-Станевич.

— Ведь я ж тебя люблю, чудака! — хихикал Сергей Павлович и лез целоваться, амикошонствуя напропалую. Анисимов все терпел и, кажется, даже сдавался. Я возвратился к пирующим.

— Вы знаете, что такое объяснение в любви? — спросил я Бориса Леонидовича.

— Это в ы, должно быть, не знаете.

— Нет, я-то знаю. Что вы скажете, если я скоро женюсь?

— Правда?

— Правда. На Ининой подруге.

— А как ее звать?

— Нина Павловна Воротынцева. Но я не об этом. На лестнице Бобров целуется с Юлианом Павловичем, и страшно ёхидно.

Пастернак хохотал.

— Так вы правда женитесь?

— Правда.

— И я тоже.

— Правда?

— Конечно, правда.

— «Женишься — переменишься». Но я не изменюсь. А вы?

— Конечно, изменюсь. Но дружбе это не помеха. — Он меня поцеловал. — Как это здорово! Оказывается, мы оба на стороне бедокурим.

На стороне? На стороне от нашей дружбы? Он, конечно, только оговорился — иначе и быть не могло; но я был рад и такой обмолвке...

Вдруг в маленькой коридорной двери выросли два гиганта. Как они вошли? Должно быть, дверь оставалась открытой. То были Маяковский и поэт Константин Большаков. В момент их появления я опять лежал на подиуме. Быть может, оттого они и показались мне такими огромными? Но тут я вскочил. Пастернак тоже бросился навстречу пришедшим.

— Как жаль, что вы пришли так поздно, Володя! Здравствуйте, Костя!

Анисимовы и Бобров теперь были тоже в комнате (приход Маяковского их побудил возвратиться).

— Тем более что Боря прочел чудесные стихи, — подхватила Вера Оскаровна.

— Ну да! Так уж и чудесные! — смущенно оборонялся Борис Леонидович.

— А теперь вы н а м прочтете. — То были первые слова Маяковского.

— Нет, нет! Я их зачитал уже до полусмерти!

— Нас не зачитаете. Мы — привычные.

Александр Леонидович принес еще два стула.

---

[14] Пастернак ошибочно вложил отчаянное восклицание альманашника в уста Бесстыдина, на что я тут же ему указал, вызвав довольно кислую похвалу Бориса Леонидовича моей памяти.

— Хорошо! Одно прочту. Но условимся: только одно. Из пушкинского цикла, тоже довольно большого... Так слушайте!

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

(Я отчетливо вспомнил эти стихи 30 мая 1960 года. Его смерть мне тоже казалась одним из великих о д н о в р е м е н н ы х космических свершений, которое, как черновик «Пророка», легко выдерживало свою приравненность к полету звезд и к вращению древней земной оси. Ведь об этом и говорится в стихотворении, тогда прочитанном.)

— Да, это о ч е н ь хорошо,— сказал Маяковский.— Теперь — читайте.

— Нет! Нет! На днях я к вам зайду, Володя, и почитаю вам наедине. Сейчас не просите!— И вспомнив о гостеприимстве:-- Нельзя же так мучить людей'

Опять закрутилось колесо застольных разговоров. Крюшонница была еще не совсем пуста, и у «уплотнителей» (Устиновых) нашлись две бутылки водки (слово «поллитровка» тогда еще не было в ходу). Маяковский угрюмо молчал, не воздавая должного остроумию Боброва, со злобным блеском поносившего «пустоглубокомыслие» статей М. О. Гершензона о Пушкине.

— Ведь это такой человек! Схвати Гершензона за ногу на темной лестнице, он тебе такое наговорит!— так заключил он свой уничтожающий отзыв.

— «На темной лестнице»! «За ногу»!— задыхался от смеха Пастернак, впрочем, ничуть не заражая своим весельем Маяковского.

Потом Борис Леонидович и сам вспомнил смешное:

— Летом в имении Балтрушайтиса — это было в четырнадцатом году, но задолго до Сараева — мы спрятались с Юргисом в кустах под окном Вячеслава (сын Балтрушайтиса, мой ученик, был тоже с нами) и стали крячать по-совиному — как долго мы это репетировали!— а потом как ни в чем не бывало зашли к Вячеславу. «Вы слышали, как кричат совы?— спросил он нас с торжественной грустью.— Так они всегда кричат перед войной». Я прыснул, и он скорей всего догадался о нашей проделке, хотя себя и не выдал — из самоуважения. И вдруг оказалось, что прав Вячеслав Иванов: грянула война. Как это странно! И страшно, конечно...

Тут Маяковский впервые за вечер улыбнулся, не без высокомерной снисходительности, однако.

Маяковский и Пастернак, конечно, любили друг друга и уж во всяком случае признавали каждый другого большим талантом. Но единомыслия между ними не было. Никогда! И не потому, что один из них был — эстетически и политически — левее другого. Пастернак держался тогда (а если разобраться, то и всегда) достаточно левых убеждений, а в искусстве и в истории ценил преемственность и в отличие от Маяковского отнюдь не «ненавидел», хотя бы даже и тихо, таких слов, как «соплеменник» и «скала». Ведь словом «скала», столь претившим Маяковскому своей шаблонной красивостью, начинался и пастернаковский пушкинский цикл:

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы втупик
Поставленного грека не загадку,
Но предка: плосконогого хамита,
Как оспу, перенесшего пески.
Изрытого, как оспою, пустыней.
И больше ничего. Скала и шторм.

Через такие градации своей левизны Маяковский перешагнул бы без труда: он не был таким уж фанатиком. Их недовольство друг другом, надо думать, имело причину более глубокого свойства. Каждый из них, собственно, хотел, чтобы большой талант собрата безропотно восполнил его поэтическую неповторимость. И Маяковский как натура более властная в своих внешних проявлениях хотел этого, конечно, настойчивее, чем Пастернак, скромно, но последовательнее полагавшийся на себя; тогда как Маяковский, в большей степени организатор, стремился творить и действовать не только самолично, но и через другого, всего охотнее именно через Пастернака. Только этим (а уж никак не слабо выраженной индивидуальностью!) объясняется, почему он порою сам нетерпеливо заговаривал на пастернаковский лад, его интонациями и поэтическими ходами.

Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется.
сгинет шапчонкой гриба,
И гигант
постоит секунду
и рухнет,
Под записочной рябью себя погребя.

Когда я впервые услышал в авторском чтении эти стихи (из поэмы «Про это»), я шепнул Борису Леонидовичу:

— Но ведь это под вас!

Он почти испуганно приложил палец к губам, прошептав почему-то по-французски:

— Parlez plus bas![15]— И только после паузы ответил тоже шепотом:— Вы, конечно, правы. Дался я ему!

Пытаясь определить его отношение к стихам Маяковского, я сказал однажды:

— Вы в большей степени видите в них произведения поэта, чем произведения поэзии.

— Это очень точно. Именно так. И это потому, что его поэзия, такая настоящая, выросшая до размеров il gigante Микеланджело и по праву занявшая первое место на европейском чемпионате поэзии, все же остается русской провинцией, чем-то гениально-доморощенным. Как это он не сбросит с себя всех этих осипов бриков и крученых, которые консервируют его недостатки себе на праздную забаву! Его петровская дубинка стучит по тротуарам первопрестольной, не зная истинного своего применения.

С такой же ревнивой неприязнью смотрел и Маяковский на окружение Пастернака. Хотя, по совести, никакого пастернаковского «окружения» тогда не было. «Круг Пастернака» стал намечаться гораздо позже, когда на горизонте появились Нейгауз и Асмус. Но это было чисто домашнее окружение, ничуть не литературно-групповое и тем менее идеологическое. Здесь его любили, понимали, кого в его лице имеют, и только. Тем более что Нейгауз был замечательный музыкант, а Асмус — выдающийся философ, и только он, Пастернак, как и они в одиночку, представлял свою область — поэзию. Но я опять уклонился в сторону.

Пока же мы сидели за круглым столом и дружно, хотя и без должного успеха, напрягали свои усилия, чтобы вовлечь в круговорот застольной беседы угрюмого пришельца Маяковский оставался неприступным.

Я тоже отважился заговорить о смешном. Пародируя своего профессора Григория Алексеевича Рачинского, я старался передразнить его барский шепелявый голос, его дворянски-простонародные «туды-сюды», «аглицкой породы», его старомодное острословие. Но больше всего меня, юнца, как я теперь понимаю, смешила и восхищала его старость, его, как мне казалось, загробные «бывалоча у Фета», «моя тетка, жена известного поэта Баратынского» и то, как он, ценитель прекрасного пола, указывая юным студенткам нужные источники для предстоящего коллоквиума, все норовил снять с их девичьих грудей «незримые миру» пушинки или вспоминал о встречах с Николаем Николаевичем Страховым, другом

[15] Говорите потише! *(Франц.)*

Достоевского и Толстого. Одна такая встреча, переданная Рачинским, была, как я ощутил, и сама по себе достаточно примечательна.

Достоевский пришел к Страхову после одного из своих припадков, сел в кресло и долго молчал, почти не слушая, что говорит ему Николай Николаевич, и вдруг, гневно побледнев, воскликнул вне всякой связи с их беседой: «Вот он (кто он, осталось неизвестным[16]. — *Н. В.*) ставит мне в вину, что я эксплуатирую великие идеи мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо сочувствие к великому прошлому человечества? Нет, государи мои, настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову и то, что она поглотила!»[17]. Сказав это, Достоевский стал спешно собираться домой, точно пришел только затем, чтобы бросить эту реплику неизвестному обвинителю. Рассказав свой анекдот, Рачинский, как после удачного антраша, поспешно отошел от своих слушателей, предоставив каждому из нас по-своему оценить услышанное (я довольно похоже воспроизвел его назидательную семенящую ретираду).

Борис Леонидович раз за разом восклицал: «Как это здорово!» Но и Маяковский вдруг вышел из своей угрюмости и, хоть и молча, одной напряженной внимательностью глаз отметил, что это «стоящий товар».

Спустя несколько лет я прочел в его «Письме к Горькому»:

И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз,—
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм!

Последние два стиха здесь к делу не относятся, но в первых двух я тут же заприметил отчетливый след страховского анекдота о Достоевском. «Nachgiebigkeit bei großem Willen!» (уступчивость при сильной воле) — лучше нельзя определить своеобычность поэта, как этой строкой из гётевского «Тассо». Как легко подхватывает он случайно оброненное слово, мысль, рассказ о случившемся или кем-то обнаруженное чувство; и вместе с тем — с каким упорством, с какой душевной отвагой! — он отстаивает все то, что составляет его сущность, его «тайну».

Все на него влияет, всему готов он «уступить»! Но никто, как он (сколько б он ни менялся под воздействием большой, исторической, или малой, домашней, среды), не остается столь неизменно в с е т е м ж е.

Иннокентий Анненский когда-то сказал:

У женской нежности завидно много сил!

То же можно сказать и об «уступчивой» душе поэта.

Это я понял не из приведенного случая с Маяковским, конечно, а в силу многолетнего наблюдения за героем моих воспоминаний.

Глава третья

Как продолжить начатую книгу? Затрудняет меня не то, что я никогда не вел дневников или хотя бы беглых записей. Память продолжала бодрствовать: меня смущает не скудость воспоминаний, а скорее их невпроворотное обилие. Детали имеют свою бесспорную ценность (без них не обойдешься) при непременном, однако, условии, чтобы целое ими не затемнялось, а это прежде всего предполагает предельную сжатость воспринятого. Иначе не привести разрозненных частностей к выразительному единству.

Герой же моих воспоминаний сам меньше всего заботился о том, что́ он называл «зрелищно-биографическим самовыражением». Борис Пастернак, на

[16] Полагаю, однако, что Константин Леонтьев.

[17] Говорят, что Федор Сологуб любил повторять это сравнение поэта с тигром, не упоминая, однако, об авторстве Достоевского. Вот тщеславие-то!

против, предпочитал, чтобы зримый мир и непрозреваемая вселенная говорили как бы от собственного имени его, Пастернака, поэтическим слогом. Более того, он старался, вполне сознательно, затеряться в огромном и для него всегда чудесно целостном мире, посягая едва ли на большее чем на равноправие с любой другой драгоценной его частицей, к примеру, с деревьями по ту сторону дымчатого водного простора, о котором он говорит в своих «Заморозках» (одном из позднейших его стихотворений):

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Поистине такого полного «самоустранения», такой растроганной растворимости в великом целостном (пусть в малых рамках нашей земной действительности) не знала в такой мере мировая поэзия. Это его, Пастернака, «новое слово», столь отличное от романтического «зрелищно-биографического самовыражения», свойственного большинству его современников.

«...Под романтической манерой,— говорит Пастернак в «Охранной грамоте»,— крылось целое мировосприятье. Это было понимание жизни как жизни поэта (разрядка моя.— *Н. В.*). Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких... Усилили его (такое понимание судьбы и роли поэта.— *Н. В.*) Маяковский и Есенин».

«Но вне легенды романтический этот план фальшив,— так продолжает Пастернак.— Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратою мещанства лишающийся половины своего содержания. Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расстался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка...»

Попросту говоря, Борис Пастернак нисколько не стремился к героизму и тем более к надрывному самоистреблению. От породившей его жизни он получил в приданое тягу к свету (никак не ко мраку), и трагическими развязками душевных конфликтов он отнюдь не упивался:

Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Что ему, конечно, не мешало сознавать, что народная поговорка «жизнь прожить — не поле перейти» еще не вышла в тираж, и знать, что «для веселия планета наша мало оборудована» не только со слов Маяковского.

Но от этого он не впадал в пессимизм и не переставал верить в то, что

Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Нет, память не затянуло густым туманом. Вспоминается и то и другое. Но во имя воссоздания целостного образа Бориса Пастернака я многое сознательно заслонил дымовой завесой, оставив открытыми лишь отдельные островки, залитые слепящим светом, как на полотнах великих мастеров Возрождения,— les éclaircies (просветы), уясняющие единый смысл этой прожитой в радостях и печалях жизни большого художника, мыслителя, человека. Так поступал я в уже написанных главах, так буду поступать и в дальнейшем.

Но возвратимся к прерванному рассказу.

На Волхонке, 14 водворилась молодая хозяйка, первая жена поэта, Евгения Владимировна Пастернак, урожденная Лурье. Никогда не испытывал я ревности к женам своих друзей, хотя читал и слышал об этом будто бы широко распространенном чувстве. Напротив, я и на них распространял свое дружеское расположение, а иногда и любовь, если иная из них меня привлекала качествами женского ума и сердца. Меньше всего я решался о них судить по первому впечатлению, проявляя в этих случаях не свойственную мне особую осторожность и пристальную осмотрительность (о том, что честь друга была для меня чуть ли не дороже моей собственной, я даже не считаю нужным говорить — это само собой разумелось). Мне всегда казалось, что пресловутая ревность друга — чисто женская выдумка.

В ожидании по меньшей мере почтительно-дружеских новых отношений я поспешил на Волхонку тотчас же по возвращении молодых из Петрограда, где жительствовала тогда мать Евгении Владимировны. Борис Леонидович представил меня хозяйке дома как «моего молодого друга». Я приложился к ее руке и начал с ней «непринужденно» болтать (я все-таки получил вполне порядочное домашнее воспитание) с целью поближе к ней приглядеться. При всей своей, меня никогда не привлекавшей в женщинах анемичности она была скорее миловидна. Большой выпуклый лоб, легкий прищур и без того узких глаз (быть может, она этому научилась во ВХУТЕМАСе, занимаясь живописью в классе художника Фалька?), таинственная, беспредметно манящая улыбка, которую при желании можно было назвать улыбкою Моны Лизы, кое-где проступившие, еще бледно и малочисленно, веснушки, слабые руки, едва ли способные что-то делать. Моя предумышленно старомодная учтивость ей, кажется, понравилась, как, впрочем, и Борису Леонидовичу, более привыкшему к тогдашней моей молодой экспансивности.

В ответ на мой вовсе не призывавший к исповеди вопрос о ее петроградских впечатлениях она неожиданно заявила, что очень огорчена переменой фамилии.

— Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью.

Но, не дав мне проронить ни слова (да я бы и не проронил), Борис Леонидович с каким-то покрившимся лицом уже загудел с явно наигранной веселостью:

— Видите, какой она еще ребенок? Я ей сказал напрямки, что уже кое-что напечатал за своей подписью. Наконец, это фамилия папы, а того, что он сделал, хотя бы в общении с Толстым, уж никак не вырубишь топором! А она — все свое!.. Но простите, Коля, я пойду ставить самовар.

Обычно я ему при этом ассистировал. У него был свой особо рациональный метод топить печи и ставить самовары. Он, как, впрочем, и я, любил развлекаться незатейливой работой по домоводству.

То, что я услышал, едва Пастернак ушел в кухню, было по меньшей мере нерасчетливо. Ни с того ни с сего Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат (в дальнейшем называемый Сеней).

— Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился.

Не моргнув глазом я выдержал и это, но она разговорилась...

Наконец вошел с бурлящим самоваром Борис Леонидович.

— Ну как? — спросил он и тут же перевел петроградскую тему на новые рельсы. Он заговорил об их посещении Эрмитажа, не заботясь об обычной для него яркости формулировок. Запомнилась только одна фраза: «Рембрандт? Это тьма египетская, сквозь которую проступают образы и людские положения потрясающей психологической точности, будто он уже читал Достоевского и Фрейда».

Я ушел непривычно рано с тяжелым чувством...

Пять дней я не был на Волхонке. Видался только с моей будущей женой Ниной Павловной, с сестрой Ириной и с Александром Леонидовичем. Всем им кривя душой говорил, что Евгения Владимировна очень милая,— из уважения к избраннице дорогого мне человека. До конца их брака (да и позже, когда это уже не имело никакой цены) я держался с ней преувеличенно учтивого тона. Никогда насчет нее не судачил, хотя и видел ее насквозь с возраставшей прозорливостью.

Да поверит мне читатель, я всеми силами старался в ней отыскать скрытые достоинства, прежде чем вынести окончательный приговор. И кое в чем даже преуспел. Мне нравилось, когда она молча лежала на тахте с открытой книгой и, не глядя в нее, чему-то про себя улыбалась. Тут я неизменно вспоминал строфу Мюссе:

Elle est morte. Elle n'a pas vécu.
Elle faisait semblant de vivre ;
De ses mains est tombé le livre,
Dans lequel elle n'avait rien lu[18].

Но, к сожалению, она не всегда молчала...

Пять дней я не видел Бориса Леонидовича. И вот я шел на урок к моему ученику, несимпатичному мне балбесу, сыну нэпмана.

Вдруг я заметил на площадке трамвая, с предельной скоростью мчавшегося вдоль Покровского бульвара его. Борис Леонидович стоял, держась за железные прутья, предохранявшие оконное стекло от возможного напора публики, и неотрывно всматривался внутрь вагона. Я безрассудно прыгнул на подножку.

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

Он вздрогнул, и не только от неожиданности, а как пойманный с поличным.

— Коля! Вот хорошо-то! Вы едете к нам?

— Нет, до ближайшей остановки. Там дом моего ученика.

— Так чего ж было прыгать? — И, помявшись, добавил: — Как это странно! Вот ты женат и как будто связан уже навеки, а встречи с «прекрасными незнакомками» все продолжают тебя волновать.

В вагоне сидела женщина и впрямь красоты замечательной, со строгим и скорбным выражением лица; такие лица еще нередко встречались тогда в арбатских переулках.

Я промолчал, но про себя подумал, что его брак с Евгенией Владимировной не будет прочен. Я ошибся только в сроках, не учтя его доброты, терпения и... бытового консерватизма. Их совместная жизнь продолжалась еще семь лет. Но она носила все тот же характер. Позднее у них установился даже какой-то особый обряд: негодующая Евгения Владимировна уезжала в Петроград (или, позднее, в Ленинград) «пожить у мамы»: потом начинались переговоры по междугородной телефонной сети, и Борис Леонидович выезжал в Бологое, где супруги благополучно воссоединялись, и с наигранно веселыми и примиренными лицами опять водворялись на Волхонке для очередного lune de miel[19], иногда обрывавшегося на четвертом дне.

Восстает мой тихий ад
В стройности первоначальной —

как сказано в одном написанном еще в России стихотворении Владислава Ходасевича.

— Вот опять еду в Бологое, Коля,— сказал мне как-то Борис Леонидович, морщась, с тоскою в глазах и в голосе. Ни до, ни после того он уже не говорил об этой ни к чему не приводившей повинности.

— Скачете, как Людовик Баварский?

— Странно, я сам об этом подумал,— откликнулся он, к моему испугу и тайной удовлетворенности.

Не так уж странно это было. Мы оба читали, и не одну, биографию Рихарда Вагнера, а там отводилось немало места истории взаимоотношений композитора с «его баварским величеством». Почти в каждой из них автор говорил о том, что Людовик II в лунные ночи скакал на борзом коне к своей нареченной невесте. Но брак короля (с одной из принцесс младшей, герцогской, линии баварского дома) так и не состоялся из-за полной неспособности Людовика «познать женщину». И луна, и конь, и романтические объятия обрученных были только

[18] Она умерла. Но она не жила,
Только делала вид, что жила...
Из рук ее выпала книга
В которой она ничего не прочла. *(Франц.)*

[19] Медовый месяц *(франц.)*.

оперной мизансценой — сентиментальнейшим «O Du, mein Augenstern!»[20], быть может, с горькой примесью трагической надежды на преодолимость прирожденного изъяна. Такими же гала-представлениями, в основе которых лежала совсем другая подоплека, мне представлялись и эти рыцарственные выезды навстречу жене в Болгое.

— Да, я и сам об этом подумал,— повторил он.— Вы опять догадались!.. Но я вас у м о л я ю, Коля, никогда не распространять своей прозорливости на эту зону. Она — запретная.

Это «умоляю» меня потрясло. Здесь было бы достаточно и просьбы, если уж не прямого запрета. То был единственный случай, когда я позволил себе нескромно коснуться его отношений с Евгенией Владимировной. Но эта нескромность не оказалась бы таковою, если б не давняя налаженность нашего взаимопонимания...

За одно я должен быть благодарен Евгении Владимировне: она терпела меня охотно, и моя дружба с Борисом Пастернаком от нее не понесла никакого ущерба. Напротив, я был ему, видимо, еще очень нужен — отчасти именно из-за отсутствия должной духовной близости между супругами[21].

Время шло, как всегда, неудержимо. Новый, 1922 год был давно позади. Мы чокнулись бокалами в положенный час. Я да он, больше никого. У Бориса Леонидовича болели зубы; намечался флюс, и он, естественно, не хотел в таком виде показываться знакомым или звать гостей к себе на Волхонку. Евгения Владимировна куда-то отправилась встречать Новый год с художником Владимиром Лебедевым, с его тогдашней женой, скульптором Сарой Дмитриевной Лебедевой, и красавцем Колей Кулябкой, членом партии с восемнадцатого года и вместе с тем талантливым пианистом, страстным почитателем Скрябина...

Весной предстоял отъезд Пастернаков в Берлин, где жил Леонид Осипович с женой и обеими дочерьми, никогда не перестававший быть советским подданным (с приходом к власти Гитлера он перебрался в Лондон). Наше правительство ни к чему его не принуждало, памятуя о его близости к Толстому. В день годовщины Октябрьской революции он аккуратно посещал советское полпредство (позднее — посольство). Так было в Берлине, так и в Лондоне.

За несколько недель до отъезда в Германию Бориса Леонидовича и его жены вышло наконец первое московское издание книги его стихов 1917 года «Сестра моя жизнь». Она ходила в списках уже давно, начиная с 1919 года, но автор почему-то решительно запретил мне знакомиться с нею до ее напечатания. Тот же авторский запрет распространялся также на «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров». Его ослушаться я не посмел. Но вот книга вышла и была мне подарена с надписью карандашом (чернила на скверной бумаге расплывались): «Дорогому Коле — с любовью, с нежностью и почти по-отечески. Б. П. Москва, 1922 год».

Странно даже! Но я не сразу был ею захвачен. На ее одоление потребовалась неделя. А я ведь знал уже многое из четвертой книги поэта «Темы и вариации»— не только циклы «Разрыв» и «Болезнь», но и весь пушкинский цикл. Последний я даже перевел для немецкого журнала «Osteuropäische Rundschau», издававшегося бывшим профессором Московского университета Артуром Лютером, учеником Алексея Веселовского и Стороженки. Я совершенно позабыл этот перевод... Скажу без ложной скромности. Пастернак шумно восторгался им, но вдруг заметил: «А все-таки надо, чтобы сами немцы меня переводили. А так это немного похоже на обычную нашу саморекламу. Но отошлите! Обязательно отошлите! Нет, очень хорошо! Вас можно поздравить».

Этого было достаточно для того, чтобы стихи остались неотосланными. Артуру Лютеру я написал, расходясь с истиной, что мои переводы не были одобрены автором, а потому не могут быть напечатаны. Я очень гордился этим своим «самоотверженным поступком», стихи же предал сожжению... Знал я также и другие стихотворения из «Тем и вариаций»: «Спасское», «Так начинают», «Шекспир», «Мефистофель», «Маргарита», наверное, и другие.

[20] «О, ты звезда моих очей!» *(Нем.)*

[21] **В 1965 году она умерла в одиночестве. Семья сына ждала, но так и не дождалась ее приезда на дачу в Переделкино.**

В «Маргариту», как это часто бывает, я был некоторое время особенно влюблен, читал ее моим друзьям (большинство из них было горячими почитателями Пастернака).

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей.
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя,
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

Что же так чаровало меня в приведенном стихотворении? Разъяснила эту мою завороженность только «Сестра моя жизнь». И все же (а, собственно, именно потому) на то, чтобы понять эту книгу, потребовалось усилие: еще более полный отказ от уже устоявшегося способа восприятия поэзии. Когда меня впервые заворожила «Маргарита», я только решил про себя, что невозможно было лучше раскрыть вычеркнутое Гёте восклицание Гретхен: «Und — ach! — mein Schoß!» (то есть: «И — ах! — мое лоно!»), иначе: томление ее плоти, физиологическую устремленность девушки к возлюбленному, к Фаусту. И Пастернак со смущенной радостью со мной согласился. Я сказал «со смущенной», потому что он считал меня еще желторотым птенцом, которому вовсе даже и не положено знать про это — при моей-то «чистоте почти уже юного лорда Фаунтлероя», каковую он мне продолжал приписывать.

Итак, как сказано, мне пришлось провести целую неделю в страстных усилиях, поощренных любовью к великому другу, стремясь уяснить себе не только поэзию, но и своеобычность п о э т и к и «Сестры моей жизни». Рискуя насмешить читателя, не могу не признаться, что я не только мыслью и чувствами постигал поэзию нового, совсем особого склада, а даже прибегал к вспомогательной жестикуляции как к дополнительному способу познания. Я бормотал про себя, уткнувшись носом в стену и как бы пытаясь влезть на нее, изогнув пальцы наподобие птичьих или дьявольских когтей:

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Тут мама распахнула дверь в нашу с братом комнату и ахнула, почти как Мавра в «Записках сумасшедшего», на которую — смею уверить читателя! — нисколько не походила.

— Ты совсем рехнулся, Коля! — сказала она и не так уж была далека от истины.

Я смущенно рассмеялся и произнес страшно нелюбимую ею фразу, которую я недавно избрал для защиты себя от вторжения близких (то была строчка из Хлебникова: «Я тот, кого не беспокоят»). Мама вышла, бросив мне «дурак!», впрочем, вполне благодушно.

А пришлось все-таки положиться на мысль, а не на жесты, о которых так исступленно шаманствовал Андрей Белый. И она заработала на полную мощность.

Сам Пастернак позднее (в «Охранной грамоте») говорил о «Сестре моей жизни» как о книге, «в которой нашли выражение совсем несовременные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом» 1917 года. Это не так. Наверное, он просто позабыл о первоисточнике своего вдохновения. Такое бы-

вает. Ведь не случайно же попала в книгу цитата из Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света»[22].

Один из недоброжелателей поэта, милейший (ныне покойный) В. Б. Александров, сказал в своей статье о Пастернаке («Частная жизнь»), что этот приведенный мною эпиграф стоит всей книги его стихов. Сам того не замечая, В. Александров, хоть и очень кружным путем (заячьей, так сказать, петлей), по сути-то, достаточно ясно отметил глубоко современный пафос «Сестры моей жизни», особенно внятно звучащий в таких катренах, подтверждающих правомерность эпиграфа из «Страшной мести»:

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционною копной.

...Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

Подобных стихов — смотря по наблюдениям, то тревожным и горьким, то, напротив, нежданно-оптимистическим,— в этой книге немало:

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Или в стихотворении, так и озаглавленном — «Свистки милиционеров», о таком вот свистке, пронзившем ночь, полную грабежей и смертоубийств («гуляет нынче голытьба», как сказано в «Двенадцати» Блока), о свистке «блюстителя порядка» на службе незадачливому Временному правительству, свистке, бессильном что-либо пресечь или остановить:

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывален.

И еще один пример, четко передающий атмосферу 1917 года. Ведь этот год был не только первым годом революции, но и последним годом участия России в мировой войне. И отсюда такие строки:

Но — моросило, и топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

Короче говоря, Маяковский был прав, причислив стихи Пастернака к «новой поэзии, великолепно чувствующей современность».

Но не в этом даже дело. Это-то я знал и без Маяковского, которого я так и не сумел полюбить, хотя и дивился его одаренности... Меня занимало другое: в чем неповторимость техники, иначе поэтики, Пастернака? Для меня послужи-

[22] Эпиграф к стихотворению «Распад».

ло ключом, отомкнувшим сезам его поэзии (и прежде всего «Сестры моей жизни» и всего «раннего» поэтического стиля Пастернака), такое четверостишие, особенно два последних его стиха:

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда-то очень верно и тонко сказал Ю. Н. Тынянов о поэзии Бориса Пастернака в своей замечательной книге «Архаисты и новаторы»: «У нас нет связи, которую он дает. она случайна; но когда он дал ее, она вам как-то припоминается, она где-то там уже была,— и образ становится обязательным» И — в пояснение к сказанному: «Случайность оказывается более сильной связью, чем самая тесная логическая связь».

Это выражено прекрасно, с чисто тыняновской вразумляющей пластичностью изложения. Но я не мог тогда воспользоваться его формулировкой. Во-первых, потому, что книга Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы» вышла, если я не очень ошибаюсь, только в 1929 году, а «Сестра моя жизнь» попала в мои руки в 1922-м, и, во-вторых, потому, что она меня при всей ее верности все же не вполне удовлетворяла. Я был (отчасти под влиянием Бориса Леонидовича) достаточно философски начитан и, в частности. хорошо знаком со взглядами Гердера на поэтику, детерминированную, как он полагал, обстоятельствами жизни и сложившимся под их воздействием индивидуальным мышлением художника, чтобы, подобно ему, считать поэтику прямым следствием определенного мировосприятия, пусть только смутно осознаваемого художником.

Для меня, как сказано, всего нагляднее раскрыли смысл и сущность пастернаковского мировосприятия два уже приведенных стиха:

И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Мир, «мирозданье» для Бориса Пастернака настолько божественно целостно, что к нему и к его поэзии в конечном счете лишь очень отдаленно относятся слова, будто бы произнесенные каким-то старым мнихом, благословившим на служение искусству молодого скульптора Мишеля Коломба: «Travaille, petit, regarde, aime le bon Dieu, et tu auras la grâce des grandes choses!» — то есть: «Работай, сынок, пристально всматривайся, возлюби Господа, и тебя осенит благодать его великих творений!»— хотя сам Пастернак и любил эти архаические, простонародно-мудрые слова, приведенные Рильке в его монографии об Огюсте Родене. Он часто растроганно повторял их.

Пастернак в большей мере был осенен благодатью не «des grandes choses», а скорее уж всего мирозданья, Вселенной. Высшего напряжения его лирический дар, его поэтическая мысль достигает именно там, где он сгущает (дает в лирическом сгустке) как бы весь мир (die Allwelt), вернее же — сообразно реальным возможностям искусства и человеческого мышления,— конечно, только часть, частицу непрозреваемого целого; но все же целиком, в нерасчлененном единстве воссоздавая жизнь. столь «вездесущую», что нет, казалось бы, такого неодушевленного предмета, который бы здесь не жил и не дышал: «...мол, в большом хозяйстве «все-мира» и «веревочка» и «уключина» пригодятся». Это и сообщало поэзии Пастернака, его технике, его изобразительным средствам совсем особый облик.

Выше я говорил, что «Сестра моя жизнь», мне, в частности, объяснила и мою завороженность стихотворением «Маргарита». Попробую, как это ни трудно и, наверное, недозволительно, заговорить о нем языком холодного аналитика; попытаюсь «поверить алгеброй гармонию». На языке аналитика решался говорить о поэзии и Маяковский («Как делать стихи») и даже Пастернак, в чем легко убедится читатель, прочтя пятую главу моих воспоминаний.

Итак: «Разрывая кусты на себе, как силок». Кто рвет на себе силок? Казалось бы, пойманная птица. Но — не этот соловей: он не пойман, он поет, да и кусты — не силки. «Маргаритиных стиснутых губ лиловей». И это как будто относится к соловью, вернее, к его пению. Но ведь стиснула губы все же Мар-

гарита, сдерживая нахлынь ее томящего чувства. Соловей же или, вернее, его пение — «лиловей» ее «стиснутых губ» потому, что оно «билось, щелкало, царило, сияло» и лилось из озаренных луною лилово-сиреневых зарослей. Силки «чинной девичьей сдержанности» рвутся самой Маргаритой. Потому-то и кажется, что она, «изумленной рукой проводя по глазам... повалилась без сил амазонкой в бору» (то есть раненой воительницей, настигнутой мощью своего влечения: «Und — ach! — mein Schoß!»). Все предметы и чувства, все grandes et petites choses (великие и малые творения) здесь теряют свою обособленность, каждый раз входя в сгусток лирического образа, в стихотворение, лишь какой-то стороной или деталью своей «земной реальной», биологически достоверной «малой целостности». И все же таковую не теряя из виду! Ведь «застрял», ведь «повис» в сиреневых зарослях только «шлем теневой» (шлем дописывает образ амазонки!), только тень, отброшенная головою Маргариты, а не сама Маргарита. И этой «прозы пристальной крупицей» Пастернак разом восстанавливает, казалось бы, начисто утраченную реальность поэтического образа.

Я не согласен с теми, кто усматривает «прозы пристальной крупицы» только в домашне-обиходной лексике, только в сниженной, лишенной условных литературных красот метафористике поэта, хотя последнее и сообщает особую свежесть и счастливую неожиданность его стихам. С годами эти крупицы «пристальной прозы» множились: логическая связь становилась для Пастернака обязательнее той, которую Тынянов, говоря о раннем Пастернаке, так верно назвал «случайной», но «более сильной связью, чем самая тесная логическая связь».

Связь, здесь условно-терминологически названная «случайной» (на самом же деле, конечно глубоко не случайная), включает в себя и склонявшиеся на все лады благожелательными и неблагожелательными критиками «звукообразы» Пастернака, такие, как:

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы на висли, целуются в ключицы,
В локти, в уключины — о, подожди,
Это ведь может со всяким случиться!

Или — в той же «Маргарите»:

Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался в висеть на косе.

Звукопись («эффония»)— вещь, конечно, не новая. Ново у раннего Пастернака было только то, что он ей предавался с какой-то блаженной очумелостью и радостной серьезностью, будто речь шла не о повышении технической виртуозности, а о каком-то проникновении в неписаные законы языка. Свежие рифмы Пастернака порождались заинтересованностью все теми же «неписаными законами».

У Горького в воспоминаниях о Толстом имеется замечательная запись. Вот она: «Его (Толстого. — *Н. В.*) чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой... Иногда он рассуждал: «Подождем и под дождем — какая связь?» А однажды, придя из парка, говорит: «Сейчас садовник сказал: насилу столковался. Не правда ли — странно: куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать?.. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы «просить» и «бросить»?»

Боюсь, к филологии и лингвистике все эти рассуждения Толстого не имеют никакого отношения, но к стилю толстовской прозы, к литературе вообще и к поэзии — тем большее. Эта «не-филологическая» художественная морфология языка в «звукообразах» Пастернака (особенно в «Сестре моей жизни») выпрямилась во весь свой дерзновенно гигантский рост.

Почему «поверил я алгеброй гармонию» именно на примере «Маргариты», а не на каком-нибудь стихотворении из «Сестры моей жизни»? Во-первых, потому что я придерживаюсь фактов (так это все происходило): я уже был влюблен в «Маргариту», а в «Сестру мою жизнь» еще только влюблялся. Во-вторых же, и это главное, так было легче. Поэзия «Сестры моей жизни» первична: первооткрытие поэта, а «Маргарита» уже фундирована поэтикой «Сестры моей

жизни». Если хотите, «Маргарита» х о л о д н е е стихов 1917 года и по этой причине в большей степени поддается анализу. Потому-то, опираясь именно на пример «Маргариты», «звуки умертвив, музыку я разъял, как труп».

Цитируя так обильно Сальери, я невольно обличаю себя, не как злодея, конечно! С уверенностью скажу, что за всю мою долгую жизнь я никому не завидовал, а только восторженно радовался чужой гениальности, чужому таланту. Но сальериевской, не гениальной, пытливостью я обладал в полной мере («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я»). Я знал (не менее точно, чем чувствовал это Пастернак), что четвертая книга стихов — «Темы и вариации»,— несмотря на наличие некоторых более совершенных стихотворений и, конечно, ряда великолепных исключений (циклов «Разрыв». «Болезнь» и пушкинского цикла), все же явление вторичное — по сравнению с «Сестрой моей жизнью».

Пастернак, как мало кто из больших поэтов, остро ощущал стадии своего развития и роста своего поэтического мастерства. Быть может, только я и разве что Александр Леонидович, брат поэта, помним, что четвертая книга стихов должна была называться «Обратная сторона медали», то есть обратная сторона «Сестры моей жизни», как пояснил мне автор Впрочем, в другой раз, гораздо позже, он заявил, что — за отсутствием бумаги — он писал стихи, вошедшие в его четвертую книгу, на обратной стороне машинописного экземпляра «Сестры моей жизни»— отсюда, мол, и название, которое он считал «во всех отношениях символичным».

В течение недели, потраченной на освоение книги, я не заходил к Пастернаку и не звонил ему. Он тоже не давал о себе знать. Наконец книга запела во мне, воспринятая, как должно:

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок.
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос,
К качелям бежит трюмо.
...Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырвать, как заступом клад,
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно...

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа?..

Ты спросишь, кто велит?..
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя,— подробна.

Это — и все, все! — улеглось в душе и в памяти. И тут же начала складываться в тогда еще молодой моей голове тема зачетной работы (дипломы в те годы не защищались) за весь курс обучения в Брюсовском институте. Я уже мысленно озаглавил ее — совсем не академично! — «Повестью об одной волне материи». По тогдашним вузовским нравам, еще не отрегулированным высокими инстанциями, такая работа могла вполне сойти за «революционную новацию».

Глава четвертая

Вдвойне возбужденный прочитанной и понятой — не без усилия — замечательной книгой Пастернака, а также собственным литературоведческим замыслом, я побежал пешком с Чистых прудов к нему — бульварами — на Волхонку.

— Здравствуйте,— сказал он настороженным голосом и со столь же настороженной мнительностью в лице (и то сказать, получив драгоценный подарок, я целых семь дней не давал о себе знать).

Но я с ходу же начал посильно варьировать пушкинское «ты, Моцарт, бог»... Лицо его сразу преобразилось, и — это было смешно и трогательно! — он имел вид преглупо осекшегося человека. Я сразу догадался почему: он уже приготовил совсем другую речь на тему, что, мол, мое «неприятие» его книги ничуть не поколеблет нашей дружбы. Я не ошибся.

Он уже заговорил:

— А я, сказать по правде, уже примирился с тем, что при всех наших добрых отношениях вы стихов моих не приняли.

Я, если это было возможно, еще больше полюбил его за эту детскую мнительность. Кем я был, чтобы он этим так смущался? Я весело перебил его:

— Вы читали Аверченко — «Сатириконцев в Европе»?

— Нет, не читал.

— Это и не важно! Должен признаться, я не сразу освоил язык «Сестры моей жизни». Но потом со мной случилось, как с сатириконцами. Они не знали итальянского языка и вдруг чуть ли не у могилы Данте с изумлением обнаружили, что его понимают. Все объяснилось как нельзя проще: это говорили такие же, как они, русские путешественники. Так и со мной. Сначала мне язык этой книги показался слишком смелым, слишком новым (по лексике, по системе метафор), так сказать, чужеземным. Но вдруг я понял, что это и есть язык нашей новой поэзии. Все посолено исконно русской «горячею солью нетленных речей». (Эту строчку Фета часто приводил Пастернак.) И сквозь неслыханно новое, чуть-чуть — и не так уж чуть-чуть! — проступает, как говорил друг вашего отца Серов, «хорошее старое». (Этот пассаж, включая цитаты из Фета и Серова, был, конечно, мною придуман и даже литературно отработан во время моего пешего путешествия на Волхонку.)

— Ха-ха-ха-ха! Как вы здорово это придумали мне сказать! Спасибо, Коля! — Он меня поцеловал.

Не дав ни ему, ни себе опомниться, я тотчас же заговорил о предполагаемой зачетной работе. Пусть читатель от меня не ждет дословного воссоздания моей тогдашней речи. В памяти она не сохранилась. Но основные положения моего замысла я помню отчетливо.

Мною проводилась мысль (конечно, не только мне принадлежавшая), мысль об утомлении и снашиваемости «материи поэзии» от постоянной потребности художника в «первичном», то есть в ее обновлении. Вместе с тем я полагал, что в поэзии всех времен и народов на протяжении ее развития копятся элементы, пригодные для ее преображения,— уже потому, что эти элементы представляют собой вечные свойства поэзии, «горячую соль» ее «нетленных речей». Для меня, для моего юношеского энтузиазма эти элементы метафорического мышления, в прошлом разреженные, разрозненные, лишь о ж и в л я в ш и е речь стихотворцев, в поэзии Пастернака впервые заполнили все «поле творчества». Метафору

(в прямом и расширенном значении термина) я тогда — понятно, ошибочно! — воспринимал как самое поэзию, и если я все же говорил во множественном числе об элементах, то я под этим подразумевал лишь всевозможные разновидности метафорических построений.

Для меня (по сей день не знаю, не завирался ли я) даже такие простые пушкинские строки, как:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой —

были метафоричны. Я утверждал, что слово «край» здесь, благодаря соседству с «берегами отчизны дальной», обладает двояким значением: к р а я — с т р а н ы и к р а я — п р е д е л а (предельной черты, морской грани), почему в этой игре смысловых оттенков и возникают два противостоящих друг другу берега, две точки — отплытия и намеченной цели [23].

Рядом с этим, быть может, и сомнительным примером я говорил и о развернутых риторических метафорах Пиндара, которые — при очень слабом знании греческого языка — хоть и приводил в подлиннике, но почерпал в трудах фон Виламовиц-Мёллендорфа и, шарлатанствуя, переводил с его же немецких переводов; говорил я и о метафорах Шекспира, таких, как «проклятие, лежащее в пару», где отвлеченное понятие, сочетаясь с буколической «пристальной прозой» (этим выражением я, естественно, не мог воспользоваться, оно возникло в позднейшем послании Пастернака к Ахматовой), нежданно обретает небывалую мощность; упомянул о Гёте, мыслившем и ощущавшем мир как движение и как движение же поэтически его воссоздававшем. Ради этого молодой Гёте проделал колоссальную работу над немецким языком (в свой страсбургский период и в период его «Больших гимнов»), неожиданно соединяя наречие с деепричастием или глагол с необычным предлогом, благодаря чему действие, выражаемое глаголом, получало новую направленность, что опять-таки повышало динамичность, движение, подвижную устремленность образа, к примеру, глагол entgegenglühen (рдеть навстречу — в одно слово). Позднее я прочел сходное у столь популярного в свое время Фридриха Гундольфа, но это не было и тогда моим собственным «оригинальным вкладом» в историю и теорию литературы. Мне посчастливилось познакомиться с этого рода наблюдениями над языкотворчеством великого поэта, содержавшимися в докторской диссертации одной умной женщины; она была подписана немецким именем и немецко-еврейской фамилией (ни названия ее труда, ни имени автора я, к сожалению, не могу припомнить — Гундольф же высокомерно на нее не сослался). Замечу только, термин «метафора» я недозволительно расширял, теперь бы я воспользовался более общим термином т р о п ы, что по-гречески означает повороты (обороты поэтической речи и поэтического вдохновения).

Но потом я перешел к тому, что меня и поощрило избрать тему — «Повесть об одной волне материи». Я высказал приблизительно то, что мною было сказано при разборе стихотворения «Маргарита». Привел формулировку о совсем особой поэтике Бориса Пастернака («раннего», конечно), об отличительном характере его метафористики: потере всеми предметами — при их вхождении в «лирический сгусток образа» — своей обособленности, своей «вырванности» из нерасчлененной целостности мира: они входят в него, как я уже сказал, лишь какой-то стороной или деталью своей биологически достоверной «малой целостности», — словом, о том, что я впервые назвал в этой беседе под прямым впечатлением от поэзии «Сестры моей жизни», с ее «багрянцем малины и бархатцев», «взаимным опылением выразительных деталей». Этот особый способ воссоздания целостного образа стихотворения я ставил в прямую зависимость от нового мироощущения, владевшего поэтом, его стремления говорить как бы от имени всего зримого мира и непрозреваемой вселенной, а также от следствия такого мироощущения — новой манеры воссоздания мира не в зримой ограниченности, а в безграничной целостности — «целиком».

И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мироздания.

[23] **Об этом я высказался на семинаре М. О. Гершензона, и он со мной согласился, педагогически подняв указательный палец.**

В отличие от метафористики, знакомой нам из поэзии прошлого, я определил метафористику Пастернака как панметафористику, в которой синтезируются и метафористика Шекспира, и динамизм Гёте, и метафорическая емкость Ленау, четверостишие которого

Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal' ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge[24].

поставлено эпиграфом к «Сестре моей жизни», и «пейзажи души», и «исторические виде́ния» Верлена, и идущий от Гёте пантеизм Тютчева, и игра Пушкина на смысловых оттенках одного и того же слова. У Пастернака — в тогда еще не напечатанном стихотворении:

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.

Получалось, хоть я этого и не думал, что вся предшествующая поэзия только и делала, что подготовляла поэтику Пастернака,— мысль, конечно, еретическая даже в тогдашних моих глазах.

И тут меня Пастернак огорошил своей реакцией на мой затянувшийся монолог:

— Коля, вы, конечно, наговорили массу умных и тончайших вещей. Более того, то, что относится к собственно характеристике моей поэтики и, допустим, поэзии, меня поразило отчетливой зрелостью. Такой аналитической зоркостью меня еще не баловали, да я и сам хорошенько об этом не думал. Но — тем лучше! Если б скромность моя не оскорблялась, я бы сказал, что она верна. Что-то такое, должно быть, и мне кумекалось на этот счет, как ни стыдно и ни нескромно в этом сознаваться Но я вас всегда считал таким весело-рассудительным и трезвым при всей ко мне приязни, что даже опасался, что вы не примете моего сумбура. И вдруг, пожалуйста, я — чуть ли не вершина поэтической Хеопсовой пирамиды. Такое кликушество Белому под стать, а не вам! Вы просто ставите и меня и себя в дурацкое положение. Это Бальмонт о себе сказал: «Предо мной все другие поэты предтечи», а не я. И потом, а это главное, откуда вы знаете, что я хочу весь мой век играть деталями? Может быть, это слабость мысли, а не сила ви́дения. Может, нам всем надо завидовать Толстому, который, отбросив всякую повествовательную изобразительность (хотя бы в «Люцерне»), просто выносит свои приговоры. Это тоже входит в искусство, в литературу, когда душа переполнена стремлением к добру и под добром понимает что-то определенное, а не... «взгляд и нечто». Вы вправе спросить, а вы-то сами? То есть я-то сам? Почему я не пишу «Люцерна»? Но это совсем другой вопрос...

Он замялся.

— Не в РОСТе же работать, куда меня звал Маяковский?

Снова пауза.

— Видите, поэзия прежде всего должна быть поэзией. Высказывать хоть что-то, хоть пустячки, но — не по чужим прописям Они никому не нужны. Никто не спросит, на каком масле готовила кухарка, лишь бы было вкусно. Без ложной скромности, я пока пеку, быть может, и съедобные ватрушки — ценою каких утрат и отречений, этого мы еще не знаем Поэзия вбирает в себя возможное в наше время, в любое время. «Где бы русский мужик не стонал» тоже бралось из воздуха, а не из статей Чернышевского (впрочем, и из них, конечно).

А вы воспарили в сферы истории и, выдвинув концепцию, обеднили жизнь поколений, а сколько их уже сошло в могилу с другими словами, с другими убеждениями и верой во что-то. Бойтесь концепций! Вы меня сделали завершающим камнем поэтической арки. Это — иллюзии гегельянства, над которыми смеялся

[24] Бушует лес, по небу пролетают
грозовые тучи,
и в движении бури мне видятся,
девочка, твои черты. *(Нем.)*

Коген. А в ОПОЯЗе Шкловский (или кто там еще?) толкует о «приемах», о «развертывании сюжетов» и так далее. Это тоже концепция, и предурная. Как будто писатель все что-то мастерит, клеит и расправляет пружины, а не ловит дары Терека жизни. Это все у них от Маяковского с его смешным предпочтением (себе в ущерб и себе вопреки) любого жалкого человеческого рукотворства — жизни или уж по крайней мере природе.

Я вас слушал с увлечением тонкостью ваших наблюдений, вашей молодой эрудицией, превысившей мои обрывки знаний, удивлялся вашему аналитическому таланту. Нет, я не золочу пилюли! Но ваша концепция несостоятельна. Простите, что я вам так решительно это говорю. Но мне хотелось бы уберечь вас от завирания. Оно губит способности, даже талант. А им вас господь не обделил.

Я был раздавлен. А ведь в начале встречи все было так хорошо! Но я тотчас же с ним безоговорочно согласился.

Тем более я не понимаю, почему отнюдь не в первом письме из Берлина (датированном 23 ноября 1922 года) Борис Леонидович счел нужным возвратиться к тогдашнему нашему разговору. «Не отступайте,— писал он,— от той работы, которую Вы — вот это, наверно, напрасно!— задумали представить в качестве зачетной! Я не знаю, какими словами заклясть Вас, чтобы Вы уверовали в их настойчивую нешуточность. Сохрани Вас Бог отложить хоть на время ее или в ней усомниться, почерпнув для того сомнения в современном окружении, только этим и богатом. Меня и тогда Ваша заявка поразила исчерпывающей полнотой и цельностью расположенья тем. Мне не хочется назвать ее удачной комбинацией — это построение настолько напрашивается само собою, что его дедуктивная убедительность смутила меня более всего другого. Мне показалось странным не то, что я так плохо знаком с метафористикой Шекспира или лирикой Гёте, но то, как это я, столь фатально связанный особенностями и судьбами с метафорой, так ни разу и не прошелся вверх по ее течению, о каковом верхе говорит любая ее струя силою своего движущего существования. Так называете этот предмет и Вы, говоря про «Повесть об одной волне материи» и пр. Мне не хочется говорить обо всем этом по существу: Вы знаете, как круг этих мыслей мне близок. С гётеанским происхождением Ленау и Тютчева надо Вас поздравить как с открытием, уличившим меня в невежестве, что, может быть, немного ослабляет силу такого поздравления. Главное — не отступайте, пока не будут сцеплены и сведены в труде все ветви затронутого Вами мира».

Что все это значило? И притом — ни слова о его былых возражениях! А в их основательности я был вполне уверен. Очевидно, он призывал меня к пересмотру моей еретической концепции при сохранении дельных и ему близких мыслей. Быть может, думаю я теперь, ему хотелось также — при той подавленности, в которой он пребывал в чужой ему эмигрантской среде, где он судорожно хватался за посетившего Берлин Маяковского, чтобы я написал о нем то, что ему пришлось по сердцу из моих о нем соображений Но я не последовал его совету. По двум причинам: во-первых, я был так «испорчен немцами» (отчасти с помощью Бориса Леонидовича), что просто начисто разучился мыслить без широких историко-культурфилософских построений и, отказавшись от старой концепции, не видел, чем мог бы ее заменить: а во-вторых, потому что уже трудился над совсем другой темой — сопоставлением «Театрального призвания Вильгельма Мейстера», не оконченного Гёте первого варианта романа, с окончательным его вариантом — «Ученическими годами Вильгельма Мейстера».

Работа была солидная — шесть листов, выдержанных во вполне академическом стиле. На семинаре по Гёте я кратко изложил основные положения работы, заслужив весьма опасный по тем временам шутливый комплимент благодушного Григория Алексеевича Рачинского: «Вы красноречивы, как губернский предводитель дворянства».

О Пастернаке я так и не написал ничего при его жизни (кроме отзыва на его перевод «Гамлета», статейки о переводе «Фауста» на английском языке в журнале ВОКСа да нескольких абзацев о том же в предисловии ко второму изданию его перевода «Фауста»).

Каждый раз, когда я порывался писать о его оригинальном творчестве, наступала полоса в его литературной жизни, когда говорить о нем не полагалось. Ни-

чего фатального в этом не было: вся его писательская деятельность была полна злоключений.

Подошел час разлуки — перед отъездом Пастернаков в Ленинград, а оттуда морем за границу. Вечер накануне отбытия в памяти почти не отложился. Partir est un peu mourir[25], говорят французы. Настроение у остающихся — сестры Ирины, Александра Леонидовича, Анисимовых, Локса, Буданцевых — было похоронное. Блестящая веселость не покидала только Боброва: он неистощимо острил. Борис Леонидович был возбужден, хозяйка дома — не в своей тарелке. «Эпоса» не было, преобладал «надрыв в трактире»...

Потом Борис Леонидович сел за рояль, стал импровизировать, как мне показалось, чудесно, затем сыграл свою юношескую «Поэму в нонах». И вдруг воскликнул:

— Что, если мои литературные затеи — ерунда, а э т о — настоящее! Теперь уж не спросишь Скрябина, а когда он был жив, я ему не поверил.

Позднее он подарил свои музыкальные сочинения Генриху Нейгаузу, и тот даже хотел их исполнить на бис, но встретил решительный отказ Пастернака: «Нет, нет! Это было бы ложной сенсацией! Нельзя играть несостоявшегося композитора». Те, кому посчастливилось читать «Охранную грамоту» (у нас ее долго не переиздавали), знают историю отречения Пастернака от музыки. В архиве покойного Локса сохранилось письмо, в котором поэт говорит, как мучительно для него было «самоотлучение от музыки». Привожу из него отрывок:

«В каждом человеке — пропасть задатков самоубийственного. Знал и я такие поры, в какие все свои силы я отдавал восстанию на самого себя. Этим можно легко увлечься. И это знаю я. За примерами далеко ходить не приходится. В одном из таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация, отнятие живейшей части своего существования. Вы думаете, редко находят на меня теперь состояния полной парализованности тоскою,— когда я, каждый раз все острей и острей, начинаю сознавать, что убил в себе главное, а потому и все? Вы думаете, на самом деле это не так и в поэзии — мое призвание? О нет! Стоит мне только излить все накипевшее в какой-нибудь керосином не просветленной импровизации, как жгучая потребность в к о м п о з и т о р с к о й б и о г р а ф и и настойчиво и неотвязно <...> предъявляет свои права. Опешенность перед долголетнею ошибкой достигает здесь той силы и живости, с какой на площадке тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома ключах или о печке, не переставшей гореть в минуты выезда. Я бегу этих состояний как чумы.

Содеянное — непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбе и потом отменяешь их, уверенный в возможности их восстановленья,— годы заигрыванья со своим даймоном,— миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра 27-й день моего рожденья».

Я так перепился, что пришлось переночевать у Пастернаков. Остался у них и завтракать и обедать. Вдруг утром, то есть н а ш и м утром поздно проспавшихся людей, часов в двенадцать,— звонок из секретариата председателя Реввоенсовета, то есть Наркомата обороны. Л. Д. Троцкий-де просит к себе Бориса Леонидовича Пастернака в час дня «на аудиенцию»— так и сказали. Троцкий писал тогда очерки о советских писателях и поэтах, каковые им печатались в «Правде» (по два подвала на каждого литератора, будь то Маяковский, Есенин или Безыменский). Ими принято было тогда восторгаться как очерками, будто бы отличавшимися независимостью мысли «большого человека». На самом деле это были самоуверенные, щеголевато-фразистые «эссейи», пустопорожние до тошноты. Теперь очередь дошла до Пастернака.

Он спешно брился, лил воду на еще хмельную голову, полоскал рот остывшим черным кофе, синий пиджачок был вычищен и отутюжен, надета белая подкрахмаленная рубашка. Но голова звенела по-прежнему. Прислан за ним был мотоцикл с коляской (такие были времена). Мы дожидались его возвращения.

Он вернулся домой уже к двум часам. «Аудиенция» продолжалась минут

[25] Уезжать — значит на малый срок умирать *(франц.)*.

тридцать. Пастернак после взаимного «здравствуйте» с прибавлением имен и отчеств начал так:

— Простите, я к вам после прощальной ночной попойки.

— Да, вид у вас действительно дикий,— безапелляционно отчеканил нарком, любезно оскалив свои челюсти. Предотъездная взбудораженность Пастернака при полном отсутствии привычного уже тогда подобострастия ему и впрямь должна была показаться неслыханной дикостью...

Далее Троцкий спросил:

— Скажите, а вы правда, как мне говорили, идеалист?!

— Да, я учился на философском отделении Московского университета, а потом — не совсем потом! — у Когена в Марбурге. Чудесный городок с густым отстоем старины. Я и в нем поживу хоть день-другой во время моей побывки в Германии.

— Но лучше, если у вас в голове не будет этого «густого отстоя».— И Троцкий в «доступной форме» изложил Пастернаку «свою» точку зрения на идеалистическую и материалистическую философию и патетически, с необыкновенной либеральной «широтой и независимостью мысли» (как в парижском кафе социалистов), воскликнул:— Не так уж даже важно, кто прав, кто виноват! Важно, что исторический материализм Маркса взят на вооружение социальными силами, способными преобразить мир.

— Я вас понял.

— Я вчера только начал продираться сквозь густой кустарник вашей книги. Что вы хотели в ней выразить?

— Это надо спросить у читателя Вот вы сами решите.

— Что ж! Буду продолжать продираться. Был рад нашей встрече, Борис Леонидович! До следующего свидания, когда вы вернетесь в Страну Советов.

— Я тоже был рад, и очень И — обязательно увидимся!

Троцкий, видимо, так и не «продрался сквозь густой кустарник» поэзии Пастернака. Очерка о Пастернаке нет в его книге. И они больше не увиделись. Так оно и лучше, конечно!..

На вокзал я не поехал. Борис Леонидович этого не захотел:

— Коля, поймите, я уже отбыл. Все уже нереально. Лучше здесь обнимемся на прощанье!

Я остался в Москве. Без него. С ощущением вдруг наступившей пустоты.

Я постоянно чувствовал свое духовное одиночество, хотя и встречался с добрыми друзьями, с моей будущей женой, к которой окончательно перебрался только ранним летом 1923 года, с сестрой Ириной Николаевной и ее мужем и, уж конечно, со всеми членами моей сильно поредевшей семьи. Но внутреннюю непрерывную беседу, тогда одностороннюю, я все продолжал с моим великим другом, как и потом, когда наши встречи стали более редкими, а с конца 1956 года и почти вовсе прекратились.

Эту беседу я продолжал вести и после его смерти — в первое время по ночам, обливаясь слезами, а позднее спокойнее, почти как прежде. Часто вижу его во сне Как всегда, ему радуюсь, хоть и не верю в реальность его прихода, помня и сквозь сон, что он умер. И все же он в двух шагах от меня и сразу же начинает говорить, ничем не обнаруживая своей непричастности к нашей земной жизни Он удивленно вглядывается в мерцание свечей на рождественской елке и вдруг произносит, как будто столкнувшись с новым чудом божьего мира: «Поглядите, Коля, на эту нежданную примесь электрического света Видите, как по ветке пробегает зеленый зайчик? Это от глазка (он, наверное, имеет другое, техническое, название) на Лёничкином радиоприемнике».

И правда, на елке играет дрожащий зеленый зайчик. И не один, их целая стайка. Да и не на одной только ветке, а по всем ветвям обряженного дерева, споря со светом восковых церковных свечей. Я задыхаюсь от безбрежного счастья и обожания и, как всегда, на себя досадую за то, что без его указки ничего этого не видел. Но он не замечает моих растроганных слез. Это потому, что он при жизни никогда не видел меня плачущим, догадываюсь я во сне. С

вдумчивой, почти суховатой деловитостью художника-природоведа он продолжает: «Но игрушки не шевелятся и не кружатся вокруг своей оси от этой второй иллюминации: ей недостает потребного воскового тепла. Только бабочки сдуру вьются вокруг электрической груши, не достигая своей самоистребительной цели Им же во благо. А впрочем, как знать?..»

Я порываюсь его обнять, но он глядит на меня с насмешливо-отчужденной улыбкой: «Не старайтесь, Коля! Этого еще никому не удавалось». С холодящим ужасом я понимаю, ч т о он имеет в виду, и все же пытаюсь к нему прикоснуться Его черный пиджак в чуть более светлую клеточку вполне осязаем. Но сам он весь как-то оседает, теряет равновесие и... вдруг его н е т. Уверясь, что и это только сон, я просыпаюсь как от резкого толчка. Меня мучит отчетливость сновидения и изнурительная устойчивость ночных обманчивых грез. Светает... Но в изношенном, искрушенном сердце все продолжает болезненно отзываться его ночной дозор. Неужели же прав Мартын Задека и видеть во сне покойников — только к морозу? Но на дворе бабье лето. Туман растворяется в тепле проглянувшего солнца. До морозов еще далеко...

Из тоски по теперь уже навсегда утраченному с ним общению и возникли мои «Воспоминания и мысли».

Иногда, когда наши встречи уже поредчали. Борис Леонидович восклицал за ужином: «Пью за ваш голос, Коля!» И я тоже мысленно пью за его голос, когда во мне начинают звучать с отчетливостью звуковой галлюцинации его некогда обращенные ко мне слова. Не эти, пригрезившиеся во сне.

И вдруг вскоре после отъезда Пастернаков выходит его повесть «Детство Люверс». Она понравилась старику Вересаеву, редактору альманаха «Наши дни». Получил я ее по почте из редакции с вклеенной на первой странице повести записочкой его умельченным почерком: «Бесценному Коле — чтобы не скучал. Б. П. Москва» (без даты). Какая-нибудь сотрудница из его поклонниц выполнила просьбу автора.

Я, как это ни смешно, устроил себе своеобразный праздник: пошел с урока (на Самотеке) в бывшее кафе Трамбле на Петровке, тогда принадлежавшее какому-то нэпману, но хранившее старые традиции можно было, вооружившись стаканом кофе, бутербродом или пирожным, читать сколько душе угодно — никто тебя не изгонял Я начал читать, почти как Женичка Люверс в книге: «Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала... То .. принималась кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик эхо. Жене пришлось откашляться с немого надсада гортани».

Так читал и я «Детство Люверс» с тою существенной разницей, что ясно сознавал, что со мною творится, проверяя по тому, как сотрясалась моя душа, и по пробегавшим по спине мурашкам, каких высот искусства достигал автор повести. Ничего не буду здесь говорить ни о ранней, ни о поздней прозе Пастернака. Ограничусь признанием, что его повесть обдала меня брызгами той же свежести и творческой смелости, как и «Сестра моя жизнь». Сила и объем его таланта меня наполняли безмерной радостью и гордостью за него. Навсегда запомнилась открывшаяся (из окна вагона) картина Урала:

«То, что она (Женя.— *Н. В.*) увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз, широко и отлого и, измельчав, сгустившись и заиглясь, круто обрывался, совсем уже черный А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и песком сброшенное вниз в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там, и та-а-ам вон; только его.

— Это — Урал? — спросила она у всего купе, перевесясь».

Или другое место, хотя бы то, где «бельгиец, но во французском подданстве» Негарат стал объяснять Жене, «и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия,— что эта воинская повинность за штука... И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбурге.

Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил».

Через несколько дней я получил письмо Бориса Леонидовича из Ленинграда со вложенной вырезкой из местной «Литературной газеты» превосходной статьи М. А. Кузмина о «Детстве Люверс». В ней содержались такие строки: «За последние три-четыре года «Детство Люверс» самая замечательная и свежая русская проза. Я нисколько не забыл, что за это время выходила эпопея Белого и книги Ремизова и А. Толстого». Сопоставляя «Детство Люверс» с другими произведениями, посвященными теме детства (как то с «Детством Никиты» А. Н. Толстого, с «Младенчеством» Вячеслава Иванова и «Котиком Летаевым» Андрея Белого), М. А. Кузмин справедливо утверждал, что «интерес повести Пастернака не в детской, пожалуй, психологии, а в огромной волне любви, теплоты, прямодушия и какой-то целомудренной откровенности эмоциональных восприятий автора».

Дойдя по выходе из кафе до Театральной площади, я пошел не в сторону Чистых прудов, а направо, к храму Христа Спасителя, чтобы продефилировать мимо дома, им покинутого, а затем сесть на трамвай «А». И вдруг на углу Пречистенского (ныне Гоголевского) бульвара был окликнут Константином Григорьевичем Локсом.

— Что это вы идете, не глядя по сторонам, и даже не замечаете, как барышни строят вам глазки?

— Здравствуйте, Константин Григорьевич! Как вы живете?

— Вот зайдите ко мне сейчас и увидите. Кхе! Никотин! А вы все еще в стане некурящих?

Я зашел к нему. Локс сразу заговорил о Пастернаке.

— Да, я его знал еще с университета. Вам будет интересно.

Этот умнейший человек был плохим рассказчиком: все мямлил, хмыкал, коротко откашливался, похихикивал, а иногда быстро высовывал необычайно тонкий язык мудрого змия. И тут же, оправдывая мелькнувшую ассоциацию, выпаливал после ленивой запинки меткое, точно взвешенное суждение, иногда очень злое...

Но вот Локс заговорил о Пастернаке и сразу преобразился. С лица сбежали вольтеровски-мефистофельские складки, оно стало неожиданно гладким, почти античным, глаза глядели задумчиво и излучали осторожную доброту.

Постараюсь свести воедино сказанное им во время нескольких встреч. Его желчность нуждалась в разрядках: в поношениях многих лиц, имя же им легион. Говорить, ограничившись одним лишь дорогим ему предметом размышлений — Пастернаком,— он не умел. Для этого он был слишком больным и навсегда раздраженным человеком. Все, что я заставлю его сказать на этих страницах, им было сказано в действительности, но от его «жестоких интермедий» я избавлю и себя и читателя.

Иными словами, н е б ы л о такого монолога, но в лабиринтах его реальных бесед он не затерялся. Я его реконструировал и запомнил. И для меня благодаря встречам с Локсом образ юного, мне незнакомого Пастернака, студента и начинающего поэта, все же сложился с отчетливой наглядностью.

Вот он, этот кропотливо восстановленный монолог.

«Первый раз я слышал стихи Бори у Анисимовых. Он сидел возле хозяйки дома и нашептывал ей смешные экспромты, которые ее, видимо, очень забавляли. Решив, что пора приступить к священнодействию, Вера Оскаровна встала и заявила о своем желании слушать стихи. Первым читал с обычной кашей во рту Юлиан — переводы из Рильке; второй выступила сама хозяйка дома. Очередь дошла до Пастернака. Он долго отмахивался, но потом все-таки прочитал ряд стихотворений в духе «Близнеца в тучах». Все молчали.

— Замечательно! — вразрез с настроением слушателей воскликнула Вера Оскаровна.— Прочтите еще!

— Но мне бы хотелось...

— Читайте, читайте!

Он прочел.

— Что же вы молчите. Борис Александрович? — обратилась она к Садовскому [26].— Вам нравятся стихи? — Она была и хотела быть нашим enfant terrible, если даже не enfant gâté [27].

— Ничего не могу сказать,— корректно отчеканил Садовской.— Все это до меня не доходит.

Вовсе того не желая, Садовской затронул самое больное место у Бори. Борис оторопело смотрел на своего высокомерного тезку. Он верно, уже спрашивал себя: не бросить ли поэзию, как раньше музыку? Сконфуженно что-то пробормотал, а потом заговорил громко и взволнованно:

— Да, да! Я вас понимаю Может быть, если б я услышал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-то в этом роде, но...— Тут он окончательно сбился, стараясь в философских терминах, русских, немецких и древнегреческих, сказать нечто в защиту таких стихов вернее. «чего-то, что я хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать» и так далее. После этого он убежал.

— Ну вот! Вы его и вспугнули.

— Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне, Вера Оскаровна,— заявил Б. А. Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня. «Чего искать,— говаривал он.— Уже все найдено. В стране, где были Пушкин и Фет, раз и навсегда установлено, что́ такое поэзия».

Я ничем не мог помочь Боре, продолжал Локс. Пока я понял только одно: перед нами подлинное, ни на что и ни на кого не похожее дарование. Но тогда (не теперь, когда он уже столько сделал) дороже его стихов был он сам. Это означало, что его духовный мир еще только становился, предугадывался. Я понял и его манеру говорить. Это было непрекращающееся творчество, еще не отлившееся в форму и потому столь же гениальное, сколь часто (даже чаще!) непонятное. По той же причине для него — вплоть до «Сестры моей жизни» — писание стихов было не только счастьем, но и трагедией. Только в «Сестре моей жизни» он мог хладнокровно сравнительно с ранними стихами сказать уже как бы со стороны:

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный...

И так далее... Но в раннюю пору слова лезли откуда-то из темного хаоса первичного. Часто он и сам не понимал их значения и лепил строку за строкой в каком-то отчаянном опьянении — жизнью, миром, самим собой. Мучение заключалось в необходимости выразить себя не в границах установленных смыслов, а помимо них и вопреки им. Но преодолевать то, что сложилось в человеческом сознании веками, особенно в эпоху рационализма, было трудно, если не невозможно. Отсюда и его панметафоризм, как вы изволили выразиться на вашем благовоспитанном греко-немецком философском языке, очень умно и мило. Кхе, кхе!»

NB! Здесь я должен сказать, что уже однажды мне подпустили такую шпильку. И не кто иной, как Борис Леонидович. Он сказал после того, как я бегло перевел одно его запутанное, так им и не досказанное рассуждение на опрятный и точный язык философской эстетики, чем он был удивлен и даже несколько задет: «Про вас можно сказать то, что Коген сказал о Шеллинге «Он г о в о р и л то, о чем Фихте еще только д у м а л». Вы прекрасно расшифровали мою сумя-

[26] С а д о в с к о й Борис Александрович (1881—1952) — поэт, прозаик, критик. *(Прим. ред.)*

[27] Ужасный ребенок, избалованный ребенок *(франц.)*.

тицу». Это могло звучать как комплимент, если бы я не знал, как несправедливо, презрительно-высокомерно отзывался Коген о Шеллинге.

Но Пастернак любил мою трезвость. Это я тоже знал. Видимо, потребность поэта в непоэте — более общий родовой признак жизни всякого поэта (не только романтика), чем Пастернаку это казалось. Он и сам чаще говорил со мной трезво. Иногда я догадывался, что он (в начале дружбы особенно) даже готовился к разговору со мною, как и я, случалось, к разговору с ним. Это меня, конечно, трогало, но и чуть-чуть огорчало. Глупо, конечно, но я был тогда еще двадцатилетним мальчишкой с ложным самолюбием. Последнее вполне оправдывало его надпись на книге. «С любовью, с нежностью и почти по-отечески». Я должен был бы радоваться тому, что Пастернак не вел со мной на меня не рассчитанного монолога и что наши беседы все же были диалогами, а не пародией на пушкинское «глухой глухого звал на суд судьи глухого», как то фатально получалось у него с Эренбургом. С людьми типа Буданцева, хорошего малого, он и вовсе не пускался в серьезные разговоры, а просто как-то загадочно чудил, чем доставлял им (и себе) немалое удовольствие. Так он почти всегда говорил с женщинами или с Буданцевым, с Фадеевым, почему они считали, что у него есть «что-то от Гейне».

«Таким же непрерывным творчеством были и выступления Бори на философских семинарах,— продолжал Локс.— Где его было понять профессору Челпанову с его «экспериментальной психологией». Помню, перед отъездом к Когену в Марбург Борис счел нужным (это ему, наверное, внушил Леонид Осипович или мама) зайти к Челпанову. Он прибежал от него весь взъерошенный: «Вы понимаете, Костя,— кричал он,— Челпанов не сказал мне ни слова, но я чувствовал, что этот человек не имеет никакого отношения к философии!»

Коген его понял и даже предложил ему остаться в Марбурге с перспективой получить доцентуру в Германии. Бог спас его от такой напасти. Уже потому, что ему недоставало бы стихии русского языка, которым он опьянялся. Но не только Коген его понимал, охотно слушал его и профессор Грушка, читавший нам о Лукреции с поразительным знанием материала и с большим вкусом. По парадоксальному мнению Грушки, Лукреций излагал философию счастья — эпикурейство — как трагическую проблему. Борис слушал его тоже с каким-то выражением трагического счастья».

Потом Локс заговорил о государственных экзаменах которые Борис Леонидович называл «экзальтацией недосуга». К этому выражению прибегает и герой его неоконченной «Повести», написанной уже в конце 20-х годов, Сережа.

Запомнились из длинной, только такому «старому студенту», как Локс, интересной истории этих экзаменов два забавных случая с Борисом Леонидовичем. В программу входила и так называемая патристическая («святоотческая») философия и, в частности, богословское учение Тертулиана. Я-то его отлично знал из книги, тогда еще рукописной, моего бывшего гимназического учителя (в 1922 году профессора) Петра Федоровича Преображенского, ученика историка Виппера, «Тертулиан и Рим» Но Локс и Борис Пастернак почти не знали патристики. «Боря,— со страхом спросил Локс,— что вы будете делать, если вас спросят о Тертулиане?» «Я скажу „Credo quia absurdum"[28],— смеясь, ответил он,— и что-нибудь навру» Через минут восемь он говорил уже о Тертулиане и произнес обещанное «Credo quia absurdum». «. .est».— поправил его скрипучим голосом сидевший рядом с экзаменатором, профессором Лопатиным, ныне покойный профессор Соболевский, недобравший всего несколько месяцев до круглой сотни: он не потерпел опущенной связки. Экзамен прошел отлично. Видимо, экзаменующийся все же кое-что запомнил из статейки Владимира Соловьева в энциклопедии. (Пастернак очень ценил его краткие, с исчерпывающей ясностью написанные энциклопедические статьи.)

И второй курьез. Гуляя по Пречистенскому бульвару накануне экзамена по русской истории, Пастернак купил шоколадку На обложке был изображен Шаляпин в роли Бориса Годунова Ночью он перечитал все, относящееся к этому разделу отечественной истории, вполне уверенный, что шоколадка с Шаляпиным досталась ему не случайно. На экзамене ему выпал билет «Смутное время».

[28] Верую, ибо это абсурдно (*лат.*).

Как верный друг Бориса Леонидовича Локс любил не только его, но и его семью: брата Шуру гимназисток-сестер, его родителей. Верность была неотъемлемой чертой Константина Григорьевича. Благодаря Локсу я несколько проник во взаимные отношения членов этого мне хоть и незнакомого, но близкого по дружбе с Борисом Леонидовичем семейства. Шуру Константин Григорьевич любил просто как младшего брата Бориса и отчасти своего младшего брата, ценя в нем свойство души которое было и его свойством,— безоговорочную порядочность О девочках ничего не говорил, а только ласкательно произносил их имена «Лида! Женя!» — с какой-то нежностью в голосе Об обстановке в квартире Пастернаков отзывался как о «безличной, предполагавшей, очевидно, другую, внутреннюю содержательность» О жене художника — наверно, очень точно, но уж слишком эскизно — сказал, что она сидела за столом и «рассеянно» разливала чай Она была замечательной пианисткой, от нее музыкальность передалась и ее сыну.

Больше всего «внутреннего, духовного содержания», как он выразился, было в Леониде Осиповиче, этом «внешне суровом иногда, казалось, даже черством человеке» Отзываясь о нем Локс любил вспоминать, как тот показал ему и всем, кто был при этом, «убеждающий пример искусства» Семья Пастернаков жила в снятом на лето большом помещичьем доме со всеми приятностями усадебного быта — прудом, парком, несколькими десятинами леса, службами и так далее (хозяева жили в другом имении) Шура (Александр Леонидович) думал поступать в Училище живописи и ваяния и набрасывался на всех приезжих с просьбой дать с себя нарисовать портрет Этой чести подвергся и Локс. Портрет получился неплохой, но это все-таки не был Локс. Леонид Осипович молча взял из рук сына карандаш и четырьмя штрихами, точно выбранными из бесчетного числа возможных, превратил не Локса в Локса Борис Леонидович, желая порадовать отца (он был почтительным сыном), воскликнул. «Это апеллесова черта в действии!» Отец посмотрел на него насмешливо.

Любя всю семью Пастернаков со стоической верностью, Константин Григорьевич был достаточно трезв, чтобы понять, что «Боре в семье тяжело» Он был привязан к своим близким, но предвидел, что ему неизбежно придется их огорчать. Его в семье уже считали музыкантом, композитором, его горячо одобрил Скрябин, а он изменил Музыке. Он увлекся философией был лестно для родителей замечен Когеном, но вот стал отходить и от нее. Поэзия же, его стихи вызывали сомнение не только у отца, но и у самого поэта.

В чем же его призвание? Он тянулся к поэзии вопреки своим сомнениям. Она его влекла в свой «бурелом и хаос». Но когда однажды при Локсе Леонид Осипович, почитатель и друг Толстого, заговорил о современной литературе, насмешливо посматривая на сына, а Шура благодушно смеялся острым шуткам отца, прямо метившим в поэзию старшего брата, Борис вспыхнул и вдруг побледнел. Но заметил это только Локс, а не его близкие Не потому ли по сдаче государственных экзаменов Борис Леонидович поселился отдельно от семьи в крохотной комнатке в Лебяжьем переулке,

Словом, из всего сказанного видно, что Локс не только не был плохим рассказчиком, а, напротив, отменнейшим и только из русской интеллигентской застенчивости никак не решался предать своим отрывочным замечаниям должную форму. Позднее в его книге «Повесть об одном десятилетии...» и злость его и доброта встали на свое место.

Около года Борис Леонидович блуждал по Германии Жил в Берлине, побывал в Мюнхене Веймаре и Марбурге Изредка писал мне письма и открытки, все больше грустные (Почти все они затерялись.) В одном из последних писем, к счастью, сохранившемся, имеются такие строки «Вообразите, что вестями и размышлениями перекинулся я с Вами дважды и что в первый раз я описал Вам, как, не могши нарадоваться на Ваше первое письмо и на вложение[29], я прочел их Е. В., делясь с нею, как своею кровной радостью, впечатлением от того и другого Это в первом письме А во втором, во втором — рассказал Вам об одном эпизоде, когда в результате длинного ряда «гражданских» свар и потасовок, без

[29] Речь идет о присланных мною стихах.

которых эмиграции, очевидно, не жизнь, я, по всеми молчаливо прощенной мне детскости и жизненной незначительности, этою стихией пощаженный и оставленный в стороне, был внезапно ею замечен, потревожен и воззван к деятельности. Еле-еле отделался ценою ухода в одиночество, уже полное и, боюсь, окончательное. Это ускорит мой приезд. Второе воображаемое письмо печально в той же мере, в какой первое — о Вас — радостно».

Новый 1923 год был все же встречен в Берлине, и не в «полном одиночестве». Не знаю, где происходила встреча, но на ней присутствовали Роман Якобсон, Богатырев, издатель Гржебин, кажется, Андрей Белый с новой женою, кое-кто из сменовеховцев, выпускавших просоветскую газету «Накануне», помнится, даже Маяковский, возможно, и Эренбург. За точность показания не ручаюсь. «Полное одиночество», видимо, все же не наступило...

Но весной (а может быть, и раньше) 1923 года Пастернаки были уже в Москве. Борис Леонидович привез всего лишь несколько стихотворений. Из них только одно первоклассное — «Отплытие».

Слышен лепет соли каплющей,
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск, и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком.—
Он невзрачен и тщедушен.
Небо [*], сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь,— но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

Я сразу заметил, что в этом стихотворении л о г и ч е с к а я связь целого неожиданно окрепла.

В Берлине по его словам, Пастернак почти все время проводил за чтением Диккенса и штудированием Эйнштейна, сокрушаясь, что «математически за ним не всегда поспевает», а также ряда исследований о великом ученом. Чувствовалось, что он стремился втянуть далеко идущие мировоззренческие следствия из этих теорий в орбиту своей поэзии. Характерно, что в одной беседе он назвал то, что мы (с моей легкой руки) именовали его панметафористикой, «всеобщей теорией поэтической относительности», таинственно улыбнувшись. Улыбка означала,

---

[*] Стихотворение цитируется по подаренному Б. Л. Пастернаком сборнику «Поверх барьеров» (1929), где красным карандашом слово «небо» вписано поверх зачеркнутого слова «море». *(Прим. ред.)*

что пока дальнейшие расспросы неуместны. И потом как бы в и з в и н е н и е за свою скрытность добавил: «Помните, как, рассуждая однажды о «Гамлете», я вам сказал, чего недостает моим налетным размышлениям? Вот и сейчас я слишком хорошо чувствую, как безвкусно-невесомы мои мысленные предвосхищения предмета против действительного его осуществления по мысленно предвосхищенному пути».

Речь шла, конечно, о его творчестве. Но пока он ничего не творил, был мучительно удручен своим затянувшимся бесплодием. Это было видно по всем его уклончивым недомолвкам.

Глава пятая

Я оставался его учеником, хоть и не надеялся стать его выучеником (о том, что мне не довелось родиться поэтом, я начал догадываться уже тогда вопреки необоснованным и, как чувствовалось, недостаточно убежденным ответным дружеским восторгам, слишком многословным, чтобы внушать к себе доверие); был верным его послушником, точнее же и менее выспренне выражаясь, усердным соглядатаем его таланта, порою даже точным угадчиком литературной (и не только литературной) его судьбы.

Предвижу, что такое нескромное самоопределение многих покоробит и заставит враждебно насторожиться. Но так это было благодаря тогдашней нашей близости, пусть мною и не заслуженной, моей болезненно-торопливой способности делать далеко идущие заключения из его обмолвок, конечно же, неслучайных в их неизбежных следствиях. В то же время я понимал с затаенной горечью, что в основе моего так называемого яснослышания лежала с л а б о с т ь, и отсюда творческая ущербность моих самостоятельных литературных и философских способностей, и отсюда же моя страстная «паразитирующая сопричастность» его медленно созревавшим замыслам, ненароком всплывавшим из сокровенной глуби его души, уже переполненной мыслями и образами необычной силы. В их жизнеспособности я нисколько не сомневался.

Нет, я почти никогда не проговаривался. Но когда, взволнованный его словами, я — очень редко! — все же не мог умолчать о своих нетерпеливых надеждах, он хмурился и спешил меня уверить, что я ошибаюсь, «фантазирую напропалую», приписываю ему свои планы. И все же при прощании после таких разговоров, своей горячностью похожих на спор или даже на перебранку, он прощался со мной особенно любовно.

Мы жили в одном городе, встречаясь в ту пору почти ежедневно, и не проходило дня, чтобы мы не говорили друг с другом хотя бы по телефону. Но случалось, что после подобных объяснений он посылал мне вдогонку (по почте, однажды и с братом Александром Леонидовичем) еще и краткие записки. Большинство из них не сохранилось, но вот одна из уцелевших.

«Дорогой Николай Николаевич! (Почему не Коля, как он всегда называл меня?— *Н. В.*) Не балуйте и не смущайте меня Вашим молодым вниманием. Я ценю его и оживаю, встречаясь с его выражением, так оно прекрасно, то есть настолько переплетено побегами самостоятельного вдохновения и восторженности, не только мною не вызванной, но даже ко мне и не относящейся. А если я прошу оставить эти Ваши мечты не о своей, а о моей будущности, то есть тому причина. Как ни мало обязываете Вы-то сами меня к чему бы то ни было этим доверием, страху все же прибывает от него в минуты потерянности и отчаяния, когда в отличие от далекого прошлого, пугавшего меня только бесследным исчезновением неоправданного и неостановленного времени, я теперь пугаюсь и той отдачи, которую рождает эта лавина проигранных лет в среде Вашего дружеского доверия, мимо которого она прокатывается. И какого бы родного мира Вы ни касались в своих предположениях, не соединяйте Ваших планов и чаяний с моей судьбой — ни даже в справедливой мысли о нашем родстве и сходственности. (Эта мысль тоже, конечно, принадлежала никак не мне, а ему.— *Н. В.*) Легко может статься, что когда-нибудь придется разувериться во мне. И вы понимаете, каким гибельным бедствием грозило бы это строю ни в чем не повинных и счастливых мыслей, совместно со мною затрагивавшихся, в том случае, если бы неосмотрительная симпатия чересчур связала их с человеком, подверженным всяким превратностям и

вдруг потерпевшим банкротство. Точка поставлена здесь с целью отстранения всяких догадок за их преждевременностью. Обнимаю Вас и крепко жму Вашу руку.

Б. П 20 декабря 1923 года».

При ближайшей и последующих встречах мы оба обходили молчанием такие письма: мужская дружба стыдлива, и нет ничего ее целомудреннее. Уже одно то, что он прибег к эпистолярной форме, изымало эти и другие памятные строчки из привычного устного обихода, не говоря уже об обращении «дорогой Николай Николаевич» и вполне условном «крепко жму Вашу руку». Счесть своими «планами» то, что я тогда ему говорил, я, конечно, не мог. Все это было е г о достоянием; моим здесь был только избыток доверия к его силам И он это знал, не только чувствовал. А то, что его страшило и побуждало просить меня оставить эти мои мечты не о своем, а о его будущем, было продиктовано опасением, что я помешаю ему в его медленном и зорком сотрудничестве со временем, о котором полунамеком говорится и в этом письме (устно он высказался прямее),— опасением, что кто-то, может быть и я, досрочно остановит это скрытое от посторонних сотрудничество раньше, чем время выскажется сполна, и тогда целое (завершенное произведение) не будет целым, а только самонадеянно закруглившейся «беллетристикой» — в угоду нетерпеливым «почитателям» И отсюда — этот холодок, и отсюда — это учтиво отстранявшее меня «дорогой Николай Николаевич», несмотря на добрые слова, на которые он не поскупился, зная, что и обращения по имени и отчеству хватит с лихвой на то, чтобы призвать меня к молчанию, сдержать мое нетерпение.

Беседа же эта (от 20 декабря 1923 года) возникла случайно и по, казалось бы, невиннейшему поводу. Борис Леонидович дал мне прочесть прозаический отрывок, напечатанный в старой газете, кажется, 1918 года, издававшейся левыми эсерами (тогда даже кадеты до поры до времени еще выпускали свой еженедельник «Народная свобода», почти сплошь состоявший из мрачных исторических параллелей с Великой французской революцией)

Я прочел этот отрывок с привычным для меня восхищением, но помню его плохо. Речь в нем шла, если я не очень ошибаюсь, о возвращении вскоре после февральской революции с военного уральского завода (в Москву или в Питер) одного интеллигента, ссыльного или только в прошлом причастного к революции, чуть ли не инженера-химика, прототипом и моделью которому послужил, как сказал мне автор, столь известный впоследствии профессор Б И Збарский. Художественную же прелесть отрывка составлял снежный, чуть начинавший таять и оседать простор мартовской панорамы, охватывавшей далеко отстоявшие друг от друга верхнюю и нижнюю дороги, по которым мчались в два обособленных ряда запряженные тройками сани и откуда с разной четкостью доносились голоса ямщиков и проезжающих.

Тут я и позволил себе сказать, что это, наверное, завязка большой повести или романа о людских судьбах, проведенных сквозь строй революцией, что я и в «Детстве Люверс» и в рассказе «Воздушные пути» вижу отрывки, сюда относящиеся, и что я давно уже жду от него, Пастернака, этой повести.

— Ждете? А я дальше чем когда-либо ушел от этой темы Для меня она закрыта из-за полной своей неразберихи. Нет, нет! Ах, Коля, как вы еще зелены! Я просто страшусь скороспелых обобщений, их парадной фальши. И если я что хотел бы написать — я теперь ничего не пишу, как вы знаете,— то только не об этом, а о самом малом, о лампе на столе, об освещенных руках и неосвещенном лице Но и этого слишком много Погодите! Ведь руки должны что-то делать, хотя бы книгу перелистывать Но тогда — какую? А лицо что-то выражать. И этого . Этого для меня уже слишком много! Здесь завязка «поучительной биографии», чуть ли не «Bildungsroman'а»[31]. А ч е м и к о г о поучать? Чем прикажете порадовать читателя? Истинами из «Известий» и «Правды»? Или злопыхательством недовольных харчами Устиновых? Любовью? Но и она не годится для большого романа На третьем шагу споткнется о ту же неразбериху и либо возжаждет вот этой «поучительности», либо же вполне анахронического «мещанского счастья», нового только возросшим коэффициентом низости.

[31] «Роман воспитания».

— Ну, знаете, Борис Леонидович! «Испытанием любви на временно́е растяжение», как сказал бы какой-нибудь остроумный мостовик-путеец, привыкший толковать об «утомлении металла» и о прочей железнодорожной психофизике,— ведь этим, право же, занимались во все века. И не вы ли мне когда-то сказали, что «история — как изоляция на проводе. Электричеству она не помеха».

— Сказал? Правда? Мало ли что сболтнешь. Сказал, и вот тебе уже и улика.

— Нет, в самом деле! Вспомните хотя бы «Три года» Чехова.

— Не помню, да, может быть, даже и не читал совсем. И не стыжусь этого. Не постеснялся же Рильке признаться, что мало что знает из Шекспира.

— Lassen wir das für gut gelten[32], дорогой Борис Леонидович! Но я хотел вам только сказать, что эта повесть кончается размышлением героя, купца Лаптева, вот об этом «испытании любви на временно́е растяжение». Жена, которую он еще недавно так страстно любил и нелюбовь которой его некогда так удручала, впервые — на исходе третьего года — ему объяснилась в любви, а он ничего не почувствовал, ему только хотелось завтракать. Он сидел на террасе и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет. Что́ доведется ему испытать за эти годы? «Поживем — увидим». Я почти точно привожу заключительные слова чеховской повести, так как перечитал ее только вчера. Повесть написана в тысяча восемьсот девяносто пятом году, и Лаптеву было тогда, если не ошибаюсь, тридцать восемь лет. Он мог бы быть нашим старшим современником, пожить и многое увидеть и испытать вместе с нами.

— Так что же, назад к Чехову — Zurück zu Tschechow, как говорили: «Zurück zu Kant!»[33]? (Мы часто перебрасывались немецкими фразами, это вошло у нас в привычку из-за долгих разговоров о немецком идеализме и о Гёте.) Вы э т о хотите сказать?

— Совсем нет! Он думал, то есть Лаптев думал, о томительной монотонности предстоящего тридцатилетия, а е е-т о и не было. Шли годы, «грозя Артуром и Цусимой, грозя Девятым января». «Был и пятый год и война», а потом и революция, Февраль и Октябрь... (Мне показалось, что Борис Леонидович не заметил цитаты из Блока, как не заметил своих же собственных, ранее им сказанных слов о «пятом годе и войне» и об «истории, как изоляции на проводе».) Смена темпов! Хотя бы только это. Тут есть над чем потрудиться художнику...

— Но этого еще мало! История...— Он рассмеялся, но без добродушия.— История... Я снова ляпну о ней ерунду, а вы прибережете и эту улику на черный день! Пожалуйста! История... Еще посмотрим, какой она Уточкин! Достаточно ли она опишет восьмерок в небе, чтобы мы уверовали в ее искусство? Пока еще слишком мало покувыркалась. Итоги еще впереди! Но «поживем — увидим»... О чем мы, собственно, спорим, Коля? — произнес он с показной скучливостью, так хорошо мне знакомой.

— Я вовсе и не спорю.

— Ну да!.. А, впрочем, тем лучше! Я просто дал показание, сказал вам, что «большие темы» мне теперь более чем когда-либо не по зубам. И тут уж никакие Чехов и Москвин не помогут с их «Лошадиными фамилиями», «Злоумышленником» и «Канителью», с их «Унтером Пришибеевым» и «Дочерью Альбиона», то есть со всем, что так смешило отца и его знакомых «Кабы я была царица», я бы не только не «на весь крещеный мир», а в полной отрешенности, так сказать, mir zur Feier[34] — простите за дешевый каламбур! — сел бы и написал нечто вроде рильковских «Geschichten vom lieben Gott»[35] Но не о Саваофе, это тоже слишком большая тема, а о Христе и его легендарной, бытующей среди людских поколений вот уже девятнадцать с лишним веков и с т и н н о п о к а з а т е л ь н о й биографии. Но ведь это, «кабы я была царица»... А так станешь писать vom lieben Gott, а там, глядишь, и ноги протянешь Очень нужны такие рассказы Воронскому или редакторам из альманаха «Круг»!

---

[32] Пусть так *(нем.)*.
[33] «Назад к Канту!» *(Нем.)*
[34] Мне во славу *(нем.)*
[35] «Рассказы о господе Боге».

— Побойтесь Бога, Борис Леонидович! Неужели же вы всерьез ставите знак равенства между Чеховым и выступлениями Москвина? Неужели же сводите все, что им было создано, к концертно-эстрадному репертуару или к лейкинским «Осколкам»? Для меня одна его «Степь» — энциклопедия русской поэзии, сгусток из всего, чем благоухала, трогала и дивила русская литература в высших своих проявлениях. Один чудак Вася с его мутными на вид, но зоркими, сверхобычно зоркими глазами чего стоит! А этот распираемый любовью к молодой жене крестьянин-охотник с его сладостными, как в эротических снах, признаниями или священник, забыл его имя, с его наивным, почти святым легкомыслием да и все остальное. А как медленно, будто точно отсчитано по хронометру, течет время в его «Бабьем царстве». Рядом с ним, я не преувеличиваю, даже Пруст кажется назойливо прямолинейным с его изысканными поисками утраченного времени. (Впрочем, вру: о Чехове и Прусте я сказал ему не тогда, а в другой раз, и гораздо позже. Но что написано пером, не вырубишь топором, так ограничусь этим «научным» исправлением анахронизма ради целостности чеховской характеристики.)

— Подождите, Коля...

— Нет. дайте мне сказать г л а в н о е. Вы заговорили о «Geschichten vom lieben Gott». Так вот что я вам скажу: все это было очень нечуждо и Чехову! Вспомните хотя бы его маленький рассказ «Студент» и вклиненный в него удивительный пересказ евангельского троекратного отречения Петра от Спасителя, «прежде чем трижды пропел петел», и как Петр, «исшед вон, плакася горько». А в заключение обобщающая мысль о том, что жизнь там, в саду Гефсиманском и во дворе первосвященника, так и не переставала по сей день составлять главное в жизни человечества. Не знаю, был ли Чехов верующим. Думаю даже, что нет. Но как не признать если не метафизическим, то всемирно-историческим чудом даже и неверующему то, что жизнь Христа и страсти Христовы продолжали, а может быть, продолжают и теперь так кровно затрагивать человечество, занимать его воображение, фантазию художников и мыслителей? Казалось бы, говоря трезвым светским языком. эта трагически одинокая судьба единичного человека вовсе даже и не по рылу неумытому человечеству. А на поверку и всему вопреки оказалось, что правда и красота, исходящие, как святое сияние, от этого замученного, распятого на кресте человека, пусть н е у т в е р д и л и с ь в сознании человечества, но и н е в о в с е п о к и н у л и его. Ведь даже «великий язычник», как принято — очень неточно! — называть Гёте, склонялся перед ним, «как перед божественным откровением и высшим принципом нравственности». Это — в беседе с Эккерманом.

— Подождите, Коля! Со стыдом сознаюсь, что. наверное, не читал и его «Студента», иначе я бы не прошел мимо того, о чем вы мне говорите. На Чехова я смотрел в своей бунтарской самонадеянности как на кумира папы и его поколения. Что ж! Сегодня в ы были взрослым и побили линейкой мое мальчишеское невежество. Наверное, поделом! Я обязательно почитаю Чехова. Беда только в том, что папа увез свое издание Маркса за границу. Но принесите мне свое, хотя бы несколько томиков, на побывку.

Я обещал ему на днях занести и, конечно, заметил, что это небрежное «на днях», его покоробило. Проще было бы тут же объяснить причину моего затруднения. Дело в том, что и у меня не было лично мне принадлежащего Чехова. Чехов был тоже приобретением моего отца и после его смерти стал достоянием всей нашей семьи. Надо было достать его у сговорчивых друзей, и я уже наметил себе жертву — Надю Жаркову, очень близкого мне человека, которая охотно пошла бы навстречу мне и Пастернаку. Через два дня я был уже у него с двумя или тремя томиками в синих коленкоровых переплетах без тиснения. Пастернак им обрадовался, я же ему указал еще на два рассказа, хотя и не вполне отвечающих теме «Geschichten vom lieben Gott», но в какой-то мере к ней все же примыкающих,— на «Архиерея» и «Святою ночью».

Я был очень доволен собой и, при моей мнительности, сам себе напомнил Колю Красоткина с его Перезвоном (из «Братьев Карамазовых») и даже не слишком стыдился этого — хотя бы уже потому, что в данном случае Перезвоном был Чехов, а умирающим Илюшечкой, к счастью, пребывавший в должном здравии Борис Леонидович.

— Знаете, что,— сказал я,— не всегда же только вам читать мне Пушкина. Позвольте м н е на этот раз прочесть «Студента». Это совсем короткий рассказ. Мне страшно хочется.

Дело в том, что Борис Леонидович (и тогда и позже) очень любил читать мне и домашним, иногда и гостям Пушкина, особенно отрывки из его поэм — из «Медного всадника», «Цыган», «Графа Нулина» (его — всегда от первой до последней строчки и с большим юмором, гораздо лучше, чем Яхонтов), но чаще всего из «Полтавы».

«Полтаву» он читал бесподобно, раза два при мне даже целиком. Доходя до любимейших мест, он обычно прерывал свое чтение и заранее разъяснял — нам, дуракам,— чудесные свойства отрывка, каждый раз почти в тех же несколько сбивчивых, но, видимо, хорошо взвешенных словах. (Это не было импровизацией, вернее, было ею, но в прошлом, быть может, еще во времена, когда Борис Леонидович был гувернером в одном богатом немецком доме. Такой она и кристаллизовалась, сохранив облик вдохновенного наития и педагогической настойчивости.)

Так, перед катренами «кто при звездах и при луне» он неизменно говорил: «Здесь вы сначала слышите, как всадник еще только п р и б л и ж а е т с я. Вообще такого наглядного драматизма или там «динамики изложения»— пусть в терминах разбираются Цявловские — вы в его лирике не найдете. На то и поэма! Поэма с ее, как говорят, эпичностью, но... Это у Гомера эпичность, здесь же гораздо правильнее было бы сказать — драматизмом... Так, значит, д р а м а т и з м о м. Но я, собственно, хотел только напомнить себе и вам, что вот под это п р и б л и ж е н и е отведены восемь строчек. Всадника воочию еще не видно.

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

О всаднике мы еще ничегошеньки не знаем. Но вот поступают первые о нем сведения, самые общие пока. Ведь он еще в неразличимой дали:

Казак на север держит путь.

Указано только знаменательное, как выяснится впоследствии, н а п р а в л е н и е, которого он держится. Но стук копыт так дробен, бесперебоен и настойчив, что уже чувствуешь г о н ц а, неотложность задания.

Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

И вот на девятой строчке он с нами поравнялся! Мгновенная полная наглядность! Очевидность!

Как сткло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит...

Он будет звенеть и в «Капитанской дочке»— удержанный казачьим урядником дар Пугачева.

Не спотыкаясь конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Это все мы еще видим... Но вот он мимо нас проскакал, исчез в неведомом. И, как это часто бывает в жизни, невольно продолжаешь думать об исчезнувшем великолепном и горделивом облике, будь то блоковской Незнакомки или только, как здесь, прекрасного в своей умелости конника. Но много ли тут надумаешь при такой скудости данных?.. Здесь же тебе приходит на помощь безошибочное, не терпящее никаких отлагательств всеведение поэта. И всадник исчезает уже не в н е в е д о м о м, а в в е д о м о м мире, проясненном точным знанием поэта, то есть автора, Пушкина, полновластного хозяина замысла:

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,

Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже...

И так до конца, до заключительного

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея.

И эта голая сущность видения подводит нас к Мазепе, интригующему, не наделенному всеведением, подводит к «полномощному езуиту», к посулу «шаткого трона» и так далее. А теперь слушайте!»

И, точно передавая голосом и мимикой нарастающую четкость звуковых и зрительных впечатлений, Пастернак читал то, чему он дал свой предваряющий комментарий.

Но на сей раз читал почти наизусть не он, а я мне особенно дорогой рассказ Чехова. Он слушал меня с детским вниманием художника, с чуть заметной, «самой тихой» игрой на напряженно застывшем лице. И когда я дошел до сцены разговора на «вдовьих огородах» с Василисой и с ее дочерью Лукерьей и произнес слова студента: «...Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано. «И исшед вон, плакася горько» Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыданья...» Студент вздохнул и задумался Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль»,— когда я это прочел, я взглянул на Пастернака. В его глазах стояли большие слезы.

Но я продолжал читать. Я читал:

— «Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому что Петр ей близок и потому что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Я подходил к концу:

— «А когда он переправлялся на пароме через реку... то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы,— ему было только 22 года,— и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

— Удивительно! Чудесно! — произнес Борис Леонидович, сдерживая боль и радостную растроганность художника.— Спасибо за чтение Коля, и за книги.— И немного сконфуженным голосом: — Что ж! Почитаем Чехова на старости лет.

Пастернаку было тогда тридцать три года, а мне столько же, сколько чеховскому студенту.

Утром часов в десять зазвонил телефон. Я оказался поблизости и поднял трубку.

— Слушаю,— сказал я немного осипшим и потому более низким голосом.

— Попросите, пожалуйста, Николая Николаевича!— Это был он.

— Здравствуйте, Борис Леонидович!

— А, здравствуйте!.. Я вам хочу что-то сказать, но не по телефону. Приходите к обеду Завтра. Непременно!

В условленный час я был на Волхонке, На диване возле уже накрытого обеденного стола, поджав под себя ноги, сидела с томиком Чехова Евгения Владимировна, улыбаясь широкой, ничего не выражавшей улыбкой Моны Лизы.

— Дай книжку, Женюша, я хочу Коле кое-что показать!

Мы сели у письменного стола.

— Коля, я хочу вам сказать. В о - п е р в ы х, что вы тут были правы во всем... А в о-в т о р ы х... Вы читали, конечно, «Мальте Бригге»[36]? Да что я спрашиваю!.. И помните, наверно,— нет, не те два отрывка, которые я вам читал, не о том, как дед, старый граф в зеленом шелковом халате, споря с прошлым и настоящим, диктует свои мемуары, и даже не о том, как он «starb seinen Tod», чего по-русски даже и не скажешь: «умер своей смертью» значит только, что тебя не отравили крысиным ядом Но я совсем о другом: о той книге, которую в детстве подарили Мальте и которая стала для него впоследствии тем, чем вовсе не была,— черновыми записями его будущих литературных планов Он говорит там — помните? — об истории Лжедмитрия и как царица Марфа возговорила над раненым самозванцем высоким фальшивым голосом и, сама обманщица, обличала его в обмане. К чему я все это говорю? К тому,— продолжал он размеренным, почти торжественно-скандирующим голосом,— что томики, которые вы мне принесли, для меня стали такой вот книжкой. Я непременно напишу свои «Geschichten vom lieben Gott». Ну, конечно же не теперь, а когда заслужу доверие.. Ах, какая прелесть «Святою ночью»! И смотрите, там тоже переправа на плоту Нет, это не случайно! Это — все в память Того, кто «шел по морю, как посуху». А «Архиерей»? Как это хорошо! Я вам покажу одно место... Нет, я не нахал...

— А если и так,— рассмеялся я почти «по-красоткински»,— nur die Lumpen sind bescheiden![37] Кажется, так у Гёте?

— Нет! Я не нахал. Я просто хочу вам хорошо ответить урок Вот! Нашел: «Скоро служба кончилась Когда архиерей садился в карету... то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый красивый звон дорогих, тяжелых колоколов Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы, и черные тени, и далекая луна на небе стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку».— Дальше он не мог читать Глаза не видели от слез, и голос дрожал от сдержанных восхищенных рыданий — Коля, не знаю когда, но я напишу свои «Geschichten», и обязательно стихами Мама рассказывала, что один из Рубинштейнов, кажется, даже Николай, говорил, что старается играть на рояле, как играл на скрипке один замечательный музыкант Заметьте, не как Лист или там Ганс фон Бюлов, которых он тоже слышал Но они были, как и он, пианистами. Понимаете?

Мог ли я не вспомнить прочитанного Пастернаком полуабзаца из Чехова, когда я впервые услышал в его чтении, уже в пятидесятые годы, стихотворение из романа в прозе —«На Страстной». Приведу его целиком:

Еще кругом ночная мгла,
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,

И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение псалтыри.

Еще кругом ночная мгла,
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

[36] Повесть Р. М. Рильке.

[37] Одни негодники скромны! *(Нем.)*

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят,
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или апостол.

Но в полночь смолкнет тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь —
Смерть можно будет побороть
Усильем воскресенья.

Чудесно! Удивительно! — иначе и не скажешь об этих стихах. И как по-чеховски просто и глубоко!

О «Студенте» же я вспомнил, когда услышал «Рождественскую звезду», такие в ней строки:

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все гирлянды цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Вспомнил я «Студента» и еще раз, когда Борис Леонидович читал свой «Гефсиманский сад», особенно последние две строфы:

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Пастернаку бесподобно, гениально удалось «сыграть на рояле» то, что Чехов, конечно же, тоже бесподобно и гениально «сыграл на скрипке».

Эпиграфом к моим «Воспоминаниям и мыслям» служат слова из Пушкина. Но в душе моей не перестает звучать еще другой, сокровенный, эпиграф: «Тебе — но голос музы темной коснется ль уха твоего?» Как же велика была моя растроганность и каково мое счастье, когда Леня Пастернак (Леонид Борисович) откликнулся на мои мысли о чеховском происхождении религиозных мотивов в стихах Юрия Живаго; он мне сказал, что отец дал ему на прочтение вот эти стихи и потом спросил его, откуда они по его впечатлению идут. Леня смутился и не мог ему ответить. Борис же Леонидович даже немного рассердился на такую его несообразительность и, конечно, был несправедлив к нему. Я бы тоже спасовал, если бы не это давнее мое воспоминание. «Неужели же ты не уловил здесь чеховского начала?» — сказал разочарованный автор.

А ведь как мы когда-то смеялись с Борисом Леонидовичем над гениальной наивностью Канта, когда тот прочел первый отзыв на свою «Критику чистого разума». Кант даже не допустил и мысли, что его рецензент (дюжинный немецкий просветитель Христиан Гарве из «Göttinger gelehrte Anzeigen») мог не понять его основного философского труда. По мнению Канта, в этом трактате все было ясно; он заподозрил Гарве в другом — в сознательном искажении дорогих ему мыслей, в обдуманном коварстве завистника... «Нет, как это гениально!» — раз за разом восклицал Пастернак и смеялся веселым, растроганным смехом, не подозревая, что он и сам вполне способен на подобную же «смешную» наивность, которую он так явно обнаружил в разговоре с Леней.

Для меня же — устами сына поэта — Пастернак подтвердил из запредельных далей, что я не «заврался», не «фантазирую напропалую», не утратил еще былого понимания его поэтического мира и тайных двигателей его творчества. И все это — что всего дороже — совершилось вполне естественно, вполне по-земному, так сказать, в скромных традициях русского реализма...

Был ли Чехов верующим, я не знаю. Пастернак по нашим земным представлениям был им. И это сказалось на большем христоцентризме (если можно так выразиться) его стихов. Я имею в виду то, что у позднего Пастернака в отличие от Чехова природа не живет «своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку». Напротив, она — равноправная соучастница в попрании смерти «усильем воскресенья». Здесь достаточно сослаться на его выше приведенное «На Страстной», на «Рождественскую звезду», на «Чудо» (особенно!) и на многие другие стихотворения этого цикла.

Впрочем, и Чехов, пусть стыдливо и нарочито невнятно, тоже намекает на это, говоря, что пришествие и житие Христа составляет «главное в человеческой жизни и вообще на земле» (разрядка моя. — *Н. В.*).

Нет, и я здесь ограничусь только намеком. Замечу лишь, что христоцентризм и геоцентризм (не донаучный, невежественный, наивный геоцентризм, а «религиозно-нравственный», связанный с верой в «предпочтенность» Земли перед всеми планетами и пространствами Вселенной, с верой в Землю, как в locus sacer[38], где свершилось всемирное таинство Христова пришествия), что они — я говорю о христо- и геоцентризме — сопряжены друг с другом теснее, чем думают иные. Этот-то чисто духовный неогеоцентризм (с ведома или без ведома Чехова) вибрирует в его «человеческой жизни и вообще на земле».

Был ли верующим Чехов? Мне думается, что он и сам не решился бы на это ответить и потому сторонился всего, что могло бы сойти за ответ на этот

[38] «Святое место» (*лат.*).

смущавший его вопрос. Правдивость Фомы Неверующего (не невера, а согласно евангельскому преданию ищущего веры, ее подтверждений и очевидной достоверности) однажды даже заставила Чехова изъять из повести «Три года» примечательные строки (в письме Алексея Лаптева к Косте Кочевому), строки, которые могли бы быть восприняты как его, Чехова, символ веры. «Я.. всегда, хоть убейте, буду стоять на том,— пишет Лаптев,— что люди, верующие в Бога, в торжество справедливости, в страшный суд и в вечное блаженство, гораздо содержательнее и ближе к правде, чем мы, беспредметные идеалисты, ни во что определенно не верующие и только уверяющие себя, что истина есть и достижима». Признание это не менее примечательно, чем его изъятие Чеховым из текста повести!

Я не хотел бы уступать Чехову в правдивости, и потому скажу, что для меня, тогда себя причислявшего, скорее, к «чистым гуманистам», это — его вера или неверие — было даже не столь уже важно. Мне, грешному, и до Фомы Неверующего еще далеко!

Важно другое.

Важно то, что если мир, наша многострадальная планета, не преклонится перед Христом как перед «высшим откровением нравственности» (Гёте), мир безусловно «загорится на ходу» и погибнет. Физически, не только морально.

Но тогда, в декабре еще относительно невинного 1923 года, ему и мне было очень хорошо друг с другом. Однако «красоткинское» (если не «перезвоновское») благодушие, которое мною по-прежнему владело, сыграло-таки со мной дурную шутку. После того как мы не в первый раз чокнулись, не помню уже, за чье здоровье, я оплошно выпалил — вне всякой связи с нашей застольной беседой:

— А между прочим, в «Трех годах» один из героев, Ярцев, сказал адвокату Косте Кочевому: «Москва — это город, которому придется еще много страдать». И на Костин вопрос: «Что это вам пришло в голову?»— ответил: «Так. Люблю я Москву».

Я хотел, конечно, незаметно вернуться к предмету недавнего нашего разговора — к повести о революции. Но Пастернак тут же разгадал мой маневр. Он сразу помрачнел, ушел «в тучи», как тот «близнец» с заглавного листа его первой книги. Из этой-то тучи недовольства моим настойчивым любопытством меня и поразила на следующий день молния его приведенной выше записки. Очень кроткая молния, как мог убедиться читатель лишенная жестокой, карающей силы стихийного феномена, я сказал бы, почти дружеская даже!.. И все же это было предупреждением, и я надолго прикусил язык.

Но в его отказ от «большой темы» я все-таки не поверил — даже если б он трижды от нее отрекся «прежде, чем пропоет сегодня петел». Что ж? «Поживем — увидим»!

Как известно он пожил, а мы (не все еще пока) увидели. Но до того должны были пройти и тринадцать и тридцать лет Тогда же, и еще долго, продолжалось скрытое от посторонних тесное сотрудничество поэта со временем...

История еще не описала в небе необходимого для наблюдений и выводов числа восьмерок.

Позднее свершилось и это.

Для дальнейших наших взаимоотношений разговор о Чехове имел свое немаловажное значение Пастернак признал, что я в нем впервые показал себя взрослым, уже не мальчиком, не робеющим, покорным учеником.

Не думаю, чтобы это его обрадовало В качестве только жадно слушающего, только чутко его понимающего я, видимо, был ему нужнее и дороже. Но я, ничуть того не желая, набирался взрослости Первый жар дружбы уже начал остывать — с его, не с моей конечно, стороны Мы по-старому часто встречались и вели нескончаемые разговоры Я же любил его по-прежнему, сильно и верно, насколько сильно, этого он мог и не знать — «спинозианское» заявление Гётевой Филины: «Я люблю тебя. Что тебе до того?»— мне свойственно в высшей степени.

Через шесть лет, даря мне сборник своих стихов, он надписал его так: «Коля, без Вас не было бы этих лет! Люблю т о л ь к о В а ш у взыскательность. Верю, что она никогда враждой не обернется. Другу и единомышленнику — памятная надпись. Б. Пастернак. 12.IV.30». Слово «вражда» в ней, однако, все же присутствовало...

Как-то раз А. Т. Твардовский, не только талантливейший поэт, но и отличный рассказчик, поведал мне с оттенком даже какого-то поэтического трагизма, как он был потрясен до глубины своей детской души, когда мать впервые за него, пятилетнего тогда парнишку, не заступилась: позволила отцу его высечь. «Я взглянул на нее, а она только рукой махнула: ты, дескать, уже большой, дозрел до отцовской розги»,— сказал он и улыбнулся с насмешливой горечью. «Да, это — как второе отлучение от груди»,— откликнулся я на его рассказ, точно передав мое впечатление.

Но я, собственно, не об этом и тем менее о Твардовском, о котором надеюсь еще написать. Здесь же мне только походя хотелось сказать, что разрыв связей, зависящий от биологических (возрастных) причин, от прибывающей зрелости, а там и старости, всегда болезнен, тем более когда ты — часто не по твоей только вине — не оправдал возлагавшихся на тебя надежд.

Беспечальная ранняя пора нашей дружбы кончалась. Парабола тесной духовной близости, достигнув наивысшей точки, уже начала снижаться. Но эта разрушительная работа шла медленно, годами, и выпадали минуты, часы и дни, когда мы оба ее не замечали.

И это стало источником моей радости и ущербленного счастья.

Публикация и подготовка текста Е. Н. ВИЛЬМОНТ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. БУРТИН

★

«РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ*

1986 год был для нашей критики дважды юбилейным: 150-летие Добролюбова и 175-летие Белинского. Эти юбилеи не просто освежили память о том, что́ мы наследуем, какая поистине великая критика была у нас в прошлом. В ситуации, когда состояние литературной критики стало предметом специального внимания сначала на XXVII съезде партии, а затем — в соответственно возросшей степени — на VIII съезде писателей СССР, они задали особую высоту взгляда на работу нынешнего поколения критиков.

Знакомясь с материалами писательского съезда, можно согласиться с В. Озеровым, что «лейтмотивом большинства выступлений была мысль: критика пока не играет той активной роли, какую должна играть в нынешний общественный момент»[1]. Так, например, Ю. Бондарев, констатировав, что «современная литературная критика, и устная, и печатная, долгое время по разным причинам влачила жалкое существование», заключал: «У нас пока еще нет критики гражданственной. Хотя, к счастью, есть талантливые критики»[2]. А Ф. Кузнецов приводил такой подсчет: «...из 590 книг, получивших за год оценку на страницах литературной периодики, критическую оценку получили только три. И это соотношение... стабильно... Оно убедительно характеризует то униженное положение, в которое вот уже долгие годы поставлена наша литературная критика... Мы пока что слышим в литературной печати одни лишь призывы к критике, а критики как таковой все нет и нет»[3].

Итак, 175 лет со дня рождения Белинского и — «нет критики»; 150 лет со дня рождения Добролюбова и — «нет критики гражданственной». Есть над чем задуматься. Тем более что «отсутствие» критики — это такая вещь, которая как бы шире самой себя. Немота критики распространяется и на саму литературу — сколько бы ни было в ней талантливых авторов и книг.

Вспомним, что свой известный тезис «у нас нет литературы» молодой Белинский выдвинул тогда, когда только что было напечатано «Горе от ума», когда жили и творили Пушкин и Гоголь, не говоря уже о Жуковском, Баратынском, Вяземском, Бестужеве-Марлинском, Лажечникове, Языкове, Крылове — целой плеяде первоклассных талантов. Таланты были, но не было «общества», способного их поддержать, вступить с ними в плодотворный, взаимообогащающий диалог. А это как раз и есть функция критики. Только при наличии критики, которая переводит образы писателя на язык общественной мысли и тем превращает их в акт национального самосознания, возможен полноценный духовный взаимообмен между литературой и обществом — залог здорового и обещающего литературного развития. Без этого даже самый сильный и чистый писательский голос остается гласом вопиющего в пустыне и поглощается молчанием. Мало ли было у нас интересных и значительных произведений, которые так и прошли, сопровождаемые лишь невнятной скороговоркой рецензентов, и канули в Лету, неуслышанные, недооцененные, непонятые. В этом смысле как критика не существует без своей почвы — литературы, так и литература без широко мыслящей, гражданственно ответственной и честной критики и организуемого, воспитываемого ею общественного мнения падает в своем объективном значении, и отношения между

---

* Проблемам «реальной критики» редакция посвятит материалы ближайших номеров журнала.

[1] «Литературная Россия», 4 июля 1986 г.

[2] «Литературная газета», 2 июля 1986 г.

[3] «Литературная Россия», 4 июля 1986 г.

нею и обществом начинают строиться по «полуобломовскому, полуторгашескому российскому принципу: писатель пописывает, читатель почитывает» [4]. И тогда ей самой грозит обмеление, оскудение.

Но что, собственно, подразумевается, когда говорят: нет критики? Конечно, не отсутствие или недостаток статей и книг литературно-критического характера и не нехватка соответствующих дарований[5]. Дарования имеются, и притом разнообразные. У нас есть, не в избытке, но есть, свои Дружинины, мастера умной и тонкой эстетической критики. Это искусство отнюдь не потеряно, напротив: обогащенное художественным опытом последующих ста с лишним лет, оно значительно усовершенствовало свой инструментарий. С другой стороны, у нас всегда были, есть и сейчас свои Антоновичи, строгие ревнители идейной правильности и чистоты, с идеологической вышки бдительно наблюдающие за литературным процессом. И опять-таки надо признать, что за последние десятилетия здесь также очевиден качественный рост: способы чтения авторских намерений и диагностики отклонений от идейно-художественной нормы стали куда тоньше, резкие проработки уступили место мягким увещеваниям и дружеским советам. Наконец, еще чуть ли не с середины 60-х годов начал формироваться, а в 70-е выдвинулся на авансцену, так сказать, коллективный (правда, и в коллективном виде значительно уменьшенный) Аполлон Григорьев — критика, облекающая сугубо современные чувства и жизненные притязания в словесные формы славянофильско-почвеннического умонастроения. Есть в зародыше и некоторые другие тенденции, есть и всевозможные промежуточные, гибридные образования...

Откуда же в таком случае то ощущение пустоты, которое испытывают сегодня и литераторы и вообще люди, сколько-нибудь близко соприкасающиеся с литературной критикой? Не указывает ли оно на то, что при всем ее современном разнообразии нет в ней какого-то стержня, чего-то центрального, главного? А если так, то в чем же состоит это главное? Чего или кого, если продолжить ряд историко-литературных уподоблений, решительно недостает современной критике?

Мне кажется, достаточно поставить этот вопрос, чтобы сразу же и ответить на него: в современной критике нет Добролюбова, пусть даже и уменьшенного. Ни в единоличном виде, в качестве одной какой-либо яркой индивидуальности, ни рассыпанного во многих лицах. Правда, есть критики (сошлюсь на пример И. Дедкова), так сказать, потенциально близкие к этому типу. Добролюбовский элемент явственно ощутим в их даровании и даже дает ему крепость и силу, но все же он присутствует скорее как возможность, как зерно, которому еще предстоит — при благоприятных условиях — прорасти.

Можно было бы добавить, что, понятно, нет в нашей критике и другого прошлогоднего юбиляра — Белинского. Однако второй Белинский (если понимать под этим не только силу таланта, но и определенную историко-литературную роль) так же невозможен, как второй Пушкин. С Добролюбовым дело обстоит все же иначе. На судьбе добролюбовского начала в современной критике и будет сосредоточен дальнейший разговор.

Однако прежде — о самом содержании этого начала.

ДЕЛО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Николай Александрович Добролюбов — великий русский критик. Привычная глазу и слуху формула. Однако спросим себя: нет ли в самом сочетании слов «великий критик» некоего противоречия, несоответствия? Великий ученый — это понятно: человек, сделавший какие-то фундаментальные, особой важности открытия в своей области знания. Великий писатель — тоже понятно: он также делает открытия, хотя и иного рода — открытия, вводящие в сферу искусства новые пласты человеческого бытия. Ну а критик? Разве он создает что-то существенно новое? Разве он что-нибудь открывает? Правда, Пушкин в своем известном определении критики употребил именно этот глагол («Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы»[6]), но ведь в совсем другом, гораздо более сниженном смысле! Ведь эти «красоты» не критиком созданы, а заметить их в принципе способен любой искушенный читатель. Даже по приведенному, вполне уважительному пуш-

[4] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 102

[5] «Десятка полтора наших критиков, попросту говоря, и пишут-то куда лучше, чем многие из наших прозаиков. Не говоря уж о чувстве истины, об уме и запасе культуры...» (Вл. Гусев, «Сначала дайте дорогу». — «Литературная газета», 30 июля 1986 года). С этим несколько обиженным замечанием нельзя не согласиться.

[6] А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10-ти тт. М. 1976, т. 6, стр. 281.

кинскому определению, критик — лицо несамостоятельное, служебное — частью при писателе, которому помогает писать, частью при читателе, которому помогает читать, то есть правильно понимать и усваивать читаемое. То и другое нужно и может делаться им очень хорошо, высокопрофессионально, даже с блеском, но где же тут место чему-то великому?

Нам, конечно, возразят: а Белинский? Разве не опровергает это имя все вышеприведенные рассуждения?

Да, Белинский — вне всякого сомнения — великий критик. Его творческий подвиг — конституирование русской критики, а с нею и самой литературы как ведущей формы национального самосознания, освобождение ее от заемных и пережиточных норм, сближение с действительностью, утверждение на пути реализма и подлинной народности — соизмерим с самыми грандиозными научными или художественными открытиями.

Но вот тут-то и вопрос: какова роль критики после Белинского, когда литература сформировалась, вышла на настоящую дорогу? Не предопределено ли этим, что подвиг первооткрывателя должен естественно уступить место повседневному будничному «обслуживанию» литературного процесса? Разумеется и в этих условиях у критики много работы по осмыслению литературных новинок и воспитанию вкуса все новых поколений читателей. Однако великому-то — повторим еще раз — где тут место? Полезная, но в значительной мере рутинная деятельность в рамках некоего вспомогательного цеха литературы, совмещающего функции ОТК и отдела рекламы и сбыта... И чем зрелее литература, чем более развит читатель, тем словно бы скромнее назначение критика, этого посредника между ними, если только он не находит для себя иной, более существенной задачи.

Не вытекает ли отсюда, что «великий критик» — явление хотя и возможное, даже реальное, но, так сказать, принципиально единичное, «разовое» для той или иной национальной литературы?

Особая роль Добролюбова в истории русской критики состояла, между прочим, в том, что он своим примером доказал возможность великой критики и при наличии сложившейся, развитой литературы. В историю русской критики Добролюбов вошел как основоположник «реальной критики» — новой формы творчества на стыке критики и публицистики, содержанием которой является публицистическое исследование действительности на материале (а лучше сказать — в материале) художественной литературы.

«Публицистическая» и «реальная» — эти определения в применении к добролюбовской критике нередко употребляют как синонимы. Между тем это понятия хотя и взаимосвязанные, но далеко не идентичные. Так понимал дело и сам Добролюбов, оставивший на сей счет вполне ясные указания. «Реальной критикой» он именует далеко не всякую критику, несущую в себе какую-либо публицистическую мысль, но критику публицистически-исследовательскую. «Мы дорожим,— пишет он,— всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя... Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то есть уменье чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то... произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде, о жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение». И добавляет: «Мы сочли нужным высказать это для того, чтобы оправдать свой прием — толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения...» (VI, 97,98) [7].

Вся ли критика Добролюбова подходит под его же собственное определение «реальной критики»? Нет, вполне очевидно, что далеко не вся. У него немало критических статей и рецензий, которые несут в себе более или менее явный и сильный публицистический заряд, но не заключают в себе означенного исследовательского элемента. Не сразу и овладел он названным «приемом» анализа. Можно поэтому присоединиться к выводу М. Г. Зельдовича, что «теория реальной критики, хотя она подготовлена и деятельностью Белинского, Чернышевского, и исканиями самого Добролюбова, представляет собою скачок в творческом развитии автора „Темного царства"» и что как раз в статье о пьесах Островского «происходит впервые этот выбор главенствующей установки реальной критики, и она теоретически находит себя» [8].

О том, сколь крутым был указанный скачок, сколь резко расходилась критика Добролюбова с общепринятым в XIX веке пониманием предмета и задач этого рода дея-

[7] Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9-ти тт. М.—Л. 1961—1964. (Римская цифра обозначает том, арабская — страницу.)

[8] М. Г. Зельдович. Уроки критической классики. Харьков. 1976, стр. 17, 26.

тельности, можно судить по тому обстоятельству, что в дореволюционные годы творца «реальной критики» чаще всего именовали «не столько критиком, сколько публицистом» (Достоевский), либо просто публицистом (Ап. Григорьев, Герцен и многие другие). Логику такого взгляда всего рельефнее выразил Варфоломей Зайцев (1864 год): «...Чтоб хорошо выполнить свою роль, судить о литературе, критике необходимо обращать внимание на самое общество. Но критика, оставаясь критикой, не может поступать наоборот, то есть по литературе судить об обществе. Как скоро критик делает это, он перестает быть критиком» [9].

Сегодня уже нет необходимости оспаривать подобный взгляд и доказывать: то, что В. Зайцев и многие другие восприняли как «нарушение правил», было в действительности выдающимся о т к р ы т и е м — открытием принципиально новых, гораздо более широких перспектив действенного участия критики в жизни литературы и общества, чем те, которыми ей, казалось, было предопределено довольствоваться. Можно сказать и сильнее: как «реальная критика» — в статье об Островском, так русская критика вообще «нашла себя» в добролюбовской «реальной критике». В том смысле, что впервые после Белинского она нашла для себя помимо суммы полезных, но заведомо «малых дел» поистине исполинское дело — познания общества в интересах его развития и преобразования. Дело не на год, не на два и не для своего лишь поколения критиков: если перефразировать заглавие известной пьесы, это было делом на все времена — пока только существует литература. Это был поворот, за которым, как в первый день творенья новой русской литературы но уже не в качестве единственного, разового подарка судьбы, становилась возможной не просто развитая и высокопрофессиональная, но именно великая критика.

Правда, возможность эта — не из тех, что претворяются в действительность сами собою. Нужны определенные предпосылки. Помимо элементарных внутренних — любви к искусству, критического темперамента и таланта — и столь же легко подразумеваемых внешних — наличия достойной внимания литературы и хоть какой-то свободы высказывания — необходимы и некоторые условия, так сказать, второго этажа, равным образом относящиеся к свойствам творческой личности и к состоянию питающего ее общественного сознания.

Пример Добролюбова наглядно показывает, какие именно. Прежде всего д о в е р и е к л и т е р а т у р е. О своих литературных противниках он писал: «Надо отдать справедливость... они умели понять различие, которое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том, что мы приняли дурную методу — рассматривать произведение автора и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нем содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода: они прежде говорят себе — что д о л ж н о содержаться в произведении (по их понятиям, разумеется) и в какой мере все д о л ж н о е действительно в нем находится (опять сообразно их понятиям)» (VI, 290).

Не только против конкретных лиц и идейных течений в тогдашней критике — полемика обращена здесь и против нормативного подхода к искусству вообще, против такого взгляда на литературу, который сводит ее роль к иллюстрированию, передаче в беллетристической форме неких предустановленных, заранее известных истин, а роль критики — к наблюдению за адекватностью такой передачи с соблюдением незыблемых правил школьной эстетики. «Мы удивляемся,— пишет Добролюбов, — как почтенные люди решаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Ведь ограничивая ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и временным явлениям, через это самое осуждают искусство на неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское значение» (VI, 292).

Его собственная позиция в литературных вопросах базируется на прямо противоположных основаниях. В основе ее лежит убеждение, что литература, литературное творчество представляет собой единственный в своем роде источник знания о мире, ничем не заменимое и могущественное средство самопознания общества. И если мы имеем дело с подлинным искусством, то это всегда в большей или меньшей степени н о в о е з н а н и е, первооткрытие тех или иных жизненных явлений «Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества — на это у нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно художественных ее произведений» (VI, 98).

Вместе с рядом сопутствующих соображений все это складывается в одну генеральную черту, которую хочется назвать доверием к литературе, разумея под этим открытость всякой правде, какую она в себе несет. С полным доверием восприняв

[9] В. А. Зайцев Избранные сочинения в двух томах. М. 1934, т. 1, стр. 166.

картину, нарисованную талантливым писателем, как бы ни разнился его взгляд на жизнь от воззрений самого критика, Добролюбов затем ведет свое обсуждение тех жизненных явлений, на которые наводит произведение, выясняет тот дополнительный или более общий смысл выведенных писателем лиц и положений, который выявляется, если рассмотреть их под предложенным (революционно-демократическим) углом зрения.

Конечно, во всем этом есть и известная односторонность; конечно, ни литература, ни сама критика не предстают в программных рассуждениях Добролюбова во всей полноте своих многоразличных значений. Достаточно указать хотя бы на то, что рассуждения эти относятся преимущественно к прозе, поэзия же, тем более лирическая, как бы не принимается им во внимание Да и применительно к прозе почти исключительный упор на объективный смысл нарисованных писателем картин оставляет в значительной степени в тени субъективную сторону произведения — позицию автора, тенденцию, которую он проводит, его мысли, его идеалы. Критик нередко словно бы упускает из виду ту истину (вообще говоря, ему известную), что эта авторская субъективность, воплощенная в художественной идее произведения, тоже по-своему объективна, ибо выражает собой ту или иную грань «духа времени», а следовательно, и сама может быть предметом весьма содержательного и полезного критико-публицистического осмысления.

Все так, но этим вовсе не отменяется и даже не умаляется ценность добролюбовского «завета» Он не всеобъемлющ, это правда, но ведь не всеобъемлющ и завет любого другого из мыслителей прошлого, иначе все остальные классики мысли и литературы были бы нам просто не нужны. Подход Добролюбова к литературе и к задачам критики можно и нужно корректировать и дополнять, но его уже нельзя — без ущерба для самой литературы — ни опровергнуть, ни обойти.

Итак, открытость тому знанию о жизни, которое несет в себе литература. Это — прежде всего. Но не менее важно и другое: умение прочесть, увидеть и понять

Перебирая в памяти основные критические работы Добролюбова нельзя не отметить одну их разительную особенность: крупнопроблемность Что ни статья, то целая глыба — новая огромная тема, связанная с каким-то фундаментальным общественным явлением. «О степени участия народности в развитии русской литературы» — история литературы по Добролюбову, взгляд на ее развитие с точки зрения жизненных интересов трудового большинства нации. «Деревенская жизнь помещика в старые годы» — крепостной строй в его развращающем воздействии на господствующий класс. «Николай Владимирович Станкевич» — выработка основ демократической этики «Темное царство» — исследование социальной психологии общества, основанного на неравенстве и угнетении .. Проблемы разные, но широта их постановки и решения везде одинакова. масштаб темы и мысли везде максимальный для социально-конкретного, не уходящего в философские абстракции критико-публицистического исследования действительности. Человек и общество, народ, Россия — не меньше.

Быть может, тут нужно благодарить саму литературу, широтой своих художественных обобщений обеспечившую соответствующую масштабность их осмысления критикой? Но, с другой стороны, те же классические произведения были перед глазами и многих других критиков, и никто не интерпретировал их с хотя бы приблизительно равной социально-исторической глубиной.

Решительное преимущество Добролюбова заключалось, если сказать одним словом, в системности его понимания окружающей действительности. Там, где другие находили лишь массу больших и малых частностей и случайностей, случайно же соседствующих или сцепленных между собою, конгломерат отдельных, разрозненных явлений, процессов, социальных групп и сил. он видел нечто внутренне однородное, подчиняющееся общим закономерностям. Иначе говоря, видел систему. И это полностью меняло для него всю панораму общественной жизни и определяло линию его собственного общественно-литературного поведения. Из статьи в статью Добролюбов, как и Чернышевский, учит своих читателей относиться к окружающей их действительности не как к случайному скоплению разнообразных социальных зол, но именно как к системе, учит видеть в тех или иных дурных ее сторонах не «недостатки», более или менее изолированные и поправимые, но органические, взаимосвязанные и неотъемлемые свойства, устранимые лишь вместе со всей этой системой.

Здесь проходил важнейший для понимания творчества Добролюбова водораздел: черта, разделяющая его со всей массой либеральных реформаторов и улучшателей, отважных (в кавычках и без кавычек) критиков той или иной общественной «неправ-

ды» И он сам в своих статьях проводил эту черту с резкостью, исключающей какие-либо недоразумения. «Они, например, вдруг вообразят,— писал критик о подобных реформаторах,— что надо спасать крестьян от произвола помещиков; и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют... А то выдумают вдруг — взятки искоренять... Оно, конечно, благородно и высоко: да можно ли сочувствовать этим неразумным людям?» Они «выходят бесполезны и смешны, потому что не понимают общего значения той среды, в которой действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве?» (VI, 125—126)

Именно благодаря этому «чувству системы», едва ли не каждая по видимости локальная литературная тема воспринимается Добролюбовым как характерное и знаменательное проявление общественного целого и тем самым как бы «достраивается» до этого целого, осмысляется в своем полном социально-нравственном значении. К примеру, там, где большинство критиков Островского видели лишь воспроизведенный с этнографической достоверностью быт купеческого Замоскворечья, Добролюбов увидел «темное царство», внутренне однородное и в купеческом доме, и в барской усадьбе, и в канцелярии,— огромный, до символа, образ мира, в котором один человек давит, гнетет и унижает другого.

Так достигалась адекватность критической мысли — художественной масштабности классики: логическое обобщение оказывалось конгениальным художественной «сверхзадаче» произведения, его не только ближнему, но дальнему смыслу. Результат, казалось бы, неожиданный (если учесть демонстративно провозглашаемое Добролюбовым отсутствие интереса к тому, «что хотел сказать автор»), но, по существу, естественный и логичный: ведь и интуиция художника иным путем вела его к постижению той же «системной» целостности социального мира. Большая литература и классическая «реальная критика» шли вровень, но каждая со своим содержанием и со своей особой задачей. Поэтому им было что сказать друг другу.

В свою очередь сознание системности «царующего зла» Добролюбову давала мощная позитивная идея, составлявшая основу и суть его мировоззрения. Как мне уже приходилось писать (см. «Октябрь», № 2, 1986 года, где названная тема развита довольно подробно), такой «общей идеей» добролюбовского творчества стала одна из «вечных» и самых больших идей, к каким когда-либо приходила человеческая мысль,— идея д е м о к р а т и и, свободной, суверенной личности в демократически организованном обществе. У Добролюбова она сказывается решительно во всем: и в его концепции человека, и в отношении к народу, и в остроте отрицания существующего антидемократического строя, и в подходе к проблеме «Россия и Запад», и в его этике, и во всей совокупности его литературных взглядов. Здесь — объяснение исключительной цельности личности, миропонимания и творчества критика; здесь же, в общечеловеческой масштабности и уходящей далеко в будущее перспективности его главной идеи (так что не только в е г о будущее она простиралась, но и в наше, насколько хватает взгляда), решающий источник исторической правоты и силы добролюбовского слова.

Итак, отношение к литературе как к достоверному и неиссякаемо богатому источнику познания общества; разносторонность и последовательность этого познания, доводящая до полного выяснения тех коренных, системообразующих начал, на которых это общество строится и живет; наконец, большая и яркая публицистическая мысль, руководящая этим познанием общества через литературу, придающая ему энергию и целеустремленность, насыщающая каждую клеточку текста, с равной силой являющая себя в отрицании и в утверждении, в сарказме и в надежде,— вот что такое, если сказать совсем кратко, Добролюбов-критик, и сама «реальная критика» в ее классическом виде, и главные ее заветы.

НУЖЕН ДОБРОЛЮБОВ!

Кажется, где как не у нас и когда если не сегодня и быть такой критике! В итоге семидесяти лет своего существования советская литература вобрала в себя уникальный по богатству и ценности для всего человечества исторический опыт — опыт реального социализма, прошедшего через ряд исторически своеобразных этапов путь от социалистической революции до состояния своей зрелости — в качестве системы общественных отношений давно уже развивающейся на собственной социально-экономической основе. Ныне мы находимся в такой точке этого пути, откуда он едва ли не лучше, чем когда-либо, виден весь в целом, не заслоняемый никакими временными, при-

входящими обстоятельствами, виден в своих реальных причинно-следственных связях, подлинных закономерностях и результатах. И наша литература, надо отдать ей справедливость, с большой степенью полноты отразила все это: и путь, пройденный страной, и его естественно-исторические итоги — современное состояние общества в различных его аспектах: экономическом, социально-культурном, нравственном.

Какое обширное тут поле деятельности для «реальной критики»! Основанный на живых, типичных лицах и положениях, анализ современной действительности и сформировавших ее исторических процессов мог бы быть куда ближе к жизни, конкретнее и богаче тех по большей части заданных и схематических построений, которые все еще предлагает наша социально-политическая литература. И сколь слышным, сколь общественно действенным могло быть слово критика-публициста — особенно если принять во внимание остроту нынешних социально-экономических проблем, многие из которых не только созрели, но давно перезрели в ожидании своего неформального, неуклончивого, истинно проблемного осмысления и разрешения!

Тем не менее поле лежит невспаханным. Есть у нас всякая критика, и такая и этакая, но критики «реальной», то есть той, что судит о литературе в контексте серьезного и последовательного разговора об обществе,— такой критики мы давно уже не видели в своем отечестве.

И даже можно сказать, как давно. Со времен «Нового мира» эпохи Твардовского, чья критика имела свои исторически обусловленные слабости, но — ни одного из тех жалких пороков, о которых говорилось на съезде писателей: ни благодушной терпимости к серости, ни расчетливой комплиментарности, ни угодливости и чинопочитания, сильна же была именно своей социально-критической и публицистически-исследовательской нотой.

На протяжении последующих полутора десятков лет эта нота почти не слышна была в нашей критике, и руководство Союза писателей испытывало по этому поводу понятное чувство облегчения: никто никого не «очернял», каждый сверчок знал свой шесток критика скромно «обслуживала» и не заявляла несоответственных претензий. И ее тогда даже начали было очень похваливать — по сути дела, именно за непритязательность и скромность. Как о достижениях и заслугах говорилось о том, что по прошествии времени обернется справедливо засчитанным поражением...

В чем же конкретно выражается дефицит добролюбовского начала в современной критике? Да как раз в отсутствии или по крайней мере разительной нехватке едва ли не всего того, что составляло решающие условия силы и успеха автора «Темного царства».

В самом деле, как ведет себя нынешний критик, когда он сталкивается с произведением, в котором наша действительность представлена с той или иной степенью новизны в изображении современного человека и обстоятельств его общественного существования? В особенности в том случае, наиболее часто встречающемся за последние десятилетия, когда писатель затрагивал темы социально непривлекательные, болезненные, связанные, например, с известными застойными явлениями в экономике, с сопровождающими их процессами в сфере общественной нравственности и т. п. Говорит ли наш критик, подобно Добролюбову: вот произведение, вот его лица и положения, они живы и узнаваемы, следовательно, правдивы и типичны; а вот жизненные обстоятельства, которые в них отразились и которые в свою очередь обусловлены следующими историческими причинами, имеют вот такое значение в составе общественного целого, свидетельствуют о таких-то и таких-то противоречиях и тенденциях его развития? Нет, подобная дотошность и обстоятельность нынче совсем не в моде. Вместо нее, как правило, реализуется один из следующих двух вариантов.

Худший (но тем не менее все еще весьма распространенный) состоит в том, что, прочитав правдивую и острую книгу, критик в силу искреннего ли догматического заблуждения или просто «по долгу службы» сердится на автора, выговаривает ему за отступление от «нормы» — от того, как считается правильным писать о соответствующих предметах.

Такой способ критики имеет у нас, как известно, давнюю традицию, а лет тридцать — сорок назад он почти безраздельно господствовал. И господствовал не только де-факто: под него в те годы была подведена своего рода теория, согласно которой критик обязан был подходить к любому произведению с вопросом, «соответствует ли изображение героя в данном произведении *идеалу* советского человека», и от него требовалось «показывать, каким *должен* и каким *не должен* быть советский человек и содействует ли произведение воспитанию *должного* в борьбе с *недолжным*». Так писал В. Ер-

милов [10], бывший в те годы едва ли не главным рупором господствующей системы взглядов на литературу.

На такой основе был построен тогда целый кодекс твердо установленных правил, что и как следует изображать. В частности, и для ситуации, когда в произведении выведен в порядке исключения активный отрицательный герой. «Конечно,— допускал В. Ермилов,— возможны и такие произведения, ход сюжета которых связывается с отрицательным персонажем, пытающимся вести «наступление» (разумеется, в кавычках! — *Ю. Б.*). Но и в таких случаях обязанностью (!) художника является показать, что «наступление» отрицательного героя — лишь мнимое наступление, потому что, по сути дела, по силе объективных законов нашей социалистической действительности, историческое наступление ведут наши положительные герои, наш советский народ, идущий, под вдохновенным водительством великого Сталина, к коммунизму... То положительное начало, которое является ведущим, наступательным в самой нашей действительности, должно (!) играть роль ведущего и наступательного начала и в художественном произведении»[11].

Подобные предписания распространялись на все литературные формы, в том числе и на комедию: в ней обязательно следовало показывать, что «слабости и недостатки того или другого советского человека вступают в непримиримое противоречие со всем духом... социалистического общества» [12], что «отрицательные типы в советском обществе действуют в среде чуждой и враждебной им»[13] и что даже «в тех пьесах, где действовали бы лишь отрицательные персонажи, конфликт заключался бы в борьбе побеждающего нового с обреченным старым» [14].

Твердость регламентации, уверенность заведомого знания, «что в романе быть должно», были в те годы таковы, что сцена из «Теркина на том свете» Твардовского, где «обсудить проект романа члены некие сошлись» и, «изложив свои наметки, утверждают по томам», выглядела едва ли не как бытовая картинка литературной жизни.

Это, конечно, уже самостоятельная историческая тема, в которую здесь нет возможности слишком углубляться. Но весьма интересно и полезно было бы проследить, в каком разительном противоречии находилась литературная теория рассматриваемого периода с эстетикой русских революционеров-демократов. И более всего как раз со взглядами Добролюбова, чьим именем тогда по характерному парадоксу истории особенно часто и громко клялись...

Сколько вреда принесла нашему искусству подобного рода критика, выступавшая с позиции социалистически «должного»,— невозможно исчислить! И стимулированием серийного производства конъюнктурно-ремесленнических поделок и, с другой стороны, истреблением или заведомой порчей (в том числе на стадии замысла) многих и многих подлинных произведений искусства. Выдавая за действительность бюрократическую «легенду» о ней, именно к этой-то «легенде» и подтягивали литературу, обрубая, словно на прокрустовом ложе, все, что так или сяк выходило за ее рамки. Как предупреждал в свое время Добролюбов, достаточно хотя бы отчасти признать нормативную критику правомочной — и вы от нее не отвертитесь. «Она по пальцам докажет вам, что то, чем вы восхищаетесь, никуда не годится, а от чего вы дремлете, зеваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище». «И если читатель согласится дать нам право приступить к пьесе с заранее приготовленными требованиями относительно того, что и как в ней должно быть,— больше нам ничего не нужно: все, что несогласно с принятыми у нас правилами, мы сумеем уничтожить» (VI, 296, 299). Это сказано как будто о деятелях типа того же В. Ермилова, который, предлагая в качестве образцов литературные «потемкинские деревни» вроде «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского («подлинно народная книга»), вместе с тем обрушивался на лучших писателей этого времени: на Платонова (статья «Клеветнический рассказ А. Платонова»), Гроссмана (статья «Вредная пьеса»), Твардовского (статья «Фальшивая проза»), и не за что другое, как именно за собственную мысль и живую правду, расходившуюся с вышеупомянутой «легендой».

Конечно, с тех пор много воды утекло, подобные критические экзекуции давно уже

---

[10] В. Ермилов, «О партийности в литературе и об ответственности критики» («Литературная газета», 19 апреля 1947 года).

[11] В. Ермилов, «Некоторые вопросы теории социалистического реализма» («Знамя», 1951, № 7, стр. 165—166).

[12] В. Ермилов. «Смелее показывать жизненные противоречия и конфликты» («Молодой коммунист», 1952, № 23, стр. 66).

[13] В. Ермилов, «Некоторые вопросы теории советской драматургии» («Литературная газета», 28 октября 1952 года)

[14] То же («Литературная газета», 30 октября 1952 года).

вышли из моды, но разве наследие ермиловского (чтобы не искать иных определений) периода, отложившись в костях, осев в подсознании не одного поколения критиков, редакторов, самих писателей и всех, «кому ведать надлежит» литературными делами, не сказывается и по сию пору? То приделанным к роману, пьесе, рассказу счастливым концом (или хотя бы намеком на его возможность), то расчетливо устроенным «балансом» тени и света, то словечками типа «иногда», «кое-где» и т п.— хотя бы речь заведомо шла о явлениях массовых, повсеместных, то поисками авторитетной цитаты, чтобы на всякий случай прикрыться ею, то какими-нибудь другими проявлениями опасливой оглядки на идеологический стереотип, какими-либо иными уступками внутреннему редактору, полуправде, неправде.

Если говорить собственно о критике (хотя очевидно, что это зло отнюдь не «внутрицехового» свойства), то она научилась облекать свое недовольство художественной правдой и остротой мысли писателя в разного рода косвенные, трудноузнаваемые формы, в том числе и в форму как бы чисто художественных претензий Один из сравнительно недавних примеров тому — упреки В. Распутину за повесть «Прощание с Матёрой» (1976).

Писатель создал произведение смелое, жгучее, символически-масштабное, где не одна лишь старая деревня, затопляемая при строительстве ГЭС, со своими избами и разоренными могилами, а как бы весь живой мир уходил на дно — жертвой слепоты и бездушия тех, кто отдает приказы, и прогрессирующего нравственного опустошения их равнодушных исполнителей Не только устами героини, старой крестьянки, но всем своим сюжетно-образным строем повесть прямо и резко ставила вопросы: туда ли идем? так ли живем? Выражая, между прочим, ту самую мысль, что несколькими годами позже прозвучит с трибун и станет едва ли не общепринятой.

Что же тогдашняя критика? А критика, словно не понимая, о чем идет речь, заговорила о том, что старуха Дарья, «упорно цепляющаяся корнями за уходящий остров», с одной стороны, подозрительно умна для своей деревенской темноты, а с другой — за деревьями не видит леса, не учитывает, что «стремительный темп индустриального развития (теперь его чаще именуют застойным.— *Ю. Б.*) закономерно упраздняет некие становящиеся архаичными формы жизни»; да и сам автор «в тенденциозности своей невольно преступил... черту объективности», проявил «явно ослабленное... чувство исторической перспективы» Формы упреков были очень различны — от устарело-лобовых («ограниченность авторской позиции») до современно-деликатных и велеречивых («нехватка воздуха», «формообразующие просчеты»), но в основе их более или менее явственно ощущался все тот же казенный оптимизм, в соответствии с которым писателю и следовало «поставить на вид» — для его же пользы.

Другим примером того же рода может служить обсуждение в «Литературной газете» (за 15 октября 1986 года) романа Ч. Айтматова «Плаха». Но в целом для сегодняшнего дня уже, пожалуй, более характерен иной вариант реакции критики на проблемное, социально значительное современное произведение, в особенности если оно принадлежит автору с именем. Вариант, противоположный предыдущему и по видимости вполне благоприятный.

Он состоит в том, что критик поддерживает писателя, хвалит его за верность картины, одобряет его публицистический пафос, словом — присоединяется к автору и, заявив об этом, отходит с сознанием выполненного нравственного долга И сам себя он уважает за это, и ему пожимают руку друзья и читатели, да и времени, которое — в его лице — так обходится с острым произведением, это также законно ставится в заслугу. «Думаю,— замечал, например, Л. Лавлинский,— что и дружно одобренная нашей критикой повесть В Распутина «Пожар»... появись в другие времена, вызвала бы в печати куда более разноречивые толки Сегодня спорят, насколько совместима с повествовательной формой избранная автором степень публицистичности. А вчера спорили бы, не сгустил ли писатель черные краски, не страдает ли его произведение пессимизмом или другими смертными грехами идеологического порядка. Ведь на нашей памяти происходили события, связанные с различным отношением к распутинской „Матёре“» [15].

Все это так, и можно было бы вполне предаться приятным чувствам радости и самоуважения, если бы... не Добролюбов, не его охлаждающий пример. В самом деле, ведь если наш критик хорош только тем, что не бранит, а хвалит писателя за правду и ограничивается этим, то не значит ли это, что он, по сути дела, к о н ч а е т тем, чем Добролюбов только н а ч и н а л свой разговор о жизненно значительном произведении?

[15] Л. Лавлинский, «Диагнозы и рецепты» («Литературная газета», 9 июля 1986 года).

Взять хотя бы те же критические отклики на «Пожар» Распутина. Выбор тем более оправданный, что и В. Озеров в докладе о критике на VIII съезде писателей выделил их из общего потока: «В числе наиболее удачных можно было бы... назвать не так уж мало статей и рецензий, к примеру, о повести В. Распутина „Пожар"...» [16]. Написанные по большей части известными критиками, они были достаточно многочисленными[17], чтобы рассматривать этот эпизод литературной жизни как своего рода модель современной ситуации в критике [18].

В статьях изложен сюжет повести, охарактеризованы ее основные персонажи, приведены наиболее важные места внутреннего монолога главного героя, чей голос то и дело неотличимо сливается с голосом автора, сказавшего в одном из своих интервью: «Сейчас время прямого открытого текста для литературы». «Пожар» — вещь откровенно публицистическая.

В таежном поселке горят орсовские склады, и, как пишет И. Золотусский, автор наиболее яркого разбора повести, огонь «выхватывает из темноты лица и души, проникая в них дальше, чем может проникнуть свет дня». И обнаруживается нечто страшное. Пожар, против которого в русской деревне испокон веков вставали всем миром, тут почти некому тушить. Кто-то тушит, выбиваясь из сил, другие смотрят, как на спектакль, третьи — и их много: и приезжие полублатные «архаровцы», и старожилы этих мест — мародерски растаскивают даровое добро. «Народ, пользуясь неразберихой, сует в карманы все, что ни попадет, прячет в голенища коробочки с драгоценностями, причем делают это не только архаровцы, но и бабы, и старухи...» Пожар, понятно, не причина; он лишь делает явным то, что до него определилось и стало неписаной фактической нормой. «Ивану Петровичу представляется, что люди, его в поселке окружающие... утратили былое единство, не подлежавшие раньше сомнению нравственные устои, определенное и стройное направление своего существования. „...было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть",— недоумевает Иван Петрович и мысленно гневно вопрошает и себя и своих земляков: „И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались?"» (Е. Старикова).

«В поселке», «земляки» — это лишь художественная конкретизация всеобщего. За исключением Ф. Чапчахова, который, выступив первым, чувствовал себя, видимо, неуверенно и на всякий случай предостерегал от «несправедливого обобщения», критики в один голос свидетельствуют типичность изображаемого, пишут, что повесть — о «народе» (И. Золотусский), о «нас» (Е. Старикова), о том, «что «нагорело», наболело у каждого из нас» (В. Козько) И восхищаются писателем, «...наверное, чтобы выразить вслух то, что на устах у каждого: «Мы почему, Иван, такие-то?!» — надо иметь немалое мужество». И сами от него как бы заряжаются отвагой: «...сколько же можно молчать, когда горит наш такой богатый и изобильный дом» (там же).

Но писатель-то сделал свое дело — написал повесть. А что делает критик? Его-то роль какова на общем, общенациональном (да и поднимай выше) пожаре? Обратить внимание, поддержать, повторить, подчеркнуть? Да, конечно, но не мало ли? Не означает ли это — при всей полезности названных действий — некоей заведомой интеллектуальной и гражданской вторичности, существования как бы за чужой счет?

Любопытная деталь: в каждой третьей статье о «Пожаре» — почти одинаковая концовка.

И. Золотусский: «В... повести... поставлено столько вопросов... Распутин предлагает нам решить их вместе с ним».

А. Урбан: «А пока задумаемся над предлагаемыми вопросами. В какое движение ни разрешилась бы предложенная Распутиным ситуация, поставленные им вопросы не обойти»

Е. Старикова: «А может, он и задавал их с надеждой, что мы все вместе поищем ответы на эти вопросы?.. Не торопитесь судить, помогите трудной работе ищущей мыс-

---

[16] «Литературная газета», 2 июля 1986 года

[17] Ф Чапчахов. «Дом или пристанище?». Заметки о повести Валентина Распутина «Пожар» («Литературная газета». 7 августа 1985 года); Н. Потапов, «Если ты хозяин...» («Правда». 13 ноября 1985 года); Игорь Золотусский. «В свете пожара» («Литературное обозрение», 1985. № 12); Е Старикова. «Ищущая душа». Заметки при чтении повести В Распутина «Пожар» («Новый мир». 1985. № 12); Николай Котенко, «Земля не бывает безродной» («Октябрь». 1986 № 1); Адольф Урбан. «И после пожара» («Звезда». 1986, № 1); В Козько. «Не боковым ходом» («Дружба народов». 1986. № 2); Ф. Гилис. «Мы почему такие-то?» («Нева». 1986. № 5); А. Бочаров. «Утверждение человека» («Октябрь», 1986. № 6).

[18] Статья эта была написана полгода тому назад — срок вполне нормальный для «толстого» журнала. Но время нынче бежит так быстро, что уже нужна соответствующая оговорка.

ли художника доброжелательным размышлением над его страницами».

Призывы эти обращены к читателю. Но ведь сам критик — тоже читатель, только, предполагается, особо квалифицированный и имеющий сказать публике нечто существенное, раз он выходит перед нею на журнальную трибуну. Почему же кому-то другому он переадресовывает поставленные писателем вопросы, кому-то другому предлагает помочь работе мысли художника «доброжелательным размышлением над его страницами»? Кому как не критику п р о д о л ж и т ь — уже на своем, понятийном языке — поднятую писателем тему, пойти д а л ь ш е? Особенно в ситуации «надвигающейся катастрофы» (Н. Котенко), когда «горит наш дом»...

Нет, эта простая мысль чаще всего не приходит в голову современному критику. Он настолько отвык от самостоятельного размышления на общественные темы и от того, чтобы считать это с в о и м делом, что произведения типа «Пожара» повергают его в состояние даже некоторой растерянности: по отношению к ним он не находит для себя роли. «...Публицистическое начало в новой повести Распутина столь сильно и откровенно, что критику художественной литературы вроде бы здесь и делать нечего. Угадывать затаенный смысл интонации, улавливать оттенки слова (!), разъяснять взаимодействие различных характеров... тут как будто не приходится. Сам писатель что хотел, то нам прямо и сказал: оглянитесь на себя! вы нравитесь себе?» — пишет Е. Старикова. И продолжает: «Вот и получается, думалось мне, с произведениями, где так сильно публицистическое начало, критику остается только пересказывать и цитировать писателя (чем главным образом и занимаются авторы статей о «Пожаре» — *Ю. Б.*). А спорить? О чем? Что воровать нехорошо, а убивать и того хуже? Не проще ли порекомендовать читателю самому прочитать повесть? Да и рекомендовать не надо: можно быть уверенным, что читатель имени Распутина не пропустит и поймет его».

Действительно, от критики, которая т а к понимает свою задачу, немного толку. Но рассуждение это говорит лишь о том, насколько удалилась она от традиций русской критической классики, как далеко и плачевно о т с т а л а от них.

Между тем в повести «Пожар» как раз есть с чем спорить (на наш взгляд, больше, чем в «Прощании с Матёрой»). Разумеется, вовсе не с тем, «что воровать нехорошо, а убивать и того хуже». Но, например, с отношением автора к тем же «архаровцам», в чьи неприглядные физиономии писателю-гуманисту, может быть, стоило вглядеться не с одним лишь законным осуждением, а и с большим вниманием, с жалостью к их «попранному достоинству личности» (А. Бочаров). Если же взять несколько шире, то предметом спора может быть и некая общая мысль, которая довольно настойчиво звучит в этом произведении, не только в «прямом открытом тексте», но и в самой расстановке фигур. Мысль, получившая поддержку большинства критиков, однако, думается, весьма односторонняя,— о том, что «спрашивать приходится только с себя» и что «слишком много мы перекладываем на плечи общества, освобождая тем самым человека отвечать за себя».

Что «с себя» — это, конечно, правильно, иначе любой разговор о современных проблемах лишается нравственно-обязывающего смысла и превращается в отговорку. Однако почему же т о л ь к о с себя — когда «мы имеем картину, не события, а я в л е н и я» (Н. Котенко), когда речь идет о «народе», о глубоких сдвигах в нравственном облике больших человеческих масс? Не ясно ли, что подобное сужение ответственности, какие бы благие чувства его ни питали, точно так же обессмысливает разговор, превращает его опять-таки в отговорку, в морализаторскую фразу (нередко с заметным демагогическим оттенком)? И будто бы мы «слишком много» спрашиваем с общества, перекладываем на его плечи! Мы пишем (всегда бегло) о недостатках и ответственности тех или иных отдельно взятых общественных институтов и сред (детсад, школа, семья, улица, комсомол, производственный коллектив), но общества как целого — когда же и где же? Между тем, если не касаться целого, то и о каждой из этих сфер говорить едва ли не бесполезно: ведь и в той, и в другой и в третьей, как в сообщающихся сосудах, общественная нравственность устанавливается на примерно одинаковом уровне, в свою очередь обусловленном характером и состоянием общества на данном этапе его развития.

Писатель, и не он один, похоже представляет себе дело так: что требования личности к себе и ее же требования к обществу как будто оспаривают друг у друга одну и ту же площадь: чем больше места занимают одни, тем меньше остается другим. Но это иллюзия. На деле, напротив, чем выше истинные, демократические требования личности к обществу (а только демократически развитой личности и есть де-

ло до общества, хапугу и обывателя такие «абстракции» не интересуют), тем выше и ее нравственные требования к себе. И наоборот человек, готовый принять любое состояние общества, весьма сомнителен и с точки зрения способности всерьез «спрашивать с себя», личной совести, внутреннего самосовершенствования. Только критика, с равной остротой направленная одновременно в обе стороны, и на личность и на общество, может быть по-настоящему честной, нравственной и плодотворной.

Возможен, таким образом, и спор. И все же главное дело, каким должна была бы заняться «реальная критика», избрав своим предметом повесть Распутина,— это не полемика с автором, а осмысление той картины, которая им нарисована, и обсуждение вытекающих из нее вопросов. Справедливость требует сказать, что не все писавшие о «Пожаре» устранились от такого обсуждения, целиком препоручив это дело читателю. Но и там, где оно ведется, это выглядит скорее подтверждением тезиса об отсутствии у нас «реальной критики», нежели его отрицанием или ограничением.

Центральный вопрос, на который всем своим содержанием наводит повесть, к тому же самим автором сформулированный, (и критикой, надо признать, услышанный),— это действительно «то, что на устах у каждого: „Мы почему, Иван, такие-то?!"» В самом деле, нет вопроса важнее. До серьезного ответа на него преждевременно решать, «что делать?»,— обязательно будем делать не то. Без него невозможна никакая реальная перестройка.

Одна из рецензий на «Пожар» так и озаглавлена. «Мы почему такие-то?» Но уже в начале ее высказав надежду, что о «серьезных социальных проблемах», поставленных в повести, «еще не раз будут писать критики», автор Ф. Гилис сам целиком сосредоточивается на другом — на «конфликте души и духа», на котором, по его мнению, строится повесть. Душа здесь — синоним человеческого своеволия, а дух — «часть вечной, всеобщей нравственной гармонии, сущности жизни». «Причастности к духу» не имеет в повести никто — ни хорошие люди ни плохие, и потому они равно слабы, равно обречены «Гибнет одинокая душа, потерявшая опору, и тогда, когда защищает всеобщее добро (дядя Миша Хампо), и тогда, когда расхищает и грабит его (архаровец Соня) Соединило нравственно противоположные души бессилие отстоять и защитить себя, бессилие как следствие утраты связи с высшей, общей духовной силой — единственной опорой и поддержкой каждой человеческой души».

Концепция очень ясная, давно знакомая, можно сказать, старая, почти как мир, и хотя рецензируемое произведение втискивается в нее, словно в упоминавшееся прокрустово ложе, а деспотическое навязывание ее писателю отзывается «безотчетным эгоизмом»,— тем не менее и такая точка зрения имеет право на существование. Жаль только, что она сама по себе ничего не объясняет.

Простой вопрос: откуда взялся тот «конфликт души и духа», на котором настаивает Ф. Гилис? Существовал ли он всегда или возник в какой-то момент жизни человеческого рода? Если всегда — в пользу чего говорит утверждение критика, что именно этим конфликтом «по Распутину (?), движется человеческая жизнь на земле»,— то тогда, во-первых, надо ли беспокоиться? Стоит ли воспринимать ситуацию трагически? «Двигалась» раньше, будет «двигаться» и впредь. А во-вторых, как тогда понять горькое недоумение героя (автора), вдруг осознавшего, что при его жизни, на его памяти совершился катастрофический нравственный сдвиг («было нельзя — стало можно» и т. д.)? Если же в самом деле указанный конфликт возник (или хотя бы резко обострился) на памяти поколения Ивана Петровича, если, скажем, еще в 40—50-е годы наши души сохраняли связь с «высшей общей духовной силой — единственной опорой и поддержкой каждой человеческой души», а затем ее катастрофически утратили, то как и почему это произошло? Ф Гилис не говорит об этом ни слова. Сотканная из противоречий статья его не только не приближает нас к разрешению действительно главного вопроса «мы почему, Иван, такие-то?», но уводит от него — в пустоту.

Нет, если мы всерьез хотим ответить на вопрос, вынесенный критиком в заглавие его рецензии, то как исходный постулат должны будем принять следующее: мы таковы, какими нас сделала наша жизнь, наша история — дальняя и особенно ближняя, непосредственно формировавшая нравственный облик ныне живущих поколений. И хотя каждый из нас при этом еще и таков, каким он лично он п о з в о л и л себе быть, однако и сами эти «позволения» ввиду их массовости определенным образом характеризуют действительность, нас окружающую, напоминая о том, что в человеке запечатлена совокупность общественных отношений и что общественное сознание нельзя понять вне связи с общественным бытием.

Истина старая, но лишь подтвержденная временем.

Другое дело, что это еще слишком общий ответ, его нужно конкретизировать.

В то время как Ф. Гилис парит на высотах духа [19], В. Козько переводит разговор в план сугубо земной и практический — рассказывает об успешной хозяйственной деятельности двух знатных председателей колхозов в Белоруссии. И делает вывод: «Калачик нужен, Бедуля нужен Сосновке и Егоровке», то есть нужны хорошие руководители, настоящие хозяева, они, и не храня верности «издавна заведенному общинному закону», могут держать порядок и даже иных «архаровцев» снова сделать людьми. В свою очередь по лекарству угадывается и диагноз: беда Сосновки в том, что ей, видно, до сих пор с руководителями не везло.

Что ж, оспаривать ценность хорошего руководителя (как и вред от плохого) действительно было бы странно. И все же мы готовы скорее присоединиться к реплике Н. Потапова, с удовлетворением отметившего, «что в «Пожаре» нет начальственной фигуры, которой бы — по законам поэтического правосудия — был предъявлен счет за неурядицы и упущения» Будь в повести такая фигура, это, пожалуй, только сужало бы значение нарисованной в ней картины, сводило бы ее к огорчительному частному случаю. За три с половиной десятилетия, прошедшие со времен овечкинских «Районных будней», наше общественное сознание уже должно бы, кажется, вполне и окончательно избавиться от иллюзии, будто «все дело в председателях», будто достаточно заменить какого-нибудь старого бюрократа Борзова молодым, инициативным и демократичным Мартыновым — и жизнь потечет по правильному руслу.

Кажется, единственная до сего времени заслуживающая внимания попытка ответить на вопрос о причинах изображенного Распутиным бедствия и тем внести в его обсуждение нечто свое, некую добавку к тому, что дала сама повесть, содержится в статье А. Бочарова, рассматривающей несколько современных произведений в связи с общей темой — защиты и утверждения человеческого достоинства. Мысль критика состоит в том, что «в распутинском «Пожаре» не жажда потребительства и противостоящее ему бескорыстие определяют действия персонажей, а чувство хозяина». «Что же развело Ивана Петровича с поселковыми жителями?» — спрашивает он. И отвечает: «Именно утрата — или, скажем мягче, ослабление в них хозяйского чувства, столь экзистенциально явленного в главном герое». «И архаровцами движет тоже не потребительство, а отсутствие хозяйского чувства», которое есть, как разъясняет критик, «не просто ответственное отношение к исполняемому делу, а восприятие этого дела своим».

Констатация, думается, убедительная. Автор статьи идет и дальше — к выяснению, почему же такое восприятие пропало у большинства людей, окружающих героя. Отклонив в качестве решающего объяснения утрату ими «дома», отрыв от родных мест, он обращается к главному пункту своего рассуждения. Эти полколонки журнального текста стоят того, чтобы их выписать целиком:

«В том, что архаровцы и поселковые жители тянут добро во время пожара, сказывается и их своеобразная реакция на окружающую бесхозяйственность: столько добра кругом из-за нерадивости в прорву летит, да и не впервой начальству списывать и приписывать.

А еще в их поведении усматривается и реакция на то, что их не считали хозяевами Раскрытые склады обнажили, сколько там всяческих товаров (в том числе мотоцикл с коляской, который тщетно пытался купить один из рабочих). Вот ведь что получается! Они, работяги, вкалывают, а все вкусненькое увозится на легковушках каким-то сладкоежкам Почему бы не отщипнуть от этого, все равно мимо них проносимого пирога?! И в столь извращенной форме парадоксально сказывается попранное достоинство личности А люди, чье достоинство ущемлено, не воспитываются, и ведут себя соответственно. Нет, оправдать их никоим разом нельзя, но извлечь уроки нужно.

И если говорить о том, что же обнажил «Пожар», нельзя забывать об этой нешуточной истине: чувство человеческого достоинства не возникает благодаря одному только самовоспитанию, оно стимулируется и обстоятельствами бытия. А если за людей решают, в каком месте им жить и какую работу — колхозную или леспромхо-

[19] Кстати, сейчас это очень принято. Еще лет пятнадцать—двадцать назад с легкой руки Л Аннинского «духов», «духовный», «духовность» «дух и душа», «бытие и дух», «духовный и нравственный», «нравственный и духовный» в разнообразных сочетаниях замелькали на страницах газет и журналов и вскоре буквально их заполонили Ныне это уже своего рода пароль ни к чему не обязывающего, мнимо глубокомысленного словоговорения.

зовскую — справлять, то откуда взяться полновесному достоинству?!»

Приведенная выдержка заключает в себе, без сомнения, самое существенное из того, что есть в девяти вышеназванных статьях о «Пожаре». Тем не менее она производит двойственное впечатление. С одной стороны, указаны, притом довольно-таки определенно, реальные источники нравственного зла. С другой — разговор о них как-то легковесен, не на уровне повести, не на уровне ее драматизма. Попробуем разобраться.

Итак, в первую очередь бесхозяйственность. Что хозяйское чувство к общественному добру не живет в условиях бесхозяйственности, что она не только открывает возможности, но и как бы морально разрешает «попользоваться», развращая людей, создавая обстановку вседозволенности,— это, конечно, так. Но кто только этого не говорил и не писал по тому или иному конкретному поводу! На сегодняшний день это одно из общих мест нашей печати. Однако когда является книга, которая бьет в набат, заставляя осознать что «горит наш дом», увидеть в обыденном и примелькавшемся надвинувшуюся национальную катастрофу,— то можно ли тут ограничиться одной спокойной фразой («поселковые жители» «их своеобразная реакция»), снижающей общее до частного, народную беду до заурядного «негативного явления»?

Будь на месте современного критика Добролюбов он не остановился бы на том, чтобы констатировать зависимость «ослабления хозяйского чувства» от «окружающей бесхозяйственности», но непременно пошел бы дальше, поставил бы, например, следующий вопрос. что же она такое, эта бесхозяйственность, которую мы так дружно обсуждаем? Личный недостаток тех или иных «нерадивых» хозяйственников, которых в таком случае непонятно почему держат на своих местах, или же нечто гораздо большее — свойство, пользуясь современным языком, определенного хозяйственного механизма? Если первое, то о ней не стоит и толковать. А вот если последнее, если этот механизм (как сейчас твердо сказано) в целом обнаружил свою несостоятельность, неэффективность, превратился с течением времени в систему антистимулов, всеобщей и активной незаинтересованности в хорошей работе, экономном использовании ресурсов, техническом прогрессе, повышении качества и удешевлении продукции — тогда это тоже «пожар», равномасштабный тому нравственному бедствию, о котором кричит повесть Распутина, соотносимый с ним действительно как причина и следствие.

И тогда надо уже идти еще дальше — к выяснению вопроса, чем и как такой механизм заменить. А это в свою очередь тянет за собой целый комплекс новых сложных проблем, прежде всего принципиального, теоретического порядка. Ведь если хозяйственный механизм, ныне справедливо признанный негодным, возник и длительное время существовал, то ведь не зря же и не по чьей-то злой воле? Значит, он признавался естественным и органичным для данной экономической системы, более того — единственно разумным, в наибольшей степени отвечающим ее природе. Так это и было — достаточно заглянуть в любой еще недавно выпущенный учебник по политэкономии социализма, по организации производства и пр. А раз признавался (хотя недостатки его критиковались уже многие годы), то опять же не по некоему повальному заблуждению: значит, к тому толкала определенная объективная логика системы, в основе которой лежит государственная собственность на средства производства. Совместима ли эта логика и с каким-то принципиально иным хозяйственным механизмом, способным исключить бесхозяйственность, оздоровить экономическую жизнь, в корне изменить отношение многих людей к труду и к общественной собственности? И где «формула» такого совмещения? И как должен быть построен самый этот механизм, чтобы не остаться лишь набором добрых пожеланий или частичной перелицовкой теперешнего, но отлиться в последовательную и целостную, эффективно работающую организационную систему?

Вопросы куда как непростые и, кажется, выходящие за рамки «изящной словесности». Однако можно быть уверенным, что Добролюбов, как и Чернышевский, не уклонился бы от их обсуждения, передав дипломированным экономистам типа В. П. Безобразова или И. В. Вернадского, а за собой оставив лишь заботу «угадывать затаенный смысл интонации» да «улавливать оттенки слова». Не по какой-нибудь своей особой любви к экономике и иным серьезным материям, но потому, что такие вопросы, поскольку от их разрешения зависит — ни много ни мало — судьба народа, человеческая жизнь, вовсе не были бы для него чужими и специальными.

Примерно так же обстоит дело и по второму пункту предложенного А. Бочаровым объяснения: «...реакция на то, что их (местных жителей.— *Ю. Б.*) не считали хозяева-

ми». Не считали, подразумевается, те, кто оставлял хозяйское право лишь за собой, кто для себя и только для себя держал на складе ОРСа (отдела рабочего снабжения) и «красную рыбу, которой в Сосновке никогда не видели», и иное дефицитное добро, кто «за людей» решал, «в каком месте им жить и какую работу — колхозную или леспромхозовскую — справлять». Это «не считали» — безусловно, существенный факт, одно из тех реальных «обстоятельств бытия», на фоне которых любые призывы к воспитанию в себе хозяйского чувства много теряют в своей искренности и убедительности.

Но ведь и тут критик останавливается на полпути, захватывает лишь краешек важнейшей, фундаментальной темы. «Не считали» — это так. Однако резонно спросить: не считали — вопреки реальности или в соответствии с нею? Если вопреки, то как же это могло быть? Ну-ка приди-ка ты в мою квартиру да покажи, что не считаешь меня хозяином,— я посмотрю на тебя, посмотрю да и укажу тебе на дверь. Если рабочие Сосновки не только прежде не сделали этого по отношению к тем, кто отказывался считать их хозяевами, но даже и теперь, когда все увидели, что́ было припрятано на складах, такая мысль никому из них не приходит в голову, а они только крадут, тащат, как крысы, как рабы,— значит, в действительности они вовсе не хозяева, хотя бы по бумагам и числились таковыми. А если их не считали хозяевами в соответствии с реальным положением, то именно об этом последнем и нужно говорить, притом всерьез.

По сути, по фактам А. Бочаров о том и говорит, но в этом серьезном «мужском» разговоре он вдруг переходит на какой-то искусственный, детский язык («вкусненькое», «сладкоежки»), а главное — избегает назвать вещи своими именами и хотя бы повторить тот вывод, что еще двадцать лет назад был вполне четко сформулирован, например, в одной книжке об итогах деревенского очерка 50-х годов: «Чувство не возникает на пустом месте, и чтобы ощущать себя хозяином своего колхоза, артельного добра, нужно им быть».

Между тем и простого повторения этой важной истины сегодня решительно недостаточно. То, что и двадцать и сорок лет назад уже горело и жгло,— превратилось в пожар; то, что и ко времени В. Овечкина определилось как проблема проблем, эта жизненная потребность нашего общественного развития, оставаясь хронически неудовлетворенной, обернулась подлинным бедствием — общим понижением градуса гражданской активности, стихией равнодушия, расхлябанности, стяжательства, нежелания работать и думать. Более того, привычкой ко всему этому, сложившейся антиобщественной «моралью», сплошь и рядом, как показывает Распутин, весьма агрессивной по отношению к попыткам что-либо изменить. Так что нынче уже нужно идти много дальше — и в критическом анализе наличного положения вещей (выясняя, как и почему оно могло сложиться и что означает на языке нашей теории), и в продумывании возможностей и способов его преодоления. А для начала как следует осознать, что «бесхозяйственность» и «без хозяина» имеют между собой не просто этимологическую связь: это две нерасторжимые стороны одного и того же явления — экономическая и социальная. Если работник не «хозяин» (в полном гражданском значении этого слова), а только «работяга»,— от него трудно ждать чего-либо кроме бесхозяйственности, то есть низкой эффективности, экономического застоя. И напротив, там, где царит бесхозяйственность, там, значит, человек не хозяин — ни как работник, ни как избиратель, ни как член тех или иных общественных организаций. В этом смысле уровень экономической эффективности — это в такой же мере социально-политический, как и собственно экономический показатель. И в этом же смысле демократизация — не просто спутник, но суть и условие нашей нынешней перестройки.

Кому как не критике, если бы она хотела быть «реальной», и говорить о таких вещах? Ведь если прав Распутин, если «сейчас время прямого открытого текста для литературы», то уж для критики, для публицистики — вдвойне. Писания по принципу «два пишем, три в уме», полубезмолвные перемигивания с читателем-знатоком давно обнаружили свою бесполезность. Современные проблемы так велики и трудны, а сознание общества столь многослойно и разнородно, что и при полной широте, откровенности и точности высказывания куда как непросто столковаться. А не столковавшись, как можно сколько-нибудь дружно взяться за решение этих проблем, как идти вперед?

Будь «Пожар» прочитан его критиками по-добролюбовски, с желанием и умением выявить связь нравственной проблематики этого произведения с современным состоянием общества и его коренными социально-экономическими проблемами,— повесть, можно не сомневаться, немало вы-

росла бы в их глазах[20]. И они, наверное, гораздо больше увидели бы в ней как для позитивного, «продолжающего» размышления, так и для общественно-плодотворного спора. Вместе с тем вполне очевидно, что дефицит такого желания и умения не есть особенность только данной, случайно составившейся группы критиков. Скорее напротив. Тут по крайней мере достаточно адекватно, без искажений и недомолвок передан непосредственный смысл произведения, его нравственный пафос. Более того, тут нашелся бы хоть один критик, как-то прикоснувшийся и к более глубокой сути дела. Бывает ведь и так (например, в упоминавшемся «некруглом столе» «Литературной газеты» по роману Ч. Айтматова), что смысл вещи не затрагивается вовсе, его заведомо «выносят за скобки» и говорят о другом. Так что отклики на «Пожар» — это действительно далеко не худший вариант критической интерпретации остропроблемного произведения о современности; их вполне можно считать типичными для нынешней критики, либо вовсе отказывающейся от серьезного разговора о жизни, либо, в лучшем случае, проходящей в этом направлении лишь до первого столба — коротенькую, самую первоначальную и легкую часть пути.

Итак, нет Добролюбова. Нет критики, стремящейся и способной «дойти до корней» в публицистическом исследовании социальной действительности да и литературу в свою очередь рассматривающей как явление той же действительности, как знаменательную часть общественного целого. Нет — и от этого страдают все. И общественное сознание, не получающее необходимой пищи. И литература, чьи книги и образы проходят сквозь него, как тени, не оставляя сколько-нибудь заметного следа. И даже, рискнем утверждать, та часть самой критики, которая и к историческому-то Добролюбову относится сдержанно, а в современном тем более не испытывает ни малейшей нужды. Субъективно — не испытывает, а объективно — нуждается. Ибо тут зависимость, по существу, такая: если есть в критике сильное публицистическое начало, тогда по контрасту с ним и другие тенденции могут представлять какой-то интерес, нет его — и они с неизбежностью выдыхаются и вянут.

В самом деле, представим себе: вот появился бы он, этот новый Добролюбов, в одном ли, во многих ли лицах,— как бы оживились и задвигались, например, те же нынешние Ап. Григорьевы и Дружинины! Сейчас они вынуждены киснуть, скучать, повторяться. Заранее с большой долей уверенности можно сказать, что́ произнесет по тому или другому поводу, допустим, В. Кожинов, а что В. Гусев или Ф. Кузнецов. В минимальном, первоначальном виде позиции давно определились, свое «а» каждый уже сказал, а «б» при настоящих условиях все равно оставит при себе. Движения мысли почти не видно; все уже изрядно устали друг от друга; диспуты ведутся без большого азарта и скорее ритуально, чем всерьез,— как бы ни называлась очередная разновидность этой старой игры: «два мнения об одной книге», «диалог», «круглый стол», «некруглый стол»...

И вдруг появилась бы критика р е а л ь н а я, которая, отказавшись играть в эти наскучившие игры, заговорила бы — на материале литературы и самой жизни — о насущных нуждах и проблемах нашего общественного бытия. Да не намеками, не коротенькими многозначительными репликами, так, чтобы только блеснуть, а по-добролюбовски широко и «системно», со стремлением к действительному выяснению и разрешению «больных тем» и «проклятых вопросов» времени. В соседстве с нею и другим, пожалуй, трудно было бы продолжать заниматься прежними милыми пустяками, серьезный конкурент и противник вывел бы из самодовольной неподвижности и начала, ему противостоящие, заставив их доказывать читателю, что и в них-таки есть свое положительное содержание, а тем самым — уточнять свои позиции, искать аргументы, развиваться.

И это вовсе не значит, что в результате мы стали бы всего лишь свидетелями второго издания критических баталий, бушевавших сто двадцать — сто тридцать лет назад. Как не означает и того, что «реальная критика» наших дней обречена быть подобием прежней. Отнюдь нет. Обогащенная качественно новым историческим и художественным опытом, она непременно должна будет далеко раздвинуть как мировоззренческие и эстетические рамки, так и границы и формы применения своего метода. После Толстого и Достоевского, после Кафки и Булгакова нельзя, например, представить себе сильной «реальной критики», не владеющей оружием философской публицистики (немногочисленные, но яркие образцы которой есть не только в более или менее отдаленном прошлом, но и в насле-

[20] Вспомним «некоторое разочарование» Е. Стариковой, поначалу не нашедшей в ней ничего, кроме элементарнейших моральных прописей, и лишь потом уговорившей себя с помощью почтенных историко-литературных аналогий: Толстой, Достоевский...

дии наших же 60-х годов). А каким благодатным предметом для нее может быть поэзия, Добролюбовым в этом плане почти не затронутая! И в виде общей панорамы поэзии того или иного периода, в которой зоркий глаз критика-публициста уловит многоликость и внутреннее единство «духа времени». И в виде одной, отдельно взятой, но знаменательной, творческой судьбы, своим движением выявляющей, например, динамику общественных умонастроений на разных этапах народной жизни. А каким содержательным в социальном, историческом смысле может быть тонко проведенный анализ движения художественных форм!..

Словом, нужен Добролюбов. Разумеется, новый, со всеми, лишь частично здесь названными, «поправками на время», но именно в нем, именно в таком типе критика ныне ощущалась острая нужда.

Нужен... однако возможен ли? — вот вопрос. Ведь если его в настоящее время — и уже столь длительный срок — не существует, так ведь не без причин же? Значит, налицо какие-то достаточно весомые обстоятельства, препятствующие его приходу? Да, конечно, и они отнюдь не таинственны. Что касается внешних помех, до самого недавнего времени весьма сильно влиявших на литературную жизнь вообще и на критику в особенности (гораздо больше, чем на что-либо другое), то о них дает понятие хотя бы вынужденный уход Твардовского из «Нового мира» в 1970 году, означавший собою окончание целого периода нашего литературного развития. Но главное, думается, все же не в них, а в больших трудностях внутреннего порядка, которые в последующие годы испытывала наша критика и, шире, общественная мысль в целом, и суть которых можно, пожалуй, определить так: отсутствие идеи.

Как уже было подчеркнуто, одним из непременных условий большой общественно влиятельной литературной критики является великая публицистическая идея. У Добролюбова она была — и этим в решающей мере определялась глубина и целостность понимания им окружающей действительности, исключительная последовательность и целеустремленность. Но такая могучая идея-страсть не может быть достоянием одного человека. Пусть им она владеет сильнее, чем его современниками, пусть он развивает ее ярче, глубже, полнее других — тем не менее по сути своей она должна быть принадлежностью общества, одушевлять если не всех, то хотя бы очень значительную часть его социально активных членов. Она — квинтэссенция и характеристика своего времени, концентрированное, сведенное в «единое слово» духовное выражение основного исторического содержания данной эпохи.

Не у каждого времени есть такая идея, и это естественно: не каждое время — эпоха общественного подъема. А в периоды спада или застоя духовный климат обычно не способствует формированию великих идей, еще меньше — объединению вокруг них человеческих душ. Это времена «усталости» и разочарования, разобщенности и дурных компромиссов, нравственных поблажек и измен, мелких мыслей и пустых слов. В такие времена общество как бы утрачивает перспективу; роль интеллигенции в нем понижается, да и сама она — не вся, конечно, но и не в виде досадных единичных исключений — заметно портится: омещанивается, теряет истинное самоуважение и авторитет.

Подобные периоды безвременья бывали в прошлом, не застрахован от этого и наш современный мир. Если, взяв в качестве критерия наличие или отсутствие в той или иной момент общезначимой и всеобъемлющей гражданской идеи, мы окинем взглядом основные этапы нашей советской истории, то увидим неодинаковую картину. В 20—30-е годы такой «общей идеей» эпохи было, безусловно, революционное переустройство мира, в годы войны — защита родной земли, в 50—60-е — демократизация. А в 70-е? Пожалуй, затруднишься назвать. Попытки борьбы за эффективность и качество? Охрана природы? Упрочение разрядки? Все это так, и все это были действительно важные государственные задачи и проблемы, но — если не подменять лозунгами то, чем реально живет народная мысль,— совершенно несравнимо по своей воодушевляющей силе с главными идеями предыдущих исторических периодов, в том числе и потому, что сама-то народная мысль мало участвовала в обдумывании и решении названных вопросов, ей оставлено было в основном присоединяться к уже принятым решениям. Да и существовали они в общественном сознании как бы порознь...

Отсутствие «идеи» остро чувствуется в критике 70-х и в первой половине 80-х годов. То есть какие-то идеи, понятно, все время циркулировали, переходя со страниц критических статей в беллетристику и обратно, но либо слишком частные и нередко клонившиеся к подысканию благовидных теоретических оправданий для гражданской

пассивности и конформизма [2], либо уже настолько общие, вроде вечного «конфликта души и духа» Ф Гилиса, что оказывались вовсе неприложимыми к земным делам и заботам Идеи же, выражающей основную потребность общественного развития на данном этапе жизни общества,— такой идеи наша критика в себе не несла. И это, думается, самая горшая и главная из всех ее бед и слабостей, о которых так много говорилось в последнее время. Другое дело, что это, разумеется, не ее отдельная беда и вина, а одно из проявлений некоего общего неблагополучия наряду с застойными явлениями в экономике, эпидемиями пьянства, нетрудовых доходов и пр.

В свете сказанного поставленный выше вопрос о возможности новой «реальной критики» в преобладающей мере сводится к вопросу о том, возможна ли ныне такая же сильная и всеобъемлющая идея, как та, что вдохновляла творческий подвиг Добролюбова. И если возможна, то откуда ее нынче взять? Придумать? Нет, такие идеи не придумываются. Но, может быть, и не надо придумывать? Быть может, она уже есть, существует, и наша критика, наша публицистика должны ее только у в и д е т ь, только осознать в настоящем и полном ее значении?

Похоже, что дело обстоит именно так. Идея, которую нет необходимости ни отыскивать, ни придумывать,— это закономерно возрождаемая ныне и д е я д е м о к р а т и и, широкой и последовательной демократизации всей нашей общественной жизни Идея глубоко добролюбовская и вместе с тем вечная, хотя и отнюдь не в смысле равномерного пребывания и одинакового значения на всех этапах новейшей истории она то как бы прячется, оказывается неактуальной (например, в годы войны), то выходит на поверхность и снова становится проблемой проблем.

Судьба этой идеи воплощает в себе основную линию развития нашего общества за последние тридцать лет С середины 50-х и в 60-е годы она явилась позитивным содержанием широкого и перспективного общественного процесса, набиравшего силу, несмотря на все ошибки и противоречия. В дальнейшем задача, которую тогда не смогли и не умели полностью решить, была не то чтобы отменена, но отодвинута и из живого, развивающегося дела довольно скоро превратилась в малосодержательную ритуальную фразу. Ныне в ходе начавшейся общественной перестройки демократизация вновь естественно и логически стала в порядок дня как ее непременное условие и орудие, как ее цель и суть. И хотя, вероятно, потребуется время, а главное — немало реальных и значительных шагов в направлении демократизации, прежде чем наше общественное сознание заново освоится с нею, по-настоящему поверит в ее серьезность и необратимость, рано или поздно это должно же произойти.

Значит ли это, что новый, начинающийся этап демократизации будет повторением предыдущего? Разумеется, нет. Повторения в истории неплодотворны да, по сути дела, и невозможны, эту истину знал еще Гераклит Не ограничиваясь решением недорешенных ранее задач, демократизация на этом этапе должна будет (чтобы обеспечить глубину и результативность перестройки) пойти намного дальше — и вширь и вглубь. Распространяясь не только на политическую систему, но и на экономику, и на школу, и на сферу общественной мысли, и на жизнь творческих союзов, и на всю совокупность отношений людей между собою, и на наши взаимоотношения с внешним, зарубежным миром «маленькой нашей планеты» Иначе — нельзя, иначе — сползание назад, в то бесперспективное состояние, из которого мы, слава богу, начали выбираться.

Есть основания надеяться, что по мере развертывания этого процесса станет возможной — как его необходимая грань — и новая «реальная критика» «Реальная» — и в смысле настоящей, действенной, приносящей реальную пользу.

Конечно, нельзя недооценивать могущество сил инерции, в числе которых и упомянутая «усталость» пишущих, и застарелое равнодушие «почитывающего» читателя, отвыкшего принимать всерьез, а главное, на свой счет любые, даже самые горячие и искренние слова Но ведь есть уже и усталость от усталости и ощущение, что этот затянувшийся летаргический сон ума и совести поистине подобен смерти.

И, значит, пора наконец проснуться.

[2] Чаще всего для этой цели привлекался историко-литературный материал в соответствующем порою весьма радикальном переосмыслении (Гоголь Грибоедов. Гончаров, славянофилы, Ап Григорьев и пр и пр.) Тут было проявлено много дерзости, довольно легко, впрочем, извинявшейся.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Старикова. Люди обыкновенные и необыкновенные.— **Константин Кедров.** Отчет о трудном пути.— **Ю. Лотман.** Возвращаясь к истокам.— **Александр Носов.** Живой образ Толстого.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Кантор. Трудный путь к цивилизации.— **Михаил Буянов.** Странствия Георга Форстера.

Литература и искусство

ЛЮДИ ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ

Александр Марьянин. Третье поколение. Роман. «Знамя», 1986, № 7—8.

Александр Марьянин — новое имя в литературе, но он не «молодой писатель», и темы его романа не молодые, а само название романа — «Третье поколение» — говорит о намерении писателя восстановить в памяти связь времен. А. Марьянин воссоздает эту связь внутри последних десятилетий в судьбах и характерах своих героев и через эту связь выходит к больным вопросам сегодняшнего дня. Нет, здесь не идет речь ни о взятках и коррупции, ни об охране памятников старины, ни о пьянстве, наркомании и национализме, ни о борьбе с консерваторами за технический прогресс... Впрочем, некоторые из упомянутых тем затронуты в романе А. Марьянина. Только трактуются они не с публицистическим пафосом и напором, чему в литературе много свежих примеров, а сдержанно, в применении к жизни отдельного человека. Так мы с вами рассказываем друг другу семейные истории наших общих знакомых, людей вроде бы ничем особенно не выделяющихся, а вот, поди же, что у них в конце концов случилось. И попробуйте оторвать такой рассказ от общей нашей истории, обойти в нем 1941, 1945, 1953 год и так далее. Обойдете — и останутся пустяки, даже если хотите рассказать о подлинной драме. В рассказе А. Марьянина история предстает отраженной в частных судьбах людей, типичных в самом прямом и традиционном смысле этого слова. Перед нами — «наши знакомые» (помните роман Ю. Германа 30-х годов?), но уже второй половины нашего века.

Ощущению типичности, нормальности, даже обыденности истории с трагическим зачином и трагическим концом способствует и авторская манера изложения. С первых строк романа очевидно присутствие некоего рассказчика, человека, безусловно знавшего героев, желающего как можно правдивее, ничего не преувеличивая, поведать о случившемся. И говорит он языком, свойственным большинству своих героев. А так как речь идет в первую очередь об одном южнорусском городе, об одном заводе, о его дельном директоре, о его молодых подчиненных, то и для рассказчика характерны живописные интонации юга России, специфические словечки здешнего человека, человека современного, заводского, скорее всего из так называемого среднего звена технического руководства предприятия, к тому же коренного жителя города, неплохо осведомленного о его прошлом. Авторский рассказ естествен, по-своему выразителен и пестрит словами «специальность», «энтузиазм», «плановик», «сигнал», «нормально», «лично», «впечатляет», «изделие»... Таковы уж краски этого совре-

менного «сказа». Он почти на всем протяжении первой половины романа выдержан автором довольно точно. И очень умело и скупо введены в речевую ткань технические термины, атрибуты жизни производственников и физиков: рассказчик не обременяет читателя разъяснением специальных подробностей и обращается как бы к тем, кому они не меньше понятны, чем ему. Для читателя же некий «элемент» или некий «синтез», над которыми работают герои романа, предстают условными, но достаточными символами профессиональных удач и трудностей героев.

Но прежде все-таки сама их история...

В небольшом приморском городе на небольшом заводе в самом конце 40-х годов нашего века работали три молодых человека: местный — Гришка Клебанов и приезжие — недавний фронтовик Миша Лапин и только что окончивший вуз ленинградец Илья Игельник. Все трое занимали одну комнату заводского общежития, были почти ровесниками и, естественно, сдружились. Случай свел их с девушкой из интеллигентной, известной в городе семьи. Все три молодых человека влюбились в сероглазую Нонну. Но влюблены они были, так сказать, в разной степени, и для одного лишь Гришки чувство это стало пожизненным. Нонна же волей случая сблизилась с женатым человеком, неким Суздальцевым. Этот деятель со всем набором качеств обычного карьериста уже тогда обещал выйти в большие начальники. А тут наступили серьезные исторические перемены середины 50-х годов, позволившие Суздальцеву переехать в Ленинград, забрав с собой в некий научный институт Лапина и Игельника — талантливых физиков, прозябавших на заводе. Нонна же родила вскоре сына, о чем Суздальцев так и не узнал. Вернее узнал, но только через двадцать пять лет. Эта четверть века и разделяет первую и вторую части романа А. Марьянина.

Вторая часть относится уже к 70-м годам, когда бездетная жена Суздальцева, «железная женщина», руководящая карьерой мужа, решает по разным сложным соображениям «усыновить» Артема (так зовут сына Нонны). Тот переезжает в Ленинград, поступает в аспирантуру, намереваясь при поддержке «папы» быстро сделать карьеру. Артем малоспособен, нетрудолюбив, наивен, но претензии у него большие. Он-то, Артем, и должен представлять в романе то третье поколение, о котором хочет заставить задуматься своего читателя А. Марьянин: откуда к нам пришли иждивенчество, безответственность, жажда комфорта и привилегий любой ценой? Роман кончается трагически, но о его финале скажем позднее. Пока — только о расстановке сил внутри романа.

Построен роман искусно, иногда, быть может, с излишним нажимом на беллетристическую увлекательность, читается с большим интересом. И думается, что и по столь беглому пересказу видно: расстановка сил в романе знакома каждому читателю по собственным жизненным впечатлениям, а став предметом литературы, и поучительна. Если же свести все многочисленные и умело переплетенные линии романа в некую равнодействующую, то можно сделать вывод, что главной проблемой «Третьего поколения» является проблема конформизма, изображение его долговременных последствий, частных психологических проявлений и общих результатов — и нравственных и общественных.

Зачем чистой, прямой, не помышляющей ни о карьере, ни о привилегиях Нонне этот гладкий, пошлый, равнодушный, незаслуженно преуспевающий Суздальцев? Как могло получиться, что отцом ее сына стал он, а не один из влюбленных в нее веселых товарищей и ровесников? Ведь как ей нравился Миша Лапин... Не отвечая на вопрос прямо, А. Марьянин психологически точно изображает недоумение самой Нонны перед собственной судьбой. Когда овдовевший Суздальцев из житейских соображений предлагает ей, как в старину говорилось, руку и сердце, Нонна признается: «Знаете, Николай Владимирович, я, кажется, скорее бы умерла, чем пошла на это. Вот даю вам честное слово!» Что же было двадцать пять лет назад? Так ли уж изменился Суздальцев, так ли уж слепа была Нонна? Ни то и ни другое. А. Марьянин психологически точно объясняет эту непростую, но распространенную ситуацию. Не сгущая красок, романист очень точно изображает, как общая темная атмосфера — подозрительности, доносов, страха — искажает перспективу человеческой судьбы, путает нравственные ориентиры, искривляет сами критерии, которыми человек меряет себя, порождает опасения, которые толкают человека, особенно женщину, всегда как-никак ищущую опоры и защиты, на случайный путь, даже когда она довольно быстро различает его случайность.

А Илья Игельник с его блестящим умом и иронией? Что сделало его «серым кардиналом» при малоодаренном карьеристе? Равнодушие к своей личности, уверенность, что его способностям все равно не будет хода, рожденный этой уверенностью страх

за свое дарование. Раз все равно приходится расстаться с мечтой о призвании, в данном случае о теоретической физике, то уж лучше стать «серым кардиналом» — хоть при Суздальцеве, но ведь все-таки кардиналом, что в переводе на наш современный язык означает, опять-таки в данном случае,— доктор наук, хорошая квартира в центре Ленинграда в одном доме с начальством и... пусть и урезанные возможности заняться любимым делом. Все не спирт разносить по провинциальному заводику, как приходилось некогда!

А Вера Никитична, жена и руководитель карьеры Суздальцева? Может быть, это самый яркий образ романа. Прекрасно написан, например, диалог Веры Никитичны и Михаила Лапина: сколько ума, властной силы, коварства, устремленности к цели (правда к пустой, ложной цели) и — в ее-то возрасте! — женского обаяния Так ведь и у нее позади, до Суздальцева, своя драма, свой страх, и ее выбор обтекаемого Суздальцева — это женский способ борьбы за существование. Обо всем этом рассказано в романе как бы вскользь, но проглядывается многое. Особенно хороша сцена, когда, узнав о своей смертельной болезни, Вера Никитична ищет на заснеженном кладбище в сумерках могилу первого, истинного мужа, своего комдива, с трудом переползает через ограду и, припав к земле, рыдает, рыдает об иной, несостоявшейся жизни. Какая сцена! Она одна говорит о больших возможностях писателя.

Но что же, А. Марьянин оправдывает «конформистов поневоле», списывая их вину на «плохие времена»? Нет, не оправдывает, а объясняет, за что именно каждому приходится расплачиваться, может быть, и не в меру своей вины, но достаточно жестоко: талантом, любовью, преждевременной смертью, наконец, судьбой сына. «Знаешь, Артем, а ведь я прожила нехорошую жизнь...— признается Вера Никитична.— Но, к сожалению, только в шестьдесят шесть лет до меня это вдруг дошло».

Что же нехорошего видит в своей комфортабельной жизни сама Вера Никитична? «Почти всю жизнь я прожила без любви»,— пытается объяснить свою вину перед собой женщина, забыв об оплаканном комдиве. об отнятой у нее любви. Нет, это неточный ответ, я думаю, он целиком на совести неточного здесь автора. Но есть и другой ответ той же женщины: «Я готова была и бегать, и волноваться, и что-то доказывать, интриговать, но меня вовсе не волновала истина». Это, по сути, точнее, но это — мысль автора, его оценка, а для его героини, такой земной, практичной, деловой, слишком уж отвлеченно.

Однако легко ли отвечать на такие вопросы? Хорошо уже то, что автор ставит их перед нами, ведь однозначных и исчерпывающих ответов здесь нет.

Через весь роман «Третье поколение» проходит спор между героями о том, что такое хорошая жизнь и нехорошая, хороший человек и нехороший. Нонна, например, целую лекцию читает Суздальцеву о том, что в ее глазах прекрасен тот человек, кто бескорыстно деятелен, например, некий коллекционер, создавший своими силами музей для города. Очень нравоучительно и... малоубедительно. Особенно в приложении к данным обстоятельствам — при встрече случайных родителей случайного сына. До музеев ли тут?

Гораздо убедительнее для читателя удивленная реакция постаревшего Клебанова на слова Артема о том, что он, Гришка, неудачник. Оттого что навсегда остался в родном городе? Оттого что всего-навсего замначальника ОТК провинциального завода? Оттого что всю жизнь любит одну женщину, которая так и не вышла за него замуж? Но разве быть обыкновенным человеком — это неудача? Разве могут чисто внешние обстоятельства служить мерой счастья или несчастья? Неужели не очевидно, что те же самые факты с такой же вероятностью можно воспринять и с противоположным знаком? Ведь можно и так сказать: какое счастье всю жизнь прожить в родном городе, любить одну женщину и занимать почетное, заслуженное место там, где ты начинал свой жизненный путь! Снисходительная жалость Клебанова к Артему, холодному, вялому, считающему, что ему чего-то кто-то недодал, мерящему и свою и чужую жизнь вот этими самыми внешними примитивными мерками,— именно такой ответ со стороны симпатичного и определенно удавшегося автору героя. Точка зрения рассказчика с его «нормальным» уровнем нравственной требовательности и ближе всего к точке зрения Григория Клебанова, верного в любви и товариществе, занятого делом, а не карьерой. Нравственное достоинство обыкновенного человека — это и есть вторая тема романа А. Марьянина, сопутствующая в нем теме конформизма. Провести тонкую, незримую границу между опасной уступчивостью конформизма и твердостью обыкновенных нравственных норм — задача автора, как я ее поняла. Но именно задача, трудная задача.

А я, читая роман А. Марьянина, вспоминала любимое мною определение демократизма, принадлежащее прозаику Ивану Катаеву. Тридцатидвухлетний писатель задавал в 1934 году себе и своим согражданам вопрос: «Что нам с вами нужно, чего мы хотим в свой полдень?» И отвечал так: «Пусть будут счастливы народы, а уж мы не пропадем. То, что хорошо для всех, превосходно для каждого из нас». Нельзя сказать, что за истекшие полвека эта позиция органического демократизма утвердилась для всех нас в своей очевидности. Во всяком случае для А. Марьянина и его героев она предстает сложной проблемой.

Предыстория романа начинается сопоставлением обыкновенного и необыкновенного в поведении человека. Дедушка Нонны, доктор Бадер, погиб при немцах в гетто, будучи принятым за еврея: он не желал защищаться своей «расовой чистотой». Его сын, блестящий пианист, запятнал себя тем, что дал концерт оккупантам, затем, искупая свою вину, погиб на фронте. Так начинается в романе цепь сравнений обыкновенной нравственности и необыкновенных проявлений безнравственности.

Поставленные в романе А. Марьянина вопросы об обыкновенных и необыкновенных людях, о цене счастья и видимого благополучия приводят автора «Третьего поколения», как и многих его предшественников в русской литературе, к размышлениям над известными формулами Достоевского. «Знаете, существует такая, ну, что ли, нравственная задача...— рассуждает у А. Марьянина один из наиболее положительных героев — Михаил Лапин,— человек имеет возможность сделать массу добрых дел, но при одном условии — при том, что он должен совершить, ну в качестве, что ли, надбавки, еще небольшую, назовем ее даже мимолетной, подлость». Герой А. Марьянина склонен видеть здесь теоретическую задачу с неизвестным ответом. Он признается: «...я не готов сейчас ответить, как именно должен повести себя в такой ситуации человек. Это только в теории можно вести себя идеально. А на практике, в жизни, хочешь не хочешь, но компромисс существует. И «детская слезинка», и, к сожалению, не одна, проливается... А кто-то имеет, быть может, даже право... идти на какого-то рода компромисс, особенно если он абсолютно твердо знает, зачем он на это пошел... Но это один. А другой под этим благородным лозунгом такое количество подлостей натворит, что они... перевесят то доброе, во имя которого он на это пошел; а третьему настолько будет противна эта совершенная им хотя бы и маленькая подлость, что он от такого потрясения никогда, возможно, не оправится... Каждый решает эту задачу лично для себя».

Последнее-то, безусловно, справедливо. Но рассуждение о праве одного преступить нравственный закон — рассуждение опасное, рассуждение человека, озабоченного в первую очередь снижением нравственной нормы для удобства своего собственного существования. Вот тут-то и пролегает граница между моралью обыкновенного нормального человека и нравственным релятивизмом принципиального конформиста. Обыкновенный человек заранее не озабочен неизбежностью компромисса, а идя на него, не оправдывает себя его неизбежностью. Он себя винит в своей слабости. Он говорит себе, что совершил если не преступление, то подлость, а если не подлость, то проступок. Мне кажется, что рассуждение о праве одного на компромисс и об отсутствии у другого такого права вложено автором «Третьего поколения» не в те уста. Это мораль не честного Лапина, а скользкого Суздальцева. К счастью, сам писатель не придерживается этой сомнительной морали, он явно стоит в одном ряду с теми обыкновенными людьми, которые признают нормальным жить как все, не требуя для себя никаких привилегий, в том числе и нравственных, как бы это иной раз ни было трудно.

А. Марьянин не философ, он прежде всего хороший рассказчик. И интереснее всего он рассказал о втором поколении, видимо, поколении своих сверстников, а не о третьем, которому, судя по заглавию, собирался посвятить роман. Сам по себе образ инфантильного и безответственного Артема любопытен. Но исключительный финал романа об обыкновенных людях — неожиданное убийство, то ли из ревности, то ли из зависти, совершенное вялым, изнеженным Артемом,— показался мне искусственным. В этом сюжетном ходе легко прочитывается на сей раз верная, но наперед заданная мысль автора: непредсказуемы плоды того самого компромисса, который один из его героев был готов оправдать ввиду его житейской неизбежности, того конформизма, против которого выстояли самые любимые герои писателя. Верная мысль в финале романа вылилась в назидательную схему.

Тем не менее несмотря на ряд неточностей автора в решении заданных самому себе задач, в целом роман «Третье поколение» интересен: он заставляет и думать и вспоминать. Ожидая новых книг А. Ма-

рьянина, хочется пожелать ему большего доверия к собственной немалой наблюдательности и осторожности перед соблазном острых, но искусственных беллетристических схем.

Е. СТАРИКОВА.

★

ОТЧЕТ О ТРУДНОМ ПУТИ

Игорь Золотусский. Трепет сердца. Избранные работы. М. «Современник». 1986. 542 стр.
Игорь Золотусский. Отчет о пути. «Знамя», 1987, № 1.

Игорь Золотусский — критик трудного поколения. Трудного — в древнерусском значении этого слова (преодолевшего нечто значительное, о чем стоит рассказывать).

Что предстояло преодолеть? Голод, послевоенное сиротство, разруху — это многим. Бороться с духовной косностью, догматизмом, канцелярской бездуховностью, литературной серостью, ложью — это Игорю Золотусскому и сподвижникам его на критической ниве.

Литературная продукция, которую они развенчивали, сегодня не заслуживает специального разговора, а вот духовные ценности этого критического поколения и сейчас предмет горячей полемики. Проза Белова, Распутина, Астафьева, Шукшина уже не нуждается в той горячей защите, которая когда-то была необходима. Но каким защитником ее был Игорь Золотусский!

Мы говорим о критике всеми признанном, уважаемом, чьи книги выходят едва ли не каждый год. Но остановимся на безусловном и спорном в критике Золотусского.

Сначала — об очевидном. С традицией большой русской критики Золотусского сближает живой стиль. Нет, сегодня мы еще не научились в статьях и рецензиях говорить языком свободным, живым. Отвлеченный, парадно-официальный лоск, осколки помпезных триумфальных арок, к счастью, рухнувших и забытых, все еще захламляют наши критические статьи. Игорь Золотусский говорит с читателем так, что слышен живой голос. Автор книги не боится вспомнить эпизод из своего детдомовского детства или рассказать о встречах и дружбе с писателем, о котором пишет. Его похвалы по-человечески пристрастны, в гневе же он не всегда умеет сохранить объективность.

Может быть, именно творческая раскованность, умение по-новому взглянуть на предмет помогли критику найти свой путь к Н. В. Гоголю. Кажется, после полуторавековой работы литературоведов и критиков уже не оставалось нехоженых дорог. Читателю не надо доказывать гениальность Гоголя. Золотусскому, однако, удалось сказать об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ» немало нового. Мне особенно дорого, что он снова затеплил огонь полемики вокруг «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Судьба этой книги необычна. Она была в равной мере отвергнута и реакционной и революционно-демократической критикой, обстоятельство само по себе весьма любопытное.

Традиционный взгляд на исповедальную книгу великого писателя сводился к пересказу доводов из письма Белинского Гоголю. Школьники подробно изучали гневное послание Белинского, не читая самих «Выбранных мест...»; хотя многие страницы книги входят в собрание сочинений Н. В. Гоголя, это не восполняет диспропорции; критика на книгу известна всем, сама же книга ведома только литературоведам.

Игорю Золотусскому удалось преодолеть дурную традицию. Всякий, кто прочтет его труды о Гоголе, будет воспринимать творческое наследие классика целиком, не отсекая кровоточащее и живое.

«В суждениях Гоголя о литературе надо различать две стороны — пророческую (когда Гоголь судит о высших целях творчества и самой жизни) и практическую, когда он выступает как толкователь и критик искусства»,— пишет Золотусский.

Критик угадал время. «Пророческое» нас теперь больше всего волнует. Невозмутимости в суждениях о Гоголе сегодня ждать не приходится. Да и кому оно нужно, это спокойствие? Современному человеку не хватает воздуха, воды, земли (это издержки цивилизации), но больше всего ему не хватает памяти. Не академической, а живой, насущной, как хлеб. Вот о такой памяти и говорит Золотусский.

Умиление классикой может сделаться поветрием. Ладан невыносим, когда его много. И. Золотусский больше любит горький дымок. Он не столько славит и без того прославленное, сколько укоряет себя и нас

в неотзывчивости. Здесь гоголевская «струна в тумане» звучит как камертон, настраивающий на высшее.

В прозе Гоголя критик видит столкновение трех начал: народной песни, слова церковных пастырей и света европейского просвещения. Самому Гоголю примирить два первых начала с последним не удалось. Да и не его это дело — «все примирить и все уладить». «Гоголь относится к слову как к п о п р и щ у» — вот что главное. Читая работы Золотусского о Гоголе, вспоминаешь древнюю мудрость: если служение о с у ж д е н и ю славно, то куда славнее служение о п р а в д а н и ю.

Пафос оправдания — вот в чем Золотусский ярок и убедителен. Он пристрастен к Гоголю, когда защищает многие страницы из «Выбранных мест» от незаслуженного забвения.

Не менее пристрастен критик в своей любви к современности. Иногда возникает сомнение: да полно, так ли уж близка автору деревенская проза с ее патриархальными идеалами, отдающими подчас некой этнографической благодатью?

Вот как пишет об этом он сам: «Родился я в городе и детство провел в городе, но судьба бросила меня в самую глубь России, в Сибирь. И там научился я запрягать коня, сажать картошку, косить, месить навоз для кизяков, рубить дрова. Детский дом наш стоял в большом сибирском селе. Село это спасло нас от голода».

После таких строк по-иному будешь читать похвалы беловскому «Ладу». Критик верит писателю, потому что помнит: когда-то этот л а д спас от голода. «Лад» — страна мечты, хотя она и собрана из блоков воспоминаний.

«Конечно, он выбирает в крестьянской жизни то, что работает на и д е ю л а д а, на сам лад. Он не касается того тяжкого в крестьянском быте, о чем писал когда-то Глеб Успенский во «Власти земли» или Бунин в «Деревне». Белов не обличитель. Белов — поэт». По отношению к «Ладу» мысль вполне справедливая: «„Лад" — это поэтическая идея книги, это идеал, а не взятая в беспощадном свете реальность».

И о Гоголе и о Белове Золотусский пишет убедительно, потому что в обоих случаях умеет постичь авторский идеал. Здесь он опять наследник лучших традиций русской критики, идущей не от мелочей (это удачно, то неудачно), а от главного. Я не могу сказать, что Золотусский хорошо понимает город. Хотя сам критик справедливо высмеивает набившее оскомину деление на прозу городскую и деревенскую, однако некоторая поляризация полюсов видна именно в идеале.

Нельзя же сказать, что северный полюс противостоит южному: полюса — единое целое. Нельзя судить с позиций «Лада» о сложностях городской жизни и недопустимо высокомерно высмеивать «патриархальность», когда речь идет о непреходящих ценностях.

Это метание между двумя полюсами так характерно для героев Шукшина, что не ускользнуло от внимания критика.

«И л ь я. Садись, Ванька, на место и сиди... А то скоро петухи грянут.

И в а н. Нам бы не сидеть, Илья!.. Не рассиживаться бы нам!

И л ь я. А чего же еще... посиди и подумай».

Это из сказки В. Шукшина «До третьих петухов». И. Золотусский приведенное место истолковывает: «Воспаленность Ивана («Чего сидеть-то!») и бутафорская удаль Атамана («Сарынь на кичку!») здесь смиряются перед мудростью Ильи Муромца: „Посидим и подумаем"». Призыв «посидеть и подумать» кажется мне глубоко личным, исповедальным. Не себя ли самого смиряет критик, не бушует ли в нем Стенька, опрометчивый горячий Иванушка? «Иванушка» сгоряча готов отвергнуть М. Зощенко, В. Катаева, Ю. Казакова, Ю. Трифонова, Д. Гранина, А. Вознесенского. А мудрый Илья пристальным оком перечитывает страницы русской классики и не столько поучает, сколько сам учится. С Ильей и беседовать интересней, с ним и в диалог вступить хочется. Ведь Иванушке вряд ли что докажешь: он кричать будет и шапку оземь метать.

Критик вправе отвергать то, что ему в конечном итоге чуждо. Не только Золотусский, но целые эстетические школы в нашей критике остаются равнодушны к некоторым поэтическим традициям XX века. Разве не очевидно, что школа В. Маяковского, Велимира Хлебникова, С. Кирсанова отнюдь не близка поклонникам Ахматовой. Считаю подобную избирательность симпатий вполне нормальной.

К сожалению, нам трудно дается освоение эстетической истины, четко сформулированной Белинским,— оценивать художника в системе ценностей его эстетики.

Феномен неприятия И. Золотусским вещей Зощенко, Катаева, Гранина, Трифонова, Вознесенского сам по себе достаточно интересен. Он свидетельствует о том, что с полюсами у нас все в порядке. Поляризация очевидна. Однако было бы несправедливо молча констатировать подоб-

ный факт. Это было бы «не по-золотусски».

Андрей Вознесенский написал стихотворение о Гоголе. Все здесь слилось воедино: воспоминание, молва, образная система самого Гоголя; но критик чужд поэтической условности, он из другой эстетической школы и поэтому как бы не слышит поэта.

Строка «Разве я некрофил? Это вы...» вызвала целую бурю негодования: «Кто внушил А. Вознесенскому это чудовищное подозрение? Это... ложь...» Великолепная поэтическая метафора «вскрывал пролетая гроба» вызывает опять же бурю: «Где и когда это было?» Вот уж поистине роковой вопрос для поэзии. А где видел Маяковский, как «срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек»?

Говоря о Гранине, критик гораздо более в своей стихии: «Д. Гранин — писатель умный, но дисциплинированный. Читая его, знаешь, что если дело и дойдет до риска, до роковой черты, где правда как бы превышает себя... то тут же последует и остановка, тут же, над самой пропастью все и притормозит и мирно отбуксует обратно...»

Эти строки вряд ли применимы к создателю «Картины» или романа «Иду на грозу», но литературные нравы они характеризуют ярко.

«Пиши не проблемы, а человека, и ты получишь проблему»,— верно сказано Золотусским о литературе, но ведь и к критике это применимо. Пиши не проблемы, а писателя, и ты получишь проблемы.

И. Золотусский «пишет писателя». Его Гоголь, Белов, Распутин, Абрамов, Шукшин пусть не всегда е г о в собственном смысле этого слова, но всегда писатели.

То, что н е е г о,— Вознесенский, Зощенко, Катаев, Трифонов, Гранин,— то и неубедительно. Здесь критик «пишет проблему». Появляются знакомые штампы, навязшие в зубах обвинения в «бездуховности» в адрес всех, чья духовность иная, чем у критика.

Золотусский не терпит фальши, литературщины. Даже в Зощенко и Катаеве критик видит порабощение стилем. Побольше бы такой порабощенности.

С кем борется И. Золотусский, каково лицо воображаемого противника? Только наивный читатель поверит, что критик борется с названными писателями. Его настоящий враг вовсе не писатель, а некий канцелярист от литературы, требующий от писателя среднестатистического благополучия. «Прогрессивный секретарь райкома против отрицательного секретаря райкома. Борьба, сопровождаемая любовью к прогрессивной бригадирше Наде и оканчивающаяся победой прогрессивного». В статье «Суха, мой друг, теория...» И. Золотусский восстает против такой литературоведческой казенщины.

Сколько уже и писали и говорили о суконном языке многих монографий и учебных пособий! Взялся за эту тему и Золотусский.

«...Антигерой паразитирует на духовном багаже... общества зрелого социализма», «„Души прекрасные порывы" в условиях зрелого социализма обретают особый смысл и значение», герои Шукшина находились «на стрежне жизни»...

Каждый знает, что список стереотипов легко продолжить до бесконечности. Одним словом, говоря языком бездарных пособий, «в условиях, когда все институты нашего общества нацелены на полнейшее самовыражение личности, не исключена активизация честолюбивых устремлений». Эту цитату И. Золотусский справедливо приводит полностью.

Перед нами критик-боец, чрезвычайно пристрастный в своих симпатиях, горячий полемист, тонкий и отзывчивый к тому, что в заезженном лексиконе именуется правдой жизни, непримиримый к фальши или даже к призраку фальши. Его духовный вклад в литературу — верность высшему идеалу правды.

Часто это память, горькая, даже трагичная.

Не заблудишься в потемках, если путь тебе освещает Гоголь. Игорь Золотусский не только увидел свет, но и сумел передать его всем.

В нашей жизни происходят необычные перемены. На мой взгляд, они еще слабо коснулись текущей литературы, но как хотелось бы, нарушив устоявшиеся каноны, написать то, чего от тебя, к сожалению, уже не ждут.

У меня есть предчувствие, что Игорь Золотусский далеко не все высказал. Конечно, можно заранее предвидеть, что ему, как и прежде, будет близка проза Астафьева, Белова, Распутина; он напишет еще о Гоголе или раскритикует прорвавшегося в печать литературного чинушу; поддержит молодого писателя, идущего по стопам столпов деревенской прозы,— это предсказуемо.

Непредсказуемый Золотусский — вот что интересно в ближайшем будущем.

Константин КЕДРОВ.

★

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Издание П. В. Анненкова. Санкт-Петербург. 1855. 489 стр. Факсимильное издание. М. «Книга». 1985.

Комментарий к «Материалам для биографии А. С. Пушкина». Автор статьи К. В. Шилов, авторы комментария А. Л. Осповат, Н. Г. Охотин. М. «Книга». 1985. 272 стр.

П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. («Библиотека «Любителям российской словесности») Общая редакция и вступительная статья Г. М. Фридлендера. Подготовка текста и комментарии А. А. Карпова. М. «Современник». 1984. 476 стр.

В 1987 году исполняется сто пятьдесят лет со дня смерти Пушкина и сто лет со дня смерти его первого биографа Павла Васильевича Анненкова. В 1985 году минуло сто тридцать лет со времени выхода написанной Анненковым биографии Пушкина. Эти юбилейные даты были отмечены двухтомным факсимильным переизданием содержащего «Материалы...» первого тома сочинений Пушкина в издании Анненкова и переизданием (по тексту второго издания 1873 года) «Материалов...» в серии «Библиотека «Любителям российской словесности».

Итак, два авторитетных издательства одновременно обратились к истокам науки о Пушкине. В этом, как нам кажется, есть своя закономерность. Но прежде чем о ней говорить, обратимся к рецензируемым изданиям и попытаемся их сопоставить. Оба издания однотипны по композиции: исследовательская вступительная статья, текст Анненкова, комментарий.

Достоинства книги Анненкова о Пушкине хорошо известны и неоднократно рассматривались в специальной пушкиноведческой литературе. Однако в данном случае перед авторами стояла специальная задача: представить труд статридцатилетней давности современному читателю, и представить его как современный, принадлежащий не только истории науки, но и культуре сегодняшнего дня. Задача трудная, и Г. М. Фридлендер и К. В. Шилов к ней подошли по-разному.

Не могу скрыть, что путь, избранный Г. М. Фридлендером, меня привлекает больше: статья, написанная в спокойном (я бы сказал, академическом, если бы в некоторых кругах это слово не звучало как осуждение: почему — я никогда понять не мог) тоне, отличается продуманностью и точностью оценок, строгостью отбора необходимого материала. Читатель получает необходимые ему сведения об историческом месте книги Анненкова и сжатую, но очень выразительную характеристику ее автора.

Статья К. В. Шилова также отличается рядом достоинств, и предпочтение той или другой статьи скорее говорит о личных свойствах оценивающих, чем о различии в ценности работ. Более того, я уверен, что многие из читателей разойдутся в этом вопросе с рецензентом и эмоциональный тон статьи К. В. Шилова покажется им более привлекательным. Фактическое содержание обеих статей близко. Это и естественно, поскольку, работая на одном и том же материале, излагая одни и те же события, авторы невольно во многом сходились между собой. Однако статья К. В. Шилова отмечена открытым пристрастием автора к своему герою, горячей субъективностью. Это качество можно отнести лишь к достоинствам рецензируемой статьи, но недаром говорится, что наши недостатки есть лишь продолжение наших достоинств. Сам П. В. Анненков, отстаивая свой метод строгой объективности, в 1874 году жаловался, что «характеристика поэта (речь идет о Пушкине.— *Ю. Л.*), как человека и замечательного типа своего времени, не только не подвинулась вперед с эпохи его неожиданной смерти в 1837 году, но еще спуталась, благодаря тенденциозности одних толков о нем и одностороннему панегирическому тону других»[1]. К сожалению, любовь к Анненкову порой приводит К. В. Шилова к «одностороннему панегирическому тону». Слов нет, значение книги Анненкова очень велико, и плодотворное влияние ее на научную мысль продолжает ощущаться. Однако известным преувеличением кажутся слова: «Как из единой корневой системы, потянулись из книги Анненкова побеги не только отдельных проблемных исследований, но и целых направлений пушкинистики». Особенно же преувеличение делается заметным, когда автор конкретизирует свой тезис: «Анненков станет во многом предтечей того научно-художественного метода «вживания», какой прославит себя в пушкиноведческой текстологии». К этому месту дано примечание: «Имеются в виду методы текстологической работы советских ученых-пушкинистов С. М. Бонди, Б. В. Томашевского, Т. Г. Цявловской. Такой опытный и строгий текстолог, как Томашевский, на-

[1] П. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху. 1799—1826 гг. СПб. 1874, стр. V—VI.

пример, отмечал: „Надо отдать справедливость П. В. Анненкову в том, что он в общем довольно точно читал автографы Пушкина"». Прежде всего следует отметить, что сдержанно-суховатая оценка Б. В. Томашевского ни в какой степени не дает основания для выводов, которые делает автор. А те, кто слушал лекции Б. В. Томашевского по текстологии и творчеству Пушкина, помнят, что он со всей определенностью относил текстологию Анненкова к донаучной ее стадии. Однако важнее другое: слова К. Шилова дают совершенно превратное представление о принципах и достижениях пушкиноведческой текстологии. Конечно, исследовательская интуиция играет здесь определенную роль, но базируется она на тонком и точном знании законов пушкинского стиха, его ритмики и интонации, опыте лингвистического анализа и, главное, на представлении о строке как структурной целостности, позволяющем там, где прежде видели лишь скопление беспорядочных слов, вскрывать последовательные пласты вариантов текста. Эта методология создавалась в борьбе с теорией «вживания», на стороне которой были такие авторитетные пушкинисты, как Гершензон и Брюсов. Вряд ли стоит видеть в Анненкове предшественника историко-литературных концепций Ю. Н. Тынянова на том основании, что он писал о взаимоотношениях Пушкина с Шаховским и Катениным. Вообще натяжки с целью обязательно найти влияние Анненкова там, где его не было, скорей противоречат, чем способствуют благим намерениям автора статьи. И уж просто изумление вызывает такой пассаж в работе К. Шилова: «...памятуя, что «стиль — это человек», нельзя не признать и обусловленность успеха книги личностью самого биографа. Вернее, определенным созвучием индивидуального склада его психики, типа характера — складу и типу пушкинскому». Не будем спорить с К. Шиловым, а ограничимся цитатой из блестящей характеристики Анненкова, принадлежащей перу Б. Ф. Егорова: «...Анненкову явно не хватало жизненной воли, активности, целеустремленности, может быть, этим объясняются частые ситуации, когда он оказывался «ведомым» («нумером вторым», по терминологии Гургенева). Например, как можно судить по письму к Тургеневу от 7 января 1861 года, будущая жена критика Глафира Александровна сама убедила Анненкова в необходимости жениться и как бы предложила ему руку». Отмечая далее «факты высокого альтруизма» в поведении Анненкова, его бесспорное душевное благородство, Б. Ф. Егоров продолжает: «Но пассивность выступала на первый план, когда Анненков волею судеб сталкивался с социально-политическими событиями и общественными деятелями... он по натуре был лишь созерцателем, наблюдателем событий, активности других, принципиально отказываясь от вмешательства. Анненков был типичным «лишним человеком»; в письме к К. Марксу от 8 декабря 1847 года он даже кокетничает, бравирует своей «лишностью», шутя, что природа хочет равновесия: «Без слабости нет силы, и без бездельников нет воздаяния за заслуги и труды»[2].

Нам кажется, что эта характеристика, так живо воссоздающая неповторимые черты характера Анненкова — и его благородство, и его человеческие слабости,— более приближает его к читателю, чем стирающие все своеобразие юбилейные фразы. И уж, конечно, ничего пушкинского в его характере нет. Но разве это унижает Анненкова? В нем было «анненковское», и это тоже неплохо.

Резкость наших нападок на отдельные неудачи статьи К. Шилова связана, во-первых, с тем, что в целом эту работу следует признать очень удачной. Стоит автору отойти от некоторых преувеличений, и его темпераментный тон, умелое и увлекательное расположение материала покоряют читателя. Именно поэтому отдельные неудачи раздражают: пятна заметны на чистом. Во-вторых, сейчас на фоне издательского оживления вырисовывается тенденция некоторой юбилейной приглаженности в характеристике издаваемых авторов. Не нужно доказывать, что не только гениальные писатели и не только писатели, связавшие свою жизнь с революционным движением, достойны быть переизданными: историческая правда требует полного, а не выборочного знания истории нашей литературы. Но представления, имеющие уже дурную традицию, держатся. И вот мы читаем во вступительной статье Вл. В. Муравьева к однотомнику произведений М. А. Дмитриева (факт издания такой книги можно только приветствовать), что М. Дмитриев (племянник Ивана Ивановича Дмитриева, литератор, лже-Дмитриев, как его именовали Пушкин и Вяземский) был близок к декабристам, что в эпиграммах М. Дмитриев превосходил Грибоедова, что в литературной полемике он побеждал Вяземского,

[2] Б. Ф. Егоров. «П. В. Анненков — литератор и критик 1840 — 1850-х гг.» — «Ученые записки Тартуского государственного университета». Труды по русской и славянской филологии. Вып. 209, 1968, т. XI, стр. 53—54.

что взгляды его совпадали с рылеевскими (!). И, наконец, все это венчается цитатой из известного письма Пушкина к Вяземскому, где поэт, призывая к объединению сил прогрессивной литературы, пишет: «...я бы согласился видеть Дмитриева в заглавии нашей кучки». Нет никакого сомнения, что в этом известном и многократно комментировавшемся высказывании имеется в виду старейший русский поэт тех лет Иван Иванович Дмитриев [3]. И все же, не смущаясь полной нелепостью предположения, что Пушкин мог иметь в виду здесь Дмитриева-племянника, автор статьи делает на этом основании совершенно противоречащие всем фактам выводы о какой-то близости позиций Пушкина и М. Дмитриева: «В стихах и воспоминаниях Дмитриева встречаются мысли, которые содержатся в набросках, неоконченных заметках и письмах Пушкина, близкие порой даже словесно» [4]. М. Дмитриев не был близок Пушкину, о сочувствии его Рылееву нет ровно никаких данных, поэт он был средней одаренности, критик тоже Но он был автором интересных «Мелочей из запаса моей памяти» (к сожалению, перепечатываемых с купюрами) и довольно своеобразной личностью Сказав о нем правду, показав его реальную роль в литературе, мы гораздо лучше сумеем обосновать его право на переиздание, чем подобными натяжками.

Вторую часть издательского аппарата рецензируемых книг представляет комментарий. И здесь издание «Книги» решительно берет верх Комментарий Н. Г. Охотина и А. Л. Осповата, несмотря на скромное название, является подлинным исследованием большой ценности. Выполненный на самом высоком уровне научной точности, он вооружает читателя многими сотнями важных справок Можно уверенно сказать, что он сделается настольной книгой пушкинистов. Поскольку классическая «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского оборвалась за смертью составителя на 4 сентября 1826 года и никаких надежд на ее продолжение не имеется, приобретают особую ценностью занимающие в комментарии большое место хронологические данные, имеющие характер подробной канвы. Не менее важны указания на источники Анненкова или неточности, вкравшиеся в его изложение.

Комментарий А. А. Карпова в издании «Библиотеки «Любителям российской словесности» краток, но вполне корректен и дает читателю необходимые пояснения к тексту Анненкова. В современных изданиях, в которых часть комментария порой переносится в именной указатель, составление этого последнего перестает быть чисто технической задачей. Что может произойти, если составление указателя доверяется лицу некомпетентному, демонстрирует уже критиковавшийся в печати том из той же серии «Любителям российской словесности» (Н. М Карамзин, «Избранные статьи и письма». М. «Современник». 1982 [5]). Если появление в именном указателе таких имен, как Шапобриоль (вместе Шатобриан), Сунпионы (вместо Сципионы), Расин Эран (вместо Жан), Горье (вместо Готье), Гельвецкий (вместо Гельвеций) и так далее, можно объяснить небрежностью корректора, то вряд ли корректор несет ответственность за то, что мать Александра I Мария Федоровна превращена в его жену а к имени Буланже дано пояснение. «Французский генерал, реакционный политический деятель», хотя известно, что генерал Жорж Буланже (1837—1891) родился после смерти Карамзина и упоминаться последним по этой простой причине не может имеется в виду Никола-Антуан Буланже (1722—1759), философ и литератор, приятель Дидро. Не будем упоминать о том, что Свиньин превращен в арзамасца, Николев в Николаева и т. д. и т. п.! Вообще это издание уникально по своей небрежности: в тексте Карамзина пропущены слова и целые фразы, и он обезображен искажающими смысл опечатками.

Рецензируемое издание, к счастью, избавлено от этих недостатков, выполнено корректно и на должном филологическом уровне. Однако можно было бы пожелать, чтобы справки в именном указателе были более «повернуты» к тексту. Что, например, поясняет такая справка: «Курбский Андрей Михайлович, князь (1528—1583) — боярин, писатель»?

Подведем итоги. Перед нами два издания одной и той же книги, вышедшей сто тридцать лет тому назад. Первый вопрос: нужно ли было ее переиздавать? Ответ: бесспорно нужно. Без книги Анненкова, даже учитывая, что во многом она «перекрыта» последующей научной литературой, нель-

[3] См примечание Б. Л. Модзалевского в кн.: А. С. Пушкин. Письма (1815—1825). М.—Л. ГИЗ 1926, т. I, стр. 327—328: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Изд-во АН СССР. 1959, справочный том, стр. 188.

[4] Вл. В. Муравьев, «Беспокойный антиквари». (В кн.: М. А. Дмитриев. Московские элегии. М. «Московский рабочий». 1985, стр. 9).

[5] См.: Святослав Бэлза, «Уж, верно, он не Грандисон» («Литературная газета», 17 августа 1983 года).

зя воспитать образованного филолога-русиста. А получить ее до последнего времени можно было практически лишь в столичных библиотеках. Для огромной массы русистов-преподавателей провинциальных вузов, студентов-филологов и учителей-словесников эта книга практически была недоступна. Второй вопрос: а имело ли смысл вышускать почти одновременно два параллельных издания? И на этот вопрос я отвечаю безоговорочно: имело. Во-первых, оба издания мгновенно разошлись, и жаловаться приходится лишь на малый тираж. Во-вторых, перед нами две книги с одним и тем же заглавием, но два различных типа издания. И, как мы старались показать, каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Именно такие опыты помогают найти оптимальный тип издания. В-третьих, практика бюрократического планирования изданий и тиражей в сочетании с нехваткой книг («купят все») привела к тому, что издательства потеряли контакт с реальным читателем. Издательства ищут с в о е г о читателя, и это нелегкий, но безусловно здоровый процесс.

В заключение несколько слов о внешнем оформлении книг. «Книга» издала Анненкова не только безупречно, но и роскошно. Это библиофильское издание. А вот «Любителей российской словесности» не балуют. Название серии обязывает. А между тем — серая бумага. Как сказал Лермонтов, «она, быть может, и чиста, да как-то страшно без перчаток». Гравированный портрет Анненкова удачнее, чем другие портреты в этой же серии, но смотрится плохо из-за того же качества бумаги. Хотелось бы, чтобы книга имела более праздничный вид. Все-таки для любителей...

Ю. ЛОТМАН.

★

ЖИВОЙ ОБРАЗ ТОЛСТОГО

И н т е р в ь ю и б е с е д ы с Л ь в о м Т о л с т ы м. Составление, вступительная статья и комментарии В. Я. Лакшина. М. «Современник». 1986. 525 стр.

«Личность Толстого — комментарий к его творениям» — таким афористическим высказыванием подвел итог своему репортажу о посещении величайшего русского писателя сотрудник газеты «Новое время» Н. Энгельгардт, указав тем самым одну из причин постоянного интереса к личной и творческой биографии всякого подлинного художника. Не потому ли так устойчива традиция издания эпистолярного наследия писателей-классиков (даже когда имеются прямые указания некоторых из них этого не делать), публикация разного рода деловых записок, инскриптов — надписей на книгах и фотографиях. Составляются обширные своды воспоминаний современников и той части их переписки, где имя дорогого нам художника упоминается хотя бы мимоходом. Каждое вновь обнаруженное слово, каждая новая подробность, касающаяся жизни и творчества Пушкина, Достоевского, Л. Толстого, воспринимаются как событие не только научной, но всей культурной жизни страны. В поисках неизвестных документов исследователи порой преодолевают огромные расстояния, проводят долгие годы в архивных «раскопках».

Подготовленный В. Лакшиным сборник интервью и бесед с Львом Толстым без преувеличения можно назвать изданием уникальным. Составившие его материалы все без исключения когда-то появлялись в печати, но в предложенном объеме вряд ли известны даже узкому кругу специалистов, углубленно изучающих наследие писателя. В отличие от специальных изданий (таких, как «Литературное наследство»), ориентированных прежде всего на профессионального филолога, настоящий сборник, вне сомнения, окажется в равной мере интересен самому широкому кругу читателей, любящих русскую литературу и интересующихся ее историей.

Собранные под одной обложкой преимущественно газетные (реже журнальные) отчеты о встречах и беседах с Толстым охватывают период с 1886 по 1910 год. Читатель не увидит здесь интервью в современном понимании этого жанра,— во время встреч с репортерами, замечает автор вступительной статьи, Толстой «поддерживал свободную беседу... разговор велся обычно с живой непринужденностью». Благодаря такой свободе газетчик получал возможность строить свой материал «сообразно»: мог делиться с читателями своими впечатлениями от внешности Толстого, сообщать подробности его быта... Репортажи изобилуют «мгновенными снимками „уходящей натуры"», как назвал В. Лакшин словесные «зарисовки быта усадьбы и городского дома Толстых, черты обстановки и окружения, одежды, походки» и т. д. Все это помогает лучше понять личность художника, особенности его эпохи, а значит, и сами толстовские произведения.

В беседах с посещавшими его корреспондентами Лев Николаевич часто касался своих творческих и духовных исканий.

Обычно люди «большой литературы» относились к ежедневной прессе с известным скептицизмом, полагая неуместным обсуждать серьезные художественные и нравственные вопросы в соседстве с рекламой магазина Мюра и Мерилиза или цветочного одеколона Брокара. Льва Толстого же такие обстоятельства смущали мало. К примеру, с корреспондентом «Петербургской газеты», пользовавшейся достаточно сомнительной репутацией у литераторов, он обсуждал вопрос «В чем счастье?»...

Примечательно, что книга дает возможность увидеть образ великого писателя таким, каким он воспринимался в сознании человека, живущего на рубеже столетий. Ведь в Ясную Поляну за советом и нравственной поддержкой устремлялись с разных концов России паломники всех без исключения сословий и состояний.

«Быть в Риме и не видеть Папы, жить в Москве и не побывать у графа Льва Николаевича Толстого в равной степени непозволительно для писателя»,— выражал мнение широкой публики корреспондент «Русского листка».

Во время своих недолгих наездов в Москву (обычно в зимнее время) Толстой принимал посетителей в собственном доме в Долго-Хамовническом переулке. Современный читатель, для которого район бывших Хамовников — почти центр Москвы, будет немало удивлен, узнав, что даже в последние дни XIX века дорога к Толстому оказывалась неблизкой и непростой. «Живет граф Толстой очень далеко от центра города... и ехать туда на худшем во вселенной московском извозчике истинная каторга,— жаловался петербургскому читателю небезызвестный тогда поэт С. Сафонов.— Дорога идет с горы на гору, мостовая из огромных булыжников, колеса дребезжат, паралличная лошадь... храпит и стонет, зловонная пыль доводит вас до удушья и судорог — словом, от Кремля до Хамовников путешествовать не весело»...

Репортеры использовали любую предоставившуюся возможность побеседовать с Толстым — во время его прогулок вдоль Охотного ряда и затем по Остоженке (читая материалы рецензируемой книги, в очередной раз порадуешься, что в связанный с жизнью писателя район города ныне вернулись его старые названия), на набережной Фонтанки (когда Толстой бывал в столице); даже в Гаспре, где писатель поправлялся после тяжелой болезни, он не отклоняет просьбы о встрече корреспондента «Петербургских ведомостей», причем сам в свою очередь подробно расспрашивает его «о тех вопросах, которые так волновали в последнее время все русское общество».

Но, конечно же, основной поток посетителей принимал известный на весь мир дом в Ясной Поляне. Редкое воспоминание о поездке к Толстому обходится без описания дороги, и все равно всякий раз такие описания читаются с огромным интересом. И если путь от Кремля до Хамовников мог показаться затруднительным, то что говорить о поездках в Ясную Поляну? Возвращавшемуся ночью в Тулу корреспонденту «Нового времени» в темноте при шорохе леса мерещились невесть какие страхи: было известно, что по тульской дороге ночью частенько «шалят». Любопытен рассказ о том, как ехала в гости к Толстому зимой 1907 года польская пианистка Ванда Ландовска: десять верст от станции Щекино путь недальний, но даже присланные шубы не могли согреть путешественников, когда в тридцатиградусный мороз едва различавшие зимнюю дорогу лошади медленно продвигались сквозь пургу...

Читая газетные репортажи, современный читатель узнает, что зима 1907/08 года была не только морозной, но и как никогда снежной: дома в деревне были заметены до самых крыш. И писатель, закутавшись в большой теплый платок, совершал дальние поездки верхом, ежедневно гулял по парку. «Я встретил его возвращавшегося обратно в валенках, в старом коричневом пальто с меховым воротником, в круглой шапочке, с палкой в руке, сопровождаемого собакой»,— рассказывал читателям «Русских ведомостей» известный ученый-этнограф Д. Анучин. Найдет читатель в книге и фотографию, на которой все соответствует описанию: валенки, и палка, и даже собака. Отметим, что воспроизведенные в издании фотографии подобраны очень удачно — создается впечатление, будто они выполнены во время беседы и были напечатаны вместе с газетным репортажем.

Число посетителей возрастало год от года, и вместе с этим возрастало и количество газетных репортажей. Как заметил тот же Д. Анучин, «Л. Н. Толстой является такой центральной личностью, известия о нем вызывают такой широкий интерес, что каждый, кому случится посетить теперь Ясную Поляну, как бы обязывается поделиться с обществом сведениями о здоровье и деятельности великого нашего писателя». Упоминание о здоровье не случайно: редкая корреспонденция обходилась без самого подробного отчета о том, как выглядит пи-

сатель, насколько постарел, сохранил ли свою обычную бодрость, подолгу ли гуляет и т. д. Интерес к подобного рода информации — и об этом говорится во вступительной статье — диктовался отнюдь не праздным любопытством к подробностям личной жизни великого человека, до которых столь падка газетная аудитория: в культурном сознании конца XIX — начала XX века Толстой был воплощением общественной совести, и о возможной смерти старого художника многие думали как о нравственной катастрофе, разрушении последней и единственной опоры, на которую еще можно было опереться в борьбе за идеалы правды и добра... Тревога за жизнь Толстого проявлялась у разных людей поразному: если Чехов мучительно переживал возможное «духовное сиротство» жизни без Толстого, то посетивший писателя репортер «Русского листка» радостно сообщал об открытии Мечникова, решавшем, как казалось, проблему активного долголетия. Поистине трогательна эта всеобщая забота о здоровье Толстого!

Характерной особенностью газетного интервью является его сосредоточенность на остроактуальных вопросах общественной и международной жизни. Вполне естественно, что посещавшие Толстого корреспонденты стремились расспросить писателя о всех тех событиях, которые на момент беседы составляли газетную злобу дня. Читатель рецензируемого сборника получает возможность не только увидеть Толстого глазами современников, но и как бы глазами Толстого взглянуть на бурные годы рубежа веков, насыщенные событиями исторического значения. У Толстого спрашивали о его отношении к англо-бурской и русско-японской войне, к делу Дрейфуса и трагедии Кровавого воскресенья, деятельности Государственной думы и политической программе российской социал-демократии... Конечно, последующее историческое развитие России внесло свои, порой весьма существенные, коррективы в толстовские суждения, но поражает не столько точность этих оценок, сколько страстность, с которой Толстой откликался на события мировой истории! О войне англичан с бурами русский художник говорит с такой болью, как будто речь идет о кровавых столкновениях крестьян соседних деревень. В высшей степени знаменателен этот неподдельный интерес к общественной практике у человека, проповедовавшего личное самоусовершенствование и решительно отвергавшего возможность социального переустройства какими бы то ни было политическими методами... Внимание Толстого к вопросам внутренней и международной политики неизменно поражало посетителей Ясной Поляны. «Л. Н-ч интересуется положительно всем, что происходит на всем земном шаре. Ничто ему не чуждо, ничего более или менее важное не оставляется им без внимания»,— удивлялся посетивший писателя в 1901 году репортер «Одесского листка». И этот интерес Толстой сохранил до последних дней своей жизни. «Никто более Толстого не отзывчив к текущей жизни,— сообщал читателям Г. Градовский,— его она захватывает и самыми болезненными явлениями, малейшими признаками какого-нибудь улучшения».

Чтение подготовленной В. Лакшиным книги создает удивительное чувство — *современности и сопричастности* всего и всему, о чем рассказывают репортеры своим читателям. Газета — издание на день, и пишущий корреспонденцию обычно не рассчитывает, что его работа сохранит свое значение в отдаленном будущем. Но в том и парадокс, что жанр газетного очерка приобретает уникальную способность вызывать у читателей ощущение «вечного сегодня». Подобное «погружение в минувшее» хорошо знакомо посетителям газетных залов библиотек. В. Лакшин прибегает к очень меткому сравнению: как из «многих неподвижных кадров в киноленте», пишет критик, складывается движение, так и из многочисленных сведений, приводимых интервьюерами, складывается «неповторимая фигура Толстого... достоверный образ великого писателя и человека».

Рецензируемый сборник обращен к важной историко-культурной проблеме, требующей самого пристального внимания современной гуманитарной науки. Это проблема «художника и газеты», без учета которой невозможно адекватное понимание литературной и художественной жизни начала XX века, когда взаимодействие писателя с ежедневным изданием и, соответственно, влияние последнего на литературный процесс становится очень заметным. Особого интереса заслуживают высказанные во вступительной статье соображения о газетном очерке как об одном из источников исследования творческой биографии художника. Собрание газетных репортажей превращается в своего рода свод как бы «авторизованных мемуаров»; В. Лакшин указывает ряд примеров исключительно внимательного чтения Толстым корректур, присылаемых репортерами для предварительного просмотра. К сожалению, газет-

ные публикации выпадают (за редким исключением) из поля зрения исследователей, обыкновенно предпочитающих работать с архивными документами. Нельзя не заметить, что напечатанный в газете (особенно в провинциальной или специальной) материал порой оказывается и менее доступен и менее известен, нежели материал, текст которого никогда не набирался на печатных матрицах.

Тем интереснее познакомиться с репортажами из провинциальных изданий, представленных в сборнике. Они дают читателю возможность не только узнать, что писали о Толстом «Орловский вестник» или «Самарская газета», но и воочию увидеть яснополянскую «географию»: к Толстому направляли своих корреспондентов газеты и журналы, выходившие в Харькове, Чите, Одессе, Казани, Иркутске. К сожалению, приходится отметить досадную оплошность: в комментариях не указывается, где именно издавался тот или иной журнал, газета. А это принципиально важно! Ведь читатель вряд ли имеет под рукой соответствующий справочник, из которого мог бы узнать, что газета «Южный край» выходила в Харькове, «Забайкалье» в Чите, а «Камско-Волжский край» в Казани. Да только ли провинция — всякий ли помнит, что «Русское слово» и «Русские ведомости» выходили в Москве, а «Новости» и «Новое время» — в Петербурге?

Не помешала бы в комментариях и характеристика, хотя бы самая краткая, периодических изданий — ведь сотрудник в своих суждениях учитывал еще и мнение редакции. Скажем, частые посещения Ясной Поляны корреспондентами «Русского слова» получают дополнительный смысл, если учесть, что газета издавалась тем же «Товариществом Сытин и К°», тесно связанным с издательством «Посредник», где сотрудничал Толстой. Важен комментарий и в тех случаях, когда материалы перепечатываются из специальных, а потому и малоизвестных изданий вроде «Курьер торговли и промышленности», «Русская музыкальная газета» или вовсе «экзотических» вроде журналов «Сине-фоно» или «Вегетарианское обозрение». Привлечение подобных изданий — еще одно несомненное достоинство сборника и служит наглядным примером того, что необходимая для историка литературы информация может обнаружиться в самых неожиданных местах. Так, рассказ о посещении Толстым Московской окружной лечебницы для душевнобольных был напечатан в сугубо специальном «Обозрении психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии».

Книга «Интервью и беседы с Львом Толстым» — это, так сказать, документированное всероссийское чувство уважения и поклонения, которое вызывала к себе фигура великого писателя. Из помещенных в сборнике материалов мы узнаем и о гостях Ясной Поляны из-за рубежа, в том числе о корреспондентах европейских и американских изданий. Репортажи, публиковавшиеся в зарубежной периодике, составят следующий сборник интервью и бесед с Толстым. Надо думать, он окажется не менее интересным, чем тот, который мы держим в руках.

Александр НОСОВ.

★

Политика и наука

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. Революционная традиция в России. 1783—1883 гг. М. «Мысль». 1986. 343 стр.

Эта книга не открывает новых фактов, не воспроизводит забытые архивные документы, но в ней есть нечто большее — попытка философского осмысления уже проделанной многими исследователями работы, глубокий анализ исторического прошлого Прошлого которое и сегодня во многом определяет нашу действительность. Ведь если мы хотим понять, как живем и как жить дальше, нам волей-неволей придется разобраться в путях и перепутьях исторического движения России к прогрессу и цивилизации Отказ от лакирующих стереотипов в изображении минувших эпох является необходимым элементом перехода от застойного существования к исторической жизни.

Разумеется, актуализация прошлого не означает грубо утилитарного подхода к нему на потребу злобе дня, и авторы это прекрасно понимают: «...новая историческая перспектива должна позволить распознать в минувшем его собственное бытие, но связанное неразрывными нитями с настоящим». Они попытались рассмотреть историю России и русского революционного движения «в общем порядке мира» (П. Я. Чаадаев), понять специфику российского развития в контексте становления мировой цивилизации.

Мировой капитализм развивался стадиями, эшелонами. Естественно, что авторы начинают с рассмотрения «первого эшелона» (западноевропейский регион). «Формационный период здесь,— пишут они,— длителен и всеобъемлющ: в течение примерно шести веков, с XIV (если не раньше) по XIX в., эпоха за эпохой накапливаются в европейских странах необходимые для становления буржуазного общества формационные предпосылки — экономические, социальные, правовые, политические, идейные, культурные». Если говорить об экономических предпосылках, то уже «к концу средних веков... исчезает личная зависимость земледельца», возникает договорное начало между работодателем и трудящимися, в XV веке возникают первые торговые биржи, к XVII веку складываются не только национальные, но и общеевропейский рынок, короче, утверждается «совокупный механизм капиталистического производства и обмена». Не менее длительный период понадобился для становления правовых предпосылок: начиная от утилизации римского права с его краеугольным понятием частной собственности до «юридического обеспечения буржуазной демократии: доступ к власти через систему выборов, правовая независимость индивида от власти, подчинение и самой власти праву». Идейно-культурные предпосылки определялись «социально-трудовой деятельностью человека как главного элемента производительных сил». Книга напоминает нам, что уже в XII веке во всех французских городах и во многих деревнях существовали школы (в том числе для бедных), а во Флоренции к XVI веку практически все население было грамотно, что с XII по XV век в Европе возникло 46 университетов, обладавших значительным идейным и политическим влиянием. К сожалению, авторы почти совсем не уделили внимания связи возникавшей европейской цивилизации с цивилизацией античной. Энгельс замечал, что «без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы».

Российский вариант буржуазной эволюции вызревал в принципиально иных исторических условиях, на иной почве. Оторванная географически от наследия античной цивилизации Киевская Русь успешно пыталась усвоить это наследие через Византию. Оттесненная впоследствии татаро-монгольскими завоевателями в лесные дебри северо-востока от выгодных торговых путей, лишенная живых контактов с Европой, Русь сумела сохранить непрерывность культурной традиции (в религии, искусстве, письменности). И все же более чем двухвековое иго было чревато для России тяжелейшими последствиями. «Внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась»,— с горечью замечал Пушкин. Как утверждали революционеры-демократы, следствием татаро-монгольского ига явилось и возникновение самодержавного государства, взявшего на вооружение многие деспотические принципы монгольских завоевателей. «Необходимость национального объединения,— читаем в книге,— ликвидации удельной розни, освобождения от татаро-монгольского завоевания, защиты от периодически накатывавшихся орд кочевников и завоевателей Запада, наконец, потребность в выходе к морским торговым путям вызвали к жизни сильное централизованное государство. Однако последнее располагало скудными материальными и культурными ресурсами. Бедное и редкое население; низкий уровень социально-политической автономии городов, большинство из которых были не столько торговыми центрами, сколько форпостами обороны; слабое развитие ремесла — все это осложняло решение национальных задач. Результатом явилось постепенное закрепощение и большое податное напряжение общества, затруднявшее накопление прибавочного продукта, а также рост военно-административного аппарата государства, по масштабам власти сравнимого с азиатскими деспотиями».

Именно эти два фактора — немыслимая в Европе деспотическая власть самодержавного государства и крепостное право, законодательно оформленное в 1649 году (в период английской буржуазной революции) — определили специфику развития в стране как буржуазных отношений, так и революционного движения.

Россия стремилась усвоить европейские достижения, доказательством чему служат реформы Петра I, которого Герцен недаром называл «коронованным революционером». Революция, как известно, может происходить не только «снизу», но и «сверху», когда правительству становится ясно, что дальнейшее пребывание в застое губительно для страны. Другое дело, что задачи просвещения и цивилизации все настоятельнее требовали демократических преобразований, а это противоречило принципу самодержавия. «...Заимствование,— подчеркивают авторы книги,— было сугубо выборочным, прагматическим, перенимались главным образом элементы произво-

дительных сил (техника, знание, специалисты, те или иные организационные формы и пр.) и тут же прочно «схватывались» всей системой крепостнических производственных отношений и надстроечных институтов». Самодержавно-крепостнические институты становились тормозом на пути прогресса. Крепостнический рабский труд убивал у крестьянина заинтересованность в плодотворности своей деятельности. Культуры труда, связанной в Европе с развитием частной собственности, поддержанной пафосом «протестантской этики», у массы русского крестьянства (за исключением отдельных анклавов — сибирского крестьянства, старообрядчества) не сложилось. Отсутствие социально-экономической независимости приводило и к духовной стагнации, неумению отстаивать свои права в других областях жизни. Самодержавие, или «дурное управление», как именовал его Чернышевский, подавляло нравственную энергию народа, вело его к нищете. «Действительно, может ли быть энергичным человек, привыкший к невозможности отстоять свои законные права, человек, в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? — писал Чернышевский. — Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлено и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школой, подготовляющей человека к энергии в умственном труде?»

Россия, по справедливому утверждению авторов, «так и не решила ни в XVIII, ни в XIX в. аграрной проблемы», в результате чего общество, не обеспеченное необходимыми ресурсами, топталось на месте. Немаловажно и то, что самодержавие препятствовало развитию массового образования, без которого были немыслимы реальные реформы. «Церковноприходские школы,— отмечается в книге,— возникают только в 1839 г. (20 тыс. учащихся), через 40 лет в них училось 100 тыс. детей» К этому времени в Западной Европе грамотно уже 90 процентов населения.

Если в Европе и Северной Америке буржуазия возглавила освободительные движения, борьбу за права и демократизацию общества, то в России она развивалась при огромной поддержке самодержавия, целиком зависела от него Самодержавие придавало российскому капитализму «„казенный", бюрократический характер». Выступления против крепостнических пережитков, против самодержавия естественно сливались с борьбой против прислуживавшей правительству буржуазии. «В условиях России XIX в.,— резюмируют авторы,— когда национальная буржуазия не смогла стать гегемоном освободительного движения, а крестьянство — его движущей силой, основным субъектом революционного процесса выступила образованная прослойка общества — интеллигенция».

Во всех странах существовал и существует известный разрыв между высокообразованным слоем и трудящимися массами. Но только в России, где образованный слой создавался на базе закрепощения основной массы народа, этот разрыв приобрел поистине трагические масштабы. Освобожденные от податной службы образованные слои (поначалу материально независимое дворянство, затем разночинство) с невиданной энергией осваивали достижения мировой культуры. И чем сильнее увеличивался культурный разрыв, тем яснее они понимали, что являются единственными выразителями и защитниками молчащего, забитого народа, его г о л о с о м. Отсюда идет ставшее классическим понятие о долге интеллигенции перед народом.

«Развитость российской культурной элиты,— справедливо отмечают авторы книги,— определила и чрезвычайно высокий уровень революционной теории, и в конечном счете достижения российского революционного движения, оказавшего в следующем веке обратное и гигантское воздействие на мировой революционный процесс».

Трудность становления революционной традиции в России подтверждается поразительным фактом: декабристы не знали Радищева, не знали его трагических раздумий о противоречиях революционного процесса («...из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...»). В движении декабристов мы впервые сталкиваемся с попыткой создания в России революционной организации Ее слабость, оторванность от народа порождали как диктаторскую утопию Пестеля (далекую предвестницу иезуитских концепций Нечаева), так и, скажем, колебания Трубецкого, не вышедшего в решительный час на Сенатскую площадь Авторы полагают, что «поражение декабристов подвело черту под короткой, но чрезвычайно важной эпохой в истории освободительной борьбы в России — эпохой, когда было еще возможно

более или менее синхронно с другими европейскими революциями ускорить буржуазные преобразования в стране». Разумеется, можно только пожалеть, что этого не случилось. И все же с декабристами, думается, такой возможности связывать не приходится. В России того времени не существовало гражданского общества — своего рода базы, питательной среды революционных деятелей, через которую осуществляется их контакт с народом. Если реформаторы эпохи Александра II через головы бюрократии могли уже обратиться к общественному мнению, то декабристам не к кому было обращаться. При этом декабристы не очень хорошо себе представляли, что делать в случае успеха восстания, куда вести страну и как. Эта революционная честность, державшая их в нерешительности на площади, отличает дворянских революционеров, скажем, от Нечаева (мы еще не раз произнесем здесь его имя), утверждавшего, что сначала надо все разрушить, а уж потом думать, как и что строить. Поражение декабристов поставило кардинальнейший вопрос: о невозможности революционного действия без ясно осознанной цели.

Не случайно следующее поколение революционных мыслителей (и прежде всего Герцен), пытаясь сформулировать эту цель, приходит к идее «русского социализма». По словам авторов книги, «ощущение «неизмеримой»... отсталости своей страны, осознание невозможности естественными средствами и в обозримые сроки ликвидировать эту отсталость» вело через отчаяние и безысходность к поиску альтернативной идеологии. Нужна была такая идеология, которая, с одной стороны, оказалась бы способна двинуть страну по пути прогресса, а с другой — позволила бы увидеть в отсталости своеобразное преимущество. Отсюда критика русскими мыслителями буржуазного уклада жизни, интерес образованного общества к утопическому социализму, который, будучи фактом «самокритики европейской цивилизации», указывал на недостатки и противоречия развития на Западе. «...Тем самым как бы сокращалась дистанция, отделявшая Россию от развитого мира,— пишут авторы,— сама эта развитость подвергалась сомнениям и переоценке; отпала необходимость перенимания того, что содержало в себе неустранимые внутренние изъяны; возникала возможность и необходимость поисков каких-то иных путей ликвидации национальной отсталости».

У народников идея «русского социализма» переросла в идею превосходства России над Европой. Против тенденций самообольщения, которые едва не поставили страну на грань национальной катастрофы (поражение в Крымской войне) и препятствовали под видом защиты «исконных ценностей» ее материальному и духовному развитию, выступил Чернышевский. Он писал, что нелюбовь к подлинному деянию, лень, самоуспокоение и самоупоение характерны как для славянофилов, так и для западников, считающих, «что, если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение мы станем его учителями и руководителями». Задача, которую ставил Чернышевский, формулировалась им как развитие «самостоятельной деятельности» нации, становление самодеятельного индивида, что должно было привести к реальному преодолению рабского, крепостнического сознания, воспитывавшегося не одно столетие, к просвещению, к цивилизации — необходимой среде для творчески действующей личности. Приведенная авторами книги формула Чернышевского — «развивать человека в человеке» — решала проблему гуманизации культуры и истории, выражала важную для русской литературы мысль, которую Достоевский чуть позже выскажет почти теми же словами: «...найти в человеке человека».

Революционеры-демократы остро чувствовали историю, они понимали, что самодержавие тормозит развитие России, сознавали бессилие только-только появлявшейся российской буржуазии. Говоря о революционном перевороте, его цель они видели в утверждении просвещения и цивилизации, а вовсе не в захвате власти любой ценой, как последующее поколение нечаевцев и народников-террористов. Однако ситуация не благоприятствовала решительному переустройству страны на предложенных ими началах. Авторы констатируют: «К «самостоятельной деятельности» нация так и не пробудилась. Своеобразие российской революционной ситуации 1859—1861 гг. в том и состояло, что как раз ко времени, когда «низы» стали приходить в движение, вызванное обнародованием реформы, «верхи» уже выходили из кризиса, порожденного Крымской войной, преодолевали его».

У тех, кто шел следом за революционерами-демократами, произошло смещение акцентов, изменилась система ценностей. Иезуитский лозунг, выдвинутый Нечаевым

(«цель оправдывает средство»), был, как показывают авторы книги, в ходу у многих деятелей революционного подполья в первое пореформенное двадцатилетие. Его придерживались и до и после Нечаева Он был записан в уставе «Земли и воли» — одной из самых крупных народнических организаций 70-х годов. На этом лозунге имеет смысл остановиться, потому что в нем как в фокусе сосредоточилось существо нечаевщины и терроризма, от него шли неудачи революционного народничества. Безнравственные средства не случайно ведут к безнравственной цели. Ориентация на долговременное развитие цивилизации у революционеров-демократов не предполагала тех радикально-кровожадных средств, которые выдвигал, например, Нечаев Как показывают современные историки, Нечаев стремился прежде всего к власти, господству, диктаторству. Система нечаевских «пятерок», обман и запугивание рядовых революционеров, требование беспрекословного подчинения таинственному комитету — все определялось именно этой целью Разумеется, нечаевщина (или, по определению Достоевского, «бесовщина») возникла не случайно. «...Не в результате утраты религии или национального чувства,— пишут авторы,— отхода от «народа-богоносца», как полагал Достоевский, рождалась «бесовщина» нечаевского толка — ни религия, ни национальные традиции никогда не мешали на Руси властям предержащим или помещикам эксплуатировать массы и помыкать ими Корни «бесовщины» были гораздо более естественными, земными, близкими и простыми: неосознанное следование традициям самодержавно-феодального угнетения, неспособность психологически преодолеть их в процессе борьбы... с этим же угнетением». История трагически повторялась: если деспотическая власть возникла как реакция на татаро-монгольское иго с целью его преодоления, то нечаевщина и терроризм были следствием самодержавного гнета

Истинный смысл деятельности Нечаева раскрывается в его отношении к просвещению. «Ходить в школу учиться — ерунда,— разъяснял Нечаев своим адептам,— ибо все развитые люди и само достижение ими развитости есть эксплуатация, так как развитые неизбежно эксплуатируют неразвитых». Попытка задержать умственное развитие народа была, конечно, бесперспективной, ибо просвещения требовало само историческое бытие нации. Нечаев представлял себе социализм «казарменным», уравнительным, что имело в России определенные традиции Еще в конце XVIII столетия князь Щербатов выдвинул в своей утопии идею военных поселений, реализованную в начале XIX века графом Аракчеевым. Надо ли напоминать об угрюм-бурчеевских проектах общественного устроения?.. Для России такая тенденция представляла особую опасность. «В развитом европейском регионе,— пишут об этом авторы,— тенденции «казарменности», равно как и утопического социализма в целом, были сравнительно маловлиятельны, они успешно вытеснялись научным социализмом В России с ее многочисленными феодальными пережитками и социально-культурной отсталостью, где за образцами казарменности было, что называется, недалеко ходить, подобные представления имели под собой более адекватную почву».

Путь революционного народничества и терроризма оказался в значительной степени тупиковым, однако он имел важное следствие: за многие годы борьбы народники сумели выковать тип профессионального революционера, готового во имя идеи пожертвовать своей жизнью. Этому революционеру не хватало только теории, которая помогла бы соединить личный пафос с научно обоснованной идеей прогрессивного развития. Такой теорией стал марксизм.

Октябрьская революция обнажила историческую медлительность и неповоротливость русской буржуазии. Авторы приводят знаменитые слова Ленина: «Что если полная безвыходность положения, удесятеряя тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах?.. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры... то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а *потом* уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы». Ленин полагал, что построение социализма не исключает, а, напротив предполагает решение задач, не решенных в предыдущий период. С этой ленинской мыслью согласуется центральный тезис книги Пантина, Плимака и Хороса: социализм в нашей стране «вынужден решать ту историческую задачу, которая оказывается не по плечу запоздалому, отставшему капитализму,— задачу «подтягивания» к индустриально развитым нациям,

к достижениям мирового производства и культуры... Иначе сказать, реальный социализм помимо своих сущностных, внутренне присущих ему целей вынужден осуществлять — в странах запоздалого буржуазного развития — и задачи, «недорешенные» капитализмом (индустриализация, кооперация, культурная революция)».

Иного пути к цивилизации, чем социализм, Россия в силу ряда обстоятельств не нашла. Это повод не для ликований, а для серьезных раздумий, ибо наши сегодняшние недостатки связаны с нерешенными или «недорешенными» проблемами, уходящими в далекое прошлое. Социализму, то есть нам с вами, нужно научиться их решать. И в этом помогает нам книга, отстаивающая традиции честного и правдивого, подлинно научного подхода к истории революционного процесса в России.

В. КАНТОР.

★

СТРАНСТВИЯ ГЕОРГА ФОРСТЕРА

Георг Форстер. Путешествие вокруг света. Перевод с немецкого М. С. Харитонова. Послесловие и комментарии Д. Д. Тумаркина. М. «Наука». 1986. 568 стр.

В марте 1777 года на прилавках книжных магазинов Лондона появилась книга «Путешествие вокруг света», в которой рассказывалось о втором кругосветном плавании под командой знаменитого капитана Кука. Автор книги — двадцатитрехлетний Георг Форстер — был совершенно незнаком читающей публике. Правда, некоторые библиофилы вспоминали, что десять лет назад какой-то Георг Форстер напечатал свой перевод на английский язык одной из книг Михаила Ломоносова. Но никому и в голову не приходило, что автор перевода и автор «Путешествия...» — одно и то же лицо, и едва ли кто мог предвидеть, что уже через несколько недель книга Георга Форстера будет греметь на всю Европу.

«Путешествие вокруг света» стало первым в истории научно-художественным произведением. Его автор не просто описывал, что он видел и слышал, но и размышлял — о добре и зле, о природе человека, о сущности власти о том, можно ли достичь счастья. В то время в умах многих просвещенных людей царили идеи Руссо, полагавшего, что естественный человек, живущий вдали от цивилизации, должен быть гармоничным, доброжелательным и умиротворенным, что все беды европейцев связаны с разлагающим влиянием промышленности и науки А Форстер, побывавший на островах Тихого океана, пришел к выводу, что и здесь сильный подавляет слабого, богатый бедного, что счастья в этих девственных краях, напоминающих рай, не больше, чем в Европе. Значит, счастье не в дикости Но в чем? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, Георг Форстер станет впоследствии руководителем первого на германской земле демократического государства — Майнцской коммуны. А кончит он свою жизнь депутатом Национального конвента в возрасте всего лишь тридцати девяти лет. Немецкий ученый, родившийся в Польше, живший в России, ставший английским путешественником, умрет на руках польского эмигранта в голландском доме на парижской улице Мулен. Вот еще один штрих, характеризующий земные странствия нашего героя.

За двадцать шесть лет литературной деятельности Форстер опубликовал 286 статей, переводов и монографий. Его трудоспособность поразительна. Недавно в ГДР выпустили многотомное собрание сочинений Форстера, но и оно не смогло вобрать в себя все, что вышло из-под его пера. Врач, писатель, путешественник, рисовальщик, политический деятель, он был тревожной совестью Европы...

Чем интересна для нас, живущих в конце XX столетия, книга Форстера? Дело не столько в том, что увидел и описал Форстер, странствуя вокруг света, сколько в самом авторе. С каждой страницы книги встает человек необычного склада души, ищущий, честный, искренний. Каждая строчка «Путешествия...» окрашена непосредственным чувством, выражает мысль. Писать понятно о сложном и непонятном — трудное искусство, которым и сегодня очень мало кто владеет. Форстер владел этим искусством в совершенстве. Прочитав его книгу, ловишь себя на мысли, что судьба ее автора не могла быть заурядной, что ему суждено было пережить то, что не всякому под силу. Масштаб личности — вот мерка для художника и вот почему книга Форстера читается с упоением.

Автор не дает рецептов, как сделать людей счастливыми, нет их и поныне. Но,

с болью размышляя о жизни, этот еще очень молодой человек (по нынешним меркам почти юноша) помогает читателям стать здравомыслящими и честными, разоблачает в их глазах утопические суждения и инфантильные уходы от жизни. Объездив весь мир (в его времена на это отваживались очень немногие), он понял главное: счастье просто так не дается, нужно за него бороться и искать его не в дальних краях, а у себя дома. Он вполне преодолел то, что великие немцы — современники Форстера — называли «немецкой болезнью», имея в виду социальную пассивность, рефлексию, неуверенность в себе, уход в мир иллюзий. Вертер застрелился — Форстер стал революционером. И он же в пору больших надежд, связанных с революционным преобразованием мира, едва ли не первый обратил внимание на те беды, которые неминуемо вытекают из патологического властолюбия — этой чумы XX века. Современный мир так же далек от совершенства, как и мир, в котором жил Форстер; но если кто-нибудь сегодня усомнится в существовании великих сердцем и разумом людей, если задумается над вопросом, можно ли прожить в ладу со своей совестью, пусть он вспомнит о Форстере и обратится к его книге.

Всю свою жизнь Форстер был связан с Россией. В 1765—1766 годах еще мальчиком он вместе со своим отцом, выдающимся ботаником, объездил Поволжье. А после возвращения из экспедиции Кука напечатал несколько статей, в которых знакомил западноевропейских читателей с географическими открытиями россиян, показывал их приоритет в освоении Дальнего Востока. Между прочим, Форстер живо интересовался Пугачевым и его деятельностью, с сочувствием относился к крестьянскому восстанию в далекой России.

22 декабря 1786 года Екатерина II подписала приказ об организации первой русской кругосветной экспедиции. А через несколько недель после этого руководитель экспедиции Г. И. Муловский неожиданно покинул Петербург и направился в Вильно, входивший в те годы в состав Польши. Дело в том, что императрица пожелала, чтобы в экспедиции непременно принял участие профессор медицинского факультета Виленского университета Георг Форстер — так велик был его научный авторитет. Форстер принял предложение и стал усиленно готовиться к предстоящему путешествию, но тут вспыхнула очередная русско-турецкая война, Муловский погиб в одном из сражений, а 3 декабря 1787 года адмирал Сенявин известил Форстера об отмене экспедиции.

Можно добавить, что ни в одной стране мира (кроме, возможно, Германии) Форстера не ценили больше, нежели в России. Им восторгались Герцен и Чернышевский. Семейная драма Форстера, поразившая Европу необыкновенным благородством и добротой, которые сумели проявить все участники любовного треугольника, дала материал для романов Чернышевского «Что делать?» и «Повести в повести».

К сожалению, в нашей стране нет ни одного напоминания о Форстере. Ни в Вильнюсе, где наверняка есть улицы, названные именами куда менее значительных людей, ни в Саратове, ни в других городах, где он бывал. За всю свою жизнь этот гениальный самоучка лишь полгода ходил в школу, и это было в Петербурге! Школа, в которой он учился, сохранилась — это бывшая «Петершюле», что на Невском. В этом здании сейчас школа № 222. Увы, здесь тоже нет никаких знаков памяти о великом гуманисте, ученом и путешественнике. А ведь в Петербурге Форстер общался со многими известными деятелями отечественной культуры и науки, в том числе, возможно, и с Ломоносовым.

Выпущенная издательством «Наука» книга заполняет очень важный пробел в этом ряду — ведь русский язык был одним из немногих европейских языков, на котором «Путешествие...» до сих пор не появлялось. Правда, отрывки печатались и раньше (в сборнике «Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме». М. 1956), но в полном объеме книга вышла только теперь под редакцией и с подробными комментариями доктора исторических наук, лауреата премии имени Миклухо-Маклая Д. Д. Тумаркина — известного советского этнографа и историка, в 1971 и 1977 годах в качестве начальника этнографического отряда советского научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» посетившего почти все острова Тихого океана, где когда-то побывал Форстер.

Михаил БУЯНОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЗАКОН БЕТОННОЙ СТЕНЫ

В некоем городе решено было двинуть вперед дело общественного благоустройства — разбить на центральной площади нарядный сквер. Сквер получился на славу, но вот беда — квадратный этот сквер отсекал дорогу пешеходам, его зеленое полотно преграждало кратчайший путь от остановки автобуса до магазина и от пивного бара — до бани.

Топчут траву — поступил тревожный сигнал. Меры были приняты немедленно. Сквер обнесли деревянным забором В заборе тут же пробили дыру посетители бани в неукротимом стремлении освежиться пивком Свою дыру пробили и покупатели, не желая тащить покупки к автобусной остановке вокруг сквера.

«Да,— качали головами администраторы,— мало еще сознательности у людей Придется сделать ограду из бетона. Да надо бы и ввести ответственность за порчу забора и хождение по траве». Так и сделали Результаты не замедлили сказаться Статистика правонарушений заметно возросла. Выручки в бане, магазине и пивном баре, правда, упали, так как часть своих денег потребители тратили на уплату штрафов а часть своего времени — на преодоление преграды. Капля камень долбит. В бетонной стене появилась брешь.

«Ну, нет,— сказали администраторы,— так дело не пойдет Скверу надо придать охрану». Сказано — сделано Введение охранников потребовало некоторых административных расходов Было учреждено управление по охране сквера с соответствующими отделами, бухгалтерией, штатами, складами и профсоюзной организацией и стенгазетой Все было бы хорошо, но некоторые отсталые охранники (если говорить, так всю правду) стали брать с некоторых отсталых граждан взятки, мзду за возможность пройти к желанной цели кратчайшим путем В результате к статистике общих правонарушений прибавились и должностные злоупотребления

«Ах так,— вскипели администраторы,— так создадим же управление по контролю за охранением сквера» Но тут, однако, тревожная мысль пронзила сознание администрации: а кто же будет контролировать контролеров? Еще контролеры? И еще? «Вот что,— было сказано в этой связи,— проблема очень непроста Здесь без науки не обойтись» Мысль понравилась В управлении был создан научно исследовательский отдел Работа закипела Мнения (как и положено в науке) разделились Некоторые указывали на плохое качество бетона в стене, другие — на ее высоту, третьи — на недостаточную строгость наказания Отдельные упирали на личность нарушителей полагая у них наследственную предрасположенность к пробиванию стен «Братцы,— раздался вдруг свежий голос,— а может быть, ну ее, стенку? Может — вообще без нее? Посмотрим, как гражданам удобней ходить, и тогда тропинки, которые они проложат, заасфальтируем. А траву вокруг некому будет и топтать»

Проект был передан на рассмотрение специалистам — в управление по охране сквера. Ответ был отрицательным В нем указывалось, что преклонение перед стихией в лице пешеходов приведет к ущемлению принципа чистого квадратизма, положенного в основание сквера Особо отмечалась недопустимость сокращения штатов управления (не говоря уж о его — упаси боже — ликвидации). Автору же проекта один умудренный работник управления с глазу на глаз объяснил: «Узаконить тропинки крайне нежелательно Конечно, дыры на самом деле есть, есть и тропинки. Но сейчас любой идущий по ним — нарушитель И как таковой он в моей власти: хочу — пропущу, хочу — прихвачу... Зато со мною и здороваются многие в пояс — опасаются. Так что в известном смысле дыры-то нас и кормят »

Так было открыто существование важной социальной закономерности Ее можно назвать «законом бетонной стены».

Пустующий дом в деревне купить по закону, как известно, нельзя. Но можно по душам поговорить с владельцем, заплатить ему из рук в руки — и живи. Но живи да опасайся: как бы сельсовет, правление колхоза или дирекция совхоза не вмешались.

Приобрести оборудование, стройматериалы без лимитов и фондов по закону нельзя, но «по душам» — кому надо, строят. Опять же пребывая в тревоге и неуверенности: вдруг «прихватят». Переплачивать шабашникам, работающим по четырнадцать часов в сутки, никак нельзя, но не переплатишь — оставишь колхоз без коровника или склада. А заплатишь — сиди да оглядывайся по сторонам... Продавать лично тебе принадлежащий дом или дачу можно лишь по балансовой стоимости, но кто же их так продает, если реальная рыночная цена втрое, а то и вдесятеро выше. Захочешь купить, плати сколько запросят. Но опять же плати да оглядывайся. Примеры такого рода можно множить и множить, но пора уже задать вопрос: кому это выгодно? На кого он работает, пресловутый закон бетонной стены в бесчисленных его проявлениях?

«Общество,— писал Маркс,— основывается не на законе. Это — фантазия юристов. Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного материального способа производства интересов и потребностей, в противоположность произволу отдельного индивидуума». И в другом месте: «Законодатель же должен смотреть на себя как на естествоиспытателя. Он не *делает* законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных положительных законах внутренние законы духовных отношений. Мы должны были бы бросить упрек законодателю в безграничном произволе, если бы он подменил сущность дела своими выдумками».

Право выражается, воплощается в законах и не существует вне или помимо их. Однако вовсе не всякий документ, претендующий на роль юридического закона, становится частью действующего, реального права, направляющего и регулирующего поведение людей для удовлетворения их «интересов и потребностей». Вопрос, который может быть адресован такому документу с целью выявить его подлинную правовую природу, должен помочь установить, в каком соотношении предусмотренные в нем нормы находятся с этими интересами и потребностями, с «внутренними законами» человеческих отношений. Удаляясь от них, закон теряет свою правовую основу, перестает быть законным.

В чем же сила закона? Конечно, отсутствие санкций, реальной ответственности лишает нормы закона принудительной силы. Известно, как глубоко ранит общественное сознание, как возмущают нас факты разрушения, уничтожения памятников истории и культуры. Имеется и правовой акт — Закон об охране и использовании памятников истории и культуры. Есть и статья в Уголовном кодексе, где предусмотрено наказание за умышленное уничтожение, разрушение или порчу памятников истории и культуры либо природных объектов, взятых под охрану государства. Но вот какая важная норма содержится в законе. Там говорится о том, что предприятия, организации, учреждения и граждане, в пользовании которых находятся памятники, несут ответственность за их сохранность и обязаны соблюдать правила охраны, пользования, учета и реставрации памятников.

В чем же эта ответственность проявляется? Норма Уголовного кодекса сюда в большинстве случаев не относится, «умышленного» разрушения может и не быть, а вот пренебрежения, забвения, отсутствие заботы о сохранении памятника или природного сокровища, а тем более отсутствие мер по охране и реставрации встречаются сколько угодно... А в этом главное.

Мы подходим к важной особенности правового принуждения: иногда оно хоть и способно пресекать негативное, социально опасное поведение («умышленное повреждение»), но не в силах стимулировать позитивное, социально полезное действие («заботу», «реставрацию» и т. д.). Можно (да и то не всегда) заставить не поступать плохо, не быть плохим, невозможно заставить стать хорошим. Принуждение эффективно, если оно сдерживает или разрушает. Оно бессильно, если речь идет о созидании.

Вопрос здесь в том, как и почему забота о сокровищах истории и природы оказалась разлученной с решением управленческих, производственных и других задач. Это вопрос политики и экономики. Право, как известно, никогда не может быть выше, чем экономический строй и культурный уровень общества. Оно «не может быть выше» (Маркс), но в некоторых своих проявлениях может быть «ниже», то есть отставать от политического и экономического развития. Демократизация общества не может продвинуться без демократизации самого права. Оно должно

обеспечивать и гарантировать волеизъявление народа. А в этом деле принудительная сторона права — вовсе не главное. Реально работающий механизм социалистической демократии способен не только обеспечить реальную сохранность и приумножение сокровищ той же природы, но и дать импульс к их приумножению. Только такой механизм способен сокрушить стену бюрократизма.

В 1962 году в уголовном законе появилась максимально суровая санкция — высшая мера наказания за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, за ряд иных опасных корыстных преступлений. События недавнего времени показали, что число таких деяний не только не уменьшилось, а стало возрастать. Но вот что кажется важным: если крадут сто рублей, тысячу, десять тысяч — это проблема для уголовного права. Но вот если крадут миллион, два или три — то это уже проблема для политической экономии. Конечно, тут без наказания (и сурового) не обойтись. Но чтобы не быть вынужденными прибегать к нему вновь и вновь, следует одновременно поглядеть в корень существующих отношений экономического характера, разобраться в причинах и условиях, порождающих зло.

Еще характерный пример. На совещании в ЦК КПСС в ноябре 1986 года М. С. Горбачев подчеркнул: «Как пойдет у нас дело с повышением качества, так пойдут дела и во всем нашем народном хозяйстве». Как тут с ответственностью? Впервые закон об уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение стандартов был принят в 1929 году. С тех пор эта норма постоянно воспроизводится в законе. В 1938 году был принят новый закон «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции». Было сказано, что это есть «тяжкое противогосударственное преступление». В 1940 году вновь был принят подобный же закон, добавивший, что данное деяние «равносильно вредительству». Действующий сегодня закон также предусматривает уголовную ответственность за это преступление.

Итак, санкций хватает. А качество продукции? Оно всем известно. В чем же дело? Почему экономический интерес работников оказался не связанным с качеством производимой ими продукции? Почему эффективность хозяйственной деятельности оказалась разлученной с законодательным регулированием в сфере экономики? Возникает парадокс: то, что эффективно, подчас незаконно, а то, что законно, вовсе неэффективно... Решением тут может быть только кардинальная перестройка хозяйственного механизма — так, чтобы без бетонной стенки.. Хозяйственная демократия изыщет нужные тропинки, а право должно снабдить их юридическими гарантиями. Демократизация права — требование важнейшее. Из истории известно: под видом правового по форме акта может скрываться либо пустая декларация — право без санкции, либо вводиться произвольный запрет — санкция без права. Право не лозунг и не приказ. Право не голая декларация и не произвольный запрет. По самой глубокой своей сути оно есть «бытие свободы».

Ясно, что не семейное право создает семью, не трудовое право создает сам трудовой процесс, но вот какова будет семья и каким будет труд — право может попытаться определить. Сколь ни важны законы в сфере экономики, но право не создает экономических отношений, а лишь выражает, закрепляет эти отношения, с разной степенью эффективности регулирует их. Люди не перестанут любить друг друга и создавать семьи, трудиться, вступать в экономические отношения, даже если по небрежности законодателя где-то не будет издано соответствующих законов. Забывать это, ждать от права того, что оно по сути своей дать не может, значит уподобиться петуху, который уверен, что если он не прокукарекает, то и солнце не взойдет.

В основе социальных реформ должна лежать реальная политическая воля к изменению порядка вещей «по сути» Политическая воля, если она ведет к зримым переменам в действительных, эмпирических отношениях, наполняет реальным содержанием и законы, выражающие эту волю. Оторванное от жизни «правотворчество» может выполнять, впрочем, определенную функцию, а именно — создавать видимость перемен, подменять глубинную, реальную перестройку жизни звонкой фразой в красивом, но бесполезном законе либо вводить необоснованные и недейственные запреты, идущие поперек жизни. Это подмена дела словом, хотя и облеченным в юридическую форму, это средство избежать решения проблем по существу.

В любом своем виде право обращено к человеку. Поэтому нам так важно сейчас провести как бы инвентаризацию проблем, конфликтов нашей жизни с точки зрения права. С точки зрения прав — моих и наших. Как бы ни назывался конкретный закон, о чем бы в нем ни шла речь — о компетенции ли министерства, о промышленном ли предприятии, о правилах приема в вуз или о правилах прописки, о спорте или о культуре. Любой закон может быть (должен быть!) раскрыт с точки зрения того, как, почему и для чего он устанавливает право — мое, твое, наше — или как, почему и для чего он лишает права — нас, меня, его. Другого пути к реальной демократизации права, к развитию законодательных основ правового социалистического государства нет.

«Права, права,— слышу я голос читателя из числа самых, так сказать, сознательных.— А обязанности, ответственность? Как с ними?» А с ними вот как: об ответственности в подлинном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда человек обладает возможностью выбора среди разных вариантов поведения. Если такой возможности вовсе не было — то наказанием такого человека невозможно утвердить его ответственность. Его, конечно, можно заставить претерпеть лишения — личные или материальные, но это лишь покажет зависимое, подчиненное положение человека. Такая псевдоответственность не способна реально повлиять на поведение, так как за него по правде, по сути должен отвечать тот, чья воля реально и проявилась в его «зарегулированных» действиях. Подлинно ответствен тот, кто свободен. Чем шире права, тем реальней ответственность. И наоборот. Наказание без вины есть отрицание подлинной правовой ответственности. Говорят, что в древнем Китае, когда в одной из провинций случалось землетрясение, то по приказу императора мандарину — правителю провинции отрубали голову. «Меры приняты»,— вероятно, удовлетворенно вздыхал старательный император. Нетрудно представить себе подобные санкции и в не столь отдаленные времена. Право отрицает себя, если оно не служит мерой свободы. С другой стороны, оно отрицается и там, где подлинная вина остается без наказания, там, где пытаются утвердить свободу без меры, то есть произвол.

Вклад права в нашу жизнь, о котором мы мечтаем, не в том, чтобы предписать все и всем, определить, как и когда надо и не надо вести себя, а в том, чтобы установить и гарантировать внешние границы самостоятельного поведения человека, чтобы он строил свою жизнь столь свободно, сколь это совместно с такой же свободой других членов общества.

Но здесь, как говорят, возможны варианты. Присмотримся, например, поближе к Закону об индивидуальной трудовой деятельности. И сразу поставим кардинальный вопрос, от практического решения которого во многом будет зависеть реальное место этого закона в жизни страны, в развитии ее экономики. Индивидуальный труд — что это такое: конституционное право гражданина или некая привилегия, предоставляемая по усмотрению должностиых лиц? Конституционная основа индивидуального труда не вызывает сомнений — это норма, содержащаяся в статье 17 Конституции СССР. Помещена эта норма в главе 2-й — «Экономическая система». Стало быть, индивидуальная трудовая деятельность — полноправная составная часть экономической системы социализма. В соответствии с Конституцией «государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в интересах общества».

Но регулировать можно по-разному. Можно потребовать, чтобы граждане, желающие заниматься такой деятельностью, регистрировали ее в установленном порядке. Тогда регистрирующий орган лишь проверял бы, не противоречит ли она закону. Но кроме такого порядка возможен и иной — разрешительный порядок. Тогда гражданам можно заниматься лишь такой деятельностью, которая разрешается (или не разрешается) органом власти. Иными словами, в первом случае можно делать все, кроме того, что запрещено в законе, во втором — нельзя ничего, кроме того, на что есть разрешение.

Так вот, текст Закона об индивидуальной трудовой деятельности можно истолковать по-разному! Давая примерный перечень отдельных видов такой деятельности (в статьях 12, 15, 18), закон говорит, что «допускаются и другие виды» ее, «если занятие ими не запрещено законодательством Союза ССР и союзных республик». Запрет, стало быть, может исходить только от Верховного Совета СССР или его Президиума в форме указа или закона. Здесь ясно виден принцип: можно все, что

не запрещено законом. А вот статья 6 устанавливает, что «граждане, изъявившие желание заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, обязаны получить разрешение исполнительного комитета».

Возникают опасения, что получение такого разрешения окажется делом непростым. Если кто-то из должностных лиц решит, что заниматься можно только таким видом деятельности, который заранее разрешен исполкомом — то проблема усложнится до невиданных размеров (немыслим исчерпывающий перечень всех возможных видов индивидуального труда). Возможность отказов конкретным гражданам под этим предлогом может стать весьма реальной. Закон может забуксовать. В результате жизнь пойдет своим чередом. В заборе отказов, увы, будет пробита не одна нелегальная дыра со всеми известными последствиями — коррупцией, взятками и т. п. Государство не получит ожидаемых налогов, а племя леваков и шабашников пребудет в том же легально не признанном состоянии... Ясно различима здесь лишь одна свобода — свобода произвола для бюрократа. Иначе говоря, бетонная стена осталась, в ней — калитка, а у калитки охранник, который имеет право не пустить!

Если же на практике возобладает принцип: разрешены любые виды индивидуальной трудовой деятельности, кроме тех, что запрещены в законе,— то правовая природа Закона об индивидуальной трудовой деятельности выявит его подлинное социальное назначение: служить мерой свободы гражданина, занятого такой деятельностью. И это пойдет на пользу обществу, государству и каждому из нас. Иными словами, стенки нет, но дорожки портить и толкать прохожих возбраняется, что всех разумных людей должно устроить.

Издание закона стало быть, важный, но не конечный этап в реализации права. Как понимать и применять закон — вот в чем вопрос. Не следует недооценивать остроту возможных при этом конфликтов. Важно поэтому развивать и укреплять юридическую помощь гражданам с тем, чтобы, как говорил Ленин, «*научить* их (и помочь им) *воевать за свое право* по всем правилам законной в РСФСР *войны за права*». Законы должны вооружать граждан эффективными средствами для такой войны. Но с кем и как надо воевать за права?

При всем многообразии споров и тяжб граждан между собой, граждан с должностными лицами есть два основных способа их разрешить. Первый: пожаловаться наверх, второй — обратиться в суд. Кстати, Закон об индивидуальной трудовой деятельности предусмотрел, к сожалению, только первый, административный, порядок разрешения споров о праве на такой труд.

Ясно, что судебный порядок рассмотрения и разрешения споров демократичней. Суд свободен от «ведомственного интереса», дело решается в открытом процессе, участвует народ в лице своих заседателей. Однако большинство споров пока что решается не в суде, а помимо него, причем без всякой оглядки на закон. Уволенный с работы главный механик может жаловаться только наверх — начальству своего начальства, а просто механик — обратиться в суд, главный редактор и главный художник издательства — только «по вертикали», а просто редактор или художник — в суд. Словом, чем выше по команде, тем дальше от суда. Чем выше должность, тем менее демократичен порядок решения трудового спора (по поводу увольнения, перевода на другую работу, наложения дисциплинарного взыскания и т. д.). Почему? Почему директора завода можно вызвать в суд в качестве ответчика по иску рабочего к заводу, а сам директор такого иска к министерству в суд предъявить не может даже в случае, если его, например, освобождают от должности в нарушение закона? Почему суд может отменить незаконный выговор, вынесенный директором рабочему, но не может отменить такой же выговор полученный директором от министра? Ведь в статье 34 Конституции СССР прямо говорится о том, что граждане СССР равны перед законом независимо от «рода и характера занятий».

Таков существующий порядок Может быть, стоит к нему присмотреться, особенно теперь? Нет ли здесь дополнительного средства, способного вооружить хозяйственных руководителей в их войне за свои права, за хозяйственную самостоятельность трудовых коллективов? Тем более что недалек тот день, когда хозяйственника будут избирать, а проект Закона о государственном предприятии (объединении) дает руководителю предприятия кроме прочего, право требовать через Госарбитраж возмещения убытков, причиненных в результате выполнения незаконного распоряжения министерства, ведомства или другого вышестоящего органа. Такова,

по существу, судебная функция Госарбитража. Здесь руководитель предприятия вступает в спор с министром. Но равны ли стороны в этом споре?

В судебной форме «войны за права» реализуется принцип равенства всех перед законом и судом. «Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд»,— говорится в Конституции, но этого самого «установленного порядка» все еще нет. Что же будет решать суд, когда ему будет предоставлена возможность заниматься таким серьезным делом?

Незаконными действия должностного лица могут быть в случае, когда принимаемые им решения не основаны на подлинных фактах (например, по приказу администрации уволен за прогулы работник, на самом деле их не допускавший). Незаконным решение может быть и потому, что оно противоречит закону (работник допустил нарушение дисциплины, однако приказ о его увольнении незаконен потому, что от работника не были затребованы объяснения) Иными словами, должностное лицо может поступить вопреки закону, пытаясь применить его там, где фактически он нарушен не был. Решение должностного лица может противоречить действующим нормативам более высокого ранга — например, приказ директора противоречит нормам Кодекса законов о труде или приказ министра нарушает нормы Закона о государственном предприятии (объединении). Как быть в первом случае — ясно. Надо выяснить факты, доказать их и решить, законен или нет приказ должностного лица, то есть сопоставить приказ с фактами. Во втором же случае (они могут и совпадать) надо сопоставить такой приказ с законом и решить, не противоречит ли он этому закону.

Но противоречить закону может не только разовый приказ или решение администратора. Как быть, если, например, министерство издает инструкцию, противоречащую Закону о государственном предприятии (объединении)? Если исполком принимает решение, противоречащее Закону об индивидуальной трудовой деятельности?

Вопрос этот немаловажен. Путь нашего законодательства усеян остовами неплохих, быть может, законодательных норм, успешно парализованных ведомственными инструкциями и указаниями. Есть законы и есть подзаконные акты. Верховенство законов (и прежде всего Конституции СССР) — гарантия и основа законности. Но если изданный закон, формально обладающий высшей силой, на практике сводится на нет ведомственным («подзаконным»!) актом, то необходима система, гарантирующая восстановление решающей силы закона.

Вопросы подобного рода не просты Ведь и инструкции, конкретизирующие, разъясняющие закон, также необходимы Но когда возникает вопрос о том, не подменит ли инструкция (приказ и т. д.) действующий закон, нужен такой порядок рассмотрения спора, чтобы можно было взвешивать все «за» и «против» максимально беспристрастно, главное, демократично. Этим порядком должен служить судебный порядок. Если суд установит, что такие-то решения закону противоречат, это означает признание их недействительными, лишенными юридической силы. Такую функцию мог бы взять на себя Верховный суд СССР.

Установление судебного порядка рассмотрения споров о законности актов управления позволит не только более успешно вести «войну за права» конкретного человека в каждом отдельном случае, но и воевать за соблюдение норм, гарантирующих права каждого из нас в любой ситуации, в любом случае Практика такого рода повысит авторитет суда, подключит его к общей демократизации нашей жизни, станет серьезной школой демократии

«Ну, развели демократию»,— говорят иногда, наблюдая беспорядок, неразбериху, безответственность Отождествление демократии с отсутствием порядка — вовсе не безобидно. Ведь обратная сторона этого — отождествление порядка с полным отсутствием самостоятельности низов, когда все делается по командам. Получается, что возможен либо хаос, либо диктат, ничего третьего, нормального.

Демократия не только тип государственного, общественного устройства. Это не только способ управления делами общества в целом и экономикой в том числе Это также и определенный тип мышления, способ поведения людей в обществе Приглядитесь, как иногда спорят между собой ваши друзья Часто бывает так: горячо убежденный в своей правоте собеседник, к тому же вдохновленный «святой идеей» (о той же демократии, например), с ненавистью смотрит на несогласного с ним собеседника. Он не стесняется в эпитетах. Он готов на все во имя истины, как он ее понимает. Первый признак демократического мышления — терпимость к мнению других. Я уверен в своей

правоте и я буду отстаивать ее до конца, но я до конца буду отстаивать также и право других поступать точно таким же образом.

Чьи голоса слышны, когда решаются важные дела? Тех, кто стоит у станка, водит комбайн, кто лечит больных или учит детей, или только тех, кто командует, организует, руководит? Без организации нет производства, нет никакой целенаправленной, осмысленной продуктивной деятельности. Все беды начинаются там, где возможна организация без такой деятельности, без производства, вне производства, а подчас и вопреки производству.

В какой степени голос учителей, директоров школ решает суть школьной реформы? В какой степени голос рабочего, мастера, руководителя предприятия решает суть реформы в экономике? В какой степени голос врачей — суть перестройки системы здравоохранения? Голос актеров и режиссеров — реформы в театре и кино? Реальные, наиболее важные права — это не то, что дается, а то, чего нельзя отнять.

Кое-где звучащая гневная сентенция: «Распустили людей, развели демократию!» — порочна вдвойне. Она порочна по сути, ибо демократия и распущенность противоположны, сближать их — значит, клеветать на демократию. Она вредна и по его целям — противостоять прогрессивным переменам. Силу такого противостояния не стоит недооценивать.

Школа демократии — дело подчас суровое. Экономическая самостоятельность предприятий предполагает не только свободу преуспеть, но и возможность понести убытки. Если реальна прибыль, то реальны и потери. Возможность больше зарабатывать — для тех, кто хочет и может трудиться, ударит по тем, кто отвык от честного труда. Обидно оказаться и неизбранным, забаллотированным. Труднее и управлять, согласуя свои действия с коллективом,— надо уметь и убедить и склонить к верному решению. Быть может, это не всегда и не всем удается... Но другого пути нет.

А. ЯКОВЛЕВ,
доктор юридических наук,
лауреат Государственной премии СССР,
профессор.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ФРИДЕБЕРТ ТУГЛАС. Небесные всадники. Новеллы, миниатюры, маргиналии. Таллин. «Ээсти раамат». 1985. 350 стр.

ФРИДЕБЕРТ ТУГЛАС. Маленький Иллимар. Роман, новеллы, миниатюры, маргиналии. М. «Художественная литература». 1986. 687 стр.

За семь десятилетий работы в литературе Фридеберт Туглас (1886—1971), народный писатель, член-корреспондент Академии наук Эстонской ССР, выпустил сто пятьдесят книг прозы, статей, эссе, воспоминаний, путевых заметок. Лишь малая часть всего этого переведена на русский язык. Пробел заполняется медленно. Хотя уже сейчас ясно, что талант Тугласа — понятие не относительное, не региональное, и обе книги, вышедшие к столетнему юбилею писателя,— убедительное тому подтверждение.

Специалисты связывают творчество Тугласа с именами Гофмана, Л. Андреева, Уайльда, По. Сам Туглас в числе великих книг, подаривших ему «мгновения открытия мира и себя», называл «Заратустру» (категорически оговариваясь: «я... воспринимал Ницше как поэта, а не философа»), «Калевалу», «Бхагавадгиту». А если добавить сюда имя Горького, то станет ясно, насколько странным и необычным предстает перед читателем (при таком-то сочетании «истоков») мир, заключенный в обложках «Небесных всадников» и «Маленького Иллимара».

Все так и есть. Даже не мир, а целая система удивительных миров. «Давайте писать так,— предложил однажды Туглас,— как мы думаем, и давайте мыслить ярче, чем мы обычно пишем! Нелегко следовать этому правилу, но надо хоть попытаться». Фредеберт Туглас писал и думал о человеке «со внезапно воспарившими мыслями». Таков едва ли не каждый герой писателя...

Прикосновение к мечте, предощущение счастья и устремление к нему мыслью и делом — этапы «воспарения» героев Тугласа. Не каждому из них суждено пройти этот путь до конца. Нет и не может быть счастья, одинакового для всех. Бесконечное, безграничное счастье для Тугласа — неопределенность, метафора. Виртуозно владея приемом метафоры как таковым, Туглас остается предельно безыскусным там, где дело касается его убеждений, его мировоззрения.

«Счастье — это движение, превращенное в покой»,— скажет своему возлюбленному девушка в новелле «К своему солнцу (Сказка нашего времени)». «Счастье в прогрессе. И его можно достигнуть только ценой борьбы»,— возразит ей возлюбленный. Таковы полюса счастья в прозе Тугласа. Помещая своих героев в промежуток между этими полюсами, испытывая их характеры «на разрыв», Туглас очень часто идет на гиперболизацию, искажение реальности, на смещение ее в сторону мира снов и фантазий. Но ирреальный, фантастический мир Тугласа потрясает своей достоверностью. «Путь в ирреальность лежит только через реальность»,— утверждал писатель. И если говорить об эстетике Тугласа, стоит замкнуть эту формулу, поскольку сама по себе ирреальность здесь — прием, промежуточная станция на пути следования героя, не более. Все начинается и заканчивается земным.

Ю. Н. Тынянов в одной из своих работ писал: «Вещь нужно как-то сломать, чтобы почувствовать ее внове». Реальность как раз и стала такой «вещью» для Тугласа. Ломая ее, писатель раз за разом добивался непривычного освещения «извечного конфликта духа и плоти» — центрального в прозе Тугласа,— обнаруживая в нем все новые грани, оттенки. И делал он это, кажется, с одной только целью: вернуть первозданность, непреходящую ценность итогу, к которому неизбежно приводил «воспарившего» вслед за героем читателя: «...Жить только для себя... это все равно что вовсе не жить!»

Оценивая свой путь в литературе, Ф. Туглас как-то сказал, что это скорее не путь, а тропа. Время, однако, распорядилось иначе. Влияние писателя на современную эстонскую прозу неоспоримо. Иногда оно отчетливо проявляется фактически во всех компонентах произведения (в романах «Шарманка» и «Гонка» Э. Беэкман, в повести «Звенит, поет», а также в новеллах Т. Калласа), иногда сказывается только в интонации («Кофейные зерна» М. Траата) или в отдельных принципах сюжетного построения (новеллы А. Валтона), но в любом случае оно есть, а это уже само по себе верное доказательство значимости сделанного писателем.

Книги, говорил он, «это экстракт жизни. Ее избранные страницы: красота и величие жизни, пустота и пошлость жизни». Читая книги самого Тугласа, вспоминаешь эти слова. Вспоминаешь, утверждаясь в их справедливости.

Евг. Каичуков.

Загорск.

★

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. Ипостась. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 95 стр.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. Самая суть. Стихи. М. «Советский писатель». 1987. 400 стр.

От первой книги «Стихи о долге» до «Ипостаси» и избранных стихов Евгения Винокурова, вошедших в сборник «Самая суть»,— целая жизнь. А с годами многие поэты как бы «устают», и вдохновение превращается порой в нечто вроде ксерокса, механически множащего давние мысли, былые чувства. Читая «Ипостась» и «Самую суть», сравнивая стихи разных лет, отчетливо видишь, что Винокуров счастливо избежал этой опасности.

Оправданно ли название — «Ипостась»? В нем намек: автор выступает в новом облике, то есть обновляет свою поэтику, расширяет круг тем. Книга убеждает: название оправданно. Появилось то, чего не было раньше — стихотворное повествование, рассказ с присущими этому жанру разговорной интонацией и диалогом. Стихи стали многострочнее, но не за счет облегченного словотворчества. Пересказы мифов, «экстракты» из них, а также рифмованные повествования не менее поэтичны, чем традиционная для творчества Винокурова лирика.

Кто-то заметил, что поэзия в поэтическом рассказе растворена, как кусок рафинада в стакане воды. Я бы предпочел иное сравнение. «Удельный вес» поэзии в лирических стихах сравним с плотностью экзотических кометных ядер. Но повествование, особенно длинное, не может, да и не должно, состоять только из ядер. На больших пространствах поэтическое вещество обязательно разреженно — это закономерность. И существует лишь в таком виде, какой бывает у кометного шлейфа, придавая всему тексту некое звездное свечение.

Новые винокуровские стихи светятся. Но в отдельных строках (тут автор верен себе) их рассеянная материя концентрируется в ядра. В главном — в неуклонном следовании избранной еще в молодости генеральной поэтической линии — он неизменен. И это очень хорошо. По-прежнему его волнует тема сопряжения в мире, в искусстве высокого и низкого. Небесного и земного. Маяковский сказал, что гвоздь в сапоге страшнее, чем фантазия Гёте. У Винокурова этот гвоздь стал символом. Гвоздем его философско-поэтической программы, и это не каламбур. Только винокуровский гвоздь прихватил шляпкой и высокие материи, возвышенное. Он сколотил небесный паркет с квартирным. Вот строки о Данте и его любви к Беатриче: «Странно думать, что Данте, спагетти поев до отвала, развалившийся в кресле дремал. И стоял где-то образ необычной девицы в изголовье его, далеко, далеко в вышине... Вот она восседает, поводья держа, в колеснице выше нашего мира и с богом самим наравне!.. Нет, не зря Беатриче над ним своим нимбом сияла, с неземною улыбкой своей на прекрасном лице! Но жена ему ноги укутала в одеяло и пошла потихоньку к себе со свечой и в чепце...»

Примеров такого сопряжения в винокуровском творчестве много. В одном из давних стихотворений он писал о том, что поэзия и проза смертельный бой ведут между собой. Это верно Но верно и то, что их противостояние образует вечную диалектическую гармонию мира. Равно как и гармонию искусства, поэзии. У Винокурова прозаична порой не только идея стихотворения, но и его форма, сама словесная ткань. Один из любимых поэтических приемов Винокурова — нарочитая ровность, подчеркнутая сухость строк. Владение этим приемом требует большого мастерства. Скажем, казалось бы, неэкспрессивное стихотворение «Что ж, их жалейте...» кончается строками: «Но все-таки скажите:— Я покину, коль будет надо, эту вот — одну!.. Привязанность страшна и к кокаину, и к женшине, и к славе, и к вину...» В этом внешне спокойном рассуждении свернута могучая пружина чувства. Живого. Истинного. Страстного.

В новой книге поэту не изменила и прежняя зоркость, умение схватывать и изображать колоритные детали. Вот картинка в стихотворении «Конец. Империи Российской...»: «Чего желать им в доле низкой, прося на хлеб и на ночлег? Под дождиком, на мокрых плитах, пестра, от голода тупа, печальных нищих родовитых переминалася толпа. И у имперского портала, меж государственных колонн графиня робко продавала свой институтский медальон. И, в грудь себя рукою бивший, со шляпою в другой руке, морщинистый сановник бывший пел на французском языке...»

Если стихи по-настоящему нравятся, впечатляют, хочется не только из них цитировать, но и приводить целиком, а поскольку в короткой рецензии это невозможно, отсылаю читателя к книге, особенно к таким стихотворениям «Ипостаси», как «Провинция», «Чай», «Будни», «Фургон военторга», «Скоморохи», «Зал», «Примирение», «Медынка», «Беатриче», «Он к нам с полигона...», «Петроний», «Афродита», «Тело», «Тертей», «Алкивиад», «Одна», «Мыслители».

Эти стихи свидетельствуют о постоянном поэтическом самоконтроле автора, о его тонком чувстве поэзии.

В. Сикорский.

★

Д. МАКСИМОВ. Русские поэты начала века. Л. «Советский писатель». 1986 406 стр.

«Юность моя — юность гения. Я жил и поступал так, что оправдывать мое поведение могут только великие деяния. Они должны быть, или я буду смешон. Заложить фундамент для храма и построить заурядную гостиницу...» — записал в своем дневнике 9 апреля 1898 года двадцатипятилетний литератор. Дерзостью и самоупоением молодости веет от этих строк. Молодости не только их автора, но и века, еще даже не наставшего, еще только имевшего настать два года спустя. Но поэты уже тогда чувствовали его дыхание. Дыхание не только календарного двадцатого столетия, но и в подлинном смысле нового века, нового времени, сулящего «неслыханные перемены, невиданные мятежи».

Автора дневника звали Валерий Брюсов. Статьей о нем — «Брюсов. Поэзия и позиция» — открывается книга известного ленинградского ученого Д. Максимова «Русские поэты начала века». Внимательный читатель может узнать в этой статье абзацы и целые страницы из предисловия к брюсовскому томику в малой серии «Библиотеки поэта», вышедшему еще в 1952 году. Однако в целом перед нами — безусловно новая работа, несравненно глубже и шире раскрывающая «феномен Брюсова». А такой феномен безусловно существует. Сколько ни говорится о рациональности, «математичности», «рукотворности», а стало быть, постижимости брюсовского поэтического мира, он остается во многом загадкой. Не случайно художника подобного склада — даже в меньшем масштабе — в нашей поэзии больше не было, хотя и роились когда-

то вокруг поэта «десятки новоявленных брюсовцев» (А. Белый). Марина Цветаева говорила о «сальеризме» поэзии Брюсова. Ю. Айхенвальд — о «величии преодоленной бездарности». «Брюсов холоден,— ворчливо писал Леонид Андреев,— как рассудительный покойник на 20-градусном морозе. Болел ли у него хоть раз живот?» И сам Брюсов восклицал, набрасывая для себя программу: «Прочь, чувство! Царствуй, мысль!» И чуть выше: «Надо работать! Надо что-нибудь сделать! А то столько говоришь о себе, а нет ничего: становится чуть ли не смешно! За работу, жизнь не ждет!..»

Итак, решительное предпочтение мысли чувству — но с какой страстью, с каким всесжигающим ч у в с т в о м об этом сказано! И как характерны для Брюсова глаголы «работать», «сделать», как органичны в его стихах «строительные», созидательные образы. Он и был созидателем. «Поэзия Брюсова в большей мере сооружение, чем стихия и созерцание»,— справедливо резюмирует Д. Максимов. Именно эта страсть созидания, тяготение к духовному максимализму, героике — а отнюдь не конформизм, не рационалистические выкладки ума — привели былого приверженца поэзии индивидуалистической, противополагаемой «грубой жизни» в ряды сознательных строителей нового мира. Это убедительно показано в книге.

Поэт огромной эрудиции, Брюсов насыщал свои стихи несметным количеством образов, связанных с различными пластами человеческой культуры, питая особое пристрастие к античной мифологии. В поэзии его современника — и смолоду почитателя — Александра Блока античность почти не присутствует. Однако не случайно статья о нем названа «О мифопоэтическом начале в лирике Блока». Мифологизация поэтического мышления для Блока — характернейшая черта. Недаром в такой развернутый миф трансформируется история земной любви в юношеских «Стихах о Прекрасной Даме», недаром и «упругие шелка» Незнакомки из позднейшего стихотворения, которую дотошные следопыты ухитрились «вычислить» чуть ли не по имени, «веют древними поверьями». Какими путями идет эта мифологизация, как реализуется в слове — все это интересно и убедительно раскрыто в статье. Справедливости ради следует отметить, что работа о Блоке адресована все же сравнительно более узкому кругу специалистов, чем статья о Брюсове. Не всякий даже ревностный читатель и пониматель Блока осилит насыщенные сложной терминологией периоды.

Это же в известной мере относится и к статье «О романе-поэме Андрея Белого «Петербург» (К вопросу о катарсисе)». Здесь — тоже торжество научной лексики вплоть до воспроизведения слова «катарсис» древнегреческими литерами. Хотя сам разговор о катарсисе (по Аристотелю: очищение посредством сострадания и страха) весьма актуален сегодня, ибо напрямую связан с проблемой критического воспроизведения многосторонней действительности.

Зато самому широкому кругу ценителей поэзии будут интересны статьи из второго, меньшего по объему мемуарного раздела книги, куда вошли статьи «О том, как я видел и слышал Андрея Белого» и «Об Анне Ахматовой, какой помню». Написанные ярко и живо, они счастливо избегают главных опасностей, грозящих такого рода работам: излишнего бытового заземления и, наоборот, иконописной благости. Читая об Андрее Белом, который в начале 20-х годов замерзал в нетопленых комнатах и стоял в очередях за капустой, мы ни на минуту не забываем, что перед нами прежде всего писатель, большой поэт. Написанному с любовью и пиететом портрету Ахматовой придают объемность упоминания о «легких облачных образованиях, набегающих... на прекрасный и величавый образ»,— таких, как повышенное иногда внимание к «знакам признания и почета» или что-то вроде ревности к славе чужой.

У исследователей поэзии начала века сегодня много работы. Возвращены в активный читательский обиход многие имена (теперь мы можем сказать: никогда и не забывавшиеся подлинными «читателями стиха») — Гумилев, Ходасевич, несколько ранее — Волошин, Клюев, Сологуб, Северянин Растет интерес и к творчеству Брюсова и Блока, Белого и Ахматовой. И в этом смысле выход книги Д. Максимова, вобравшей в себя труды многих лет, представляется весьма своевременным.

Илья Фоняков.

Ленинград.

★

ГРИГОРИЙ УЛАЕВ. В дни годины горькой. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 1986. 142 стр.

Большинство воспоминаний об Александре Трифоновиче Твардовском — К. Симонова, В. Каверина, А. Кондратовича, Ю. Трифонова, В. Лакшина и других — посвящены Твардовскому — редактору «Нового мира», его жизни и творчеству в 50—60-е годы.

В книге Григория Улаева Твардовский показан в годы войны. Работа на посту редактора «Нового мира» была впереди, но уже тогда именитый поэт заинтересованно, увлеченно поддерживал творчество товарищей по работе, фронтовых литераторов, уже тогда обнаружились качества, которые позже так ярко проявились в Твардовском-редакторе.

Улаев, армейский журналист, вместе с Твардовским работавший в «Красноармейской правде», не был близким другом Александра Трифоновича, но на его глазах проходила фронтовая редакционная жизнь поэта, он был среди первых слушателей стихов Твардовского, наблюдал, как создавался «Василий Теркин».

Мы видим Твардовского в березовой роще, в стороне от редакционного поезда, склонившегося над общей клеенчатой тетрадью, а на следующее утро — в столовой: сидит на спинке стула, ноги на сиденье — самодельная трибуна, читает сотрудникам редакции написанные накануне стихи.

«Красноармейская правда» направляла журналистские десанты в горячие точки, и среди них постоянно был поэт Твардовский. Он первым — вечером 23 сентяб-

ря 1943 года — вошел с конниками, штурмовавшими железнодорожную станцию, в Починок — районный центр его отчего края. Потом была освобождена родная поэту деревня Загорье. Известен снимок фронтового фотокорреспондента В. И. Аркашева: А. Твардовский на отцовском подворье возле комля старой груши, снесенной снарядом.

Как первый свидетель Твардовский написал о разрушенном фашистами Смоленске: «Дымок из форточки подвала, тропа к колодцу в Чертов ров... Два только года. Жизнь сначала — с огня, с воды, с охапки дров». В ноябрьские дни 1943 года Александр Трифонович вынес на суд товарищей поэму «Дом у дороги»...

Так, день за днем, освещает Григорий Улаев жизнь фронтовика Александра Твардовского. «В наш бункер на Вороньей горе (редакция передвигалась вслед за линией фронта.— *Н. М.)* Твардовский ворвался 18 декабря вместе с воем и свистом разбушевавшейся вьюги. Мы поняли: прибыл с чем-то экстренным. И, естественно, вслед за его просьбой послушать стихи стали выпытывать, кому или чему они посвящены.

— Обращаются и к вам,— заявил он, еще более заинтриговав нас. Стихи адресовались «Бойцу Западного фронта».

...Со свежего набора их поставили в верставшийся номер».

В феврале 1945 года после тяжелого ранения скончался генерал армии, дважды Герой Советского Союза Черняховский. Скорбели все. А. Т. Твардовский написал знаменитое стихотворение «Памяти полководца». Оно было опубликовано в одном номере с правительственным сообщением. А. Т. Твардовский сопровождал покойного полководца из Восточной Пруссии... На траурных митингах не выступал. Но его стихи повторяли многие.

В книге рассказывается, как Твардовский готовил совещание писателей-фронтовиков, которое проводили политуправление фронта и редакция «Красноармейской правды», как дописалась «Книга про бойца» и как в июне 1945 года подполковник Твардовский прощался с «Красноармейской правдой»:

«Твардовский уехал, однако незримо он еще долго оставался в коллективе, среди нас. Казалось вполне возможным его появление в салон-вагоне, в столовой, на редакционной летучке. Стоило лишь подумать о нем, и он войдет — высокий, стройный, со спадающей на лоб прядью русых волос, и мы услышим его глуховатый задушевный голос».

Книга Григория Улаева — свидетельство однополчанина, которых остается все меньше и меньше.

Н. Макарова.

★

Е. В. АНИСИМОВ. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М. «Мысль». 1986. 238 стр.

Промежуток времени от Возрождения до Просвещения для России уплотнился в одно XVIII столетие.

Роль петровских преобразований на заре этого века очевидна. Очевидны и тенденции реакции, частичного отступления от них при первых преемниках Петра (особенно в эпоху бироновщины), и явный, демонстративный возврат к петровским заветам в царствование «дщери Петровой». Автор рецензируемой книги показывает, однако, что истинное положение дел было сложнее, противоречивее. Старания Елизаветы оказывались подчас лишь показными. Например, русский флот, могучий в начале ее царствования, в конце его влачил жалкое существование, в Семилетнюю войну «больше боялся свежего ветра, чем неприятеля: корабли теряли прогнивший рангоут, давали течь, тонули». Бумаги Петра никто не разбирал, не изучал. Многие участники елизаветинского переворота, направленного против засилья иностранцев, чаяли возвращения не к петровской, а к допетровской политике, к изоляции России на мировой арене. От этих своих соратников Елизавете очень скоро пришлось под всяческими предлогами отделываться.

Ровесница полтавской победы, красавица, любимица Петра, Елизавета была относительно милосердной правительницей (она отменила смертную казнь), но именно при ней окончательно сложилась неслыханная по своему цинизму система нового рабства. У крестьянина была отнята последняя видимость каких-то прав, он стал живой собственностью. Как раз в этот период процветала в Москве на Сретенке знаменитая Салтычиха, садистка, прилюдно замучившая до смерти более сотни своих дворовых (в основном женщин).

«Веселая царица» меняла платья каждый день, и точно так же по последней парижской моде должны были роскошествовать ее придворные, весь высший свет. Елизавета вводила это безумное расточительство жестко и неуклонно, как ее отец — ассамблеи и корсеты.

Процветал фаворитизм. Фаворит И. И. Шувалов — человек просвещенный, интеллектуал и философ — тщетно уговаривал царицу ввести «фундаментальные и непременные» законы, гарантирующие непереход монархии в деспотию. Более успешной была его деятельность, направленная к поощрению отечественных талантов. Шувалов покровительствовал Ломоносову, способствовал появлению университета в Москве, гимназий, Академии художеств. Пытался Шувалов и бороться с возрастающей продажностью, лихоимством чиновников и дворянства. «Всемилостивейшая государыня! — писал он.— Воззрите на плачевное многих людей состояние, стонущих под игом неправосудия, нападков, грабежей и разорениев». В последние годы жизни царица под его влиянием пыталась с помощью указов несколько очеловечить систему управления, перестроить психологию «истинных детей отечества» — дворян, получивших в полное свое распоряжение страну с ее населением. Похоже, эти попытки были искренними, но результата они не имели. Гораздо более трезвая и умная Екатерина II отчетливо сознавала

свою зависимость от управляющего звена: «Если посмеешь сказать, что они (крепостные.— А. Г.) такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями».

И все-таки система, заложенная Петром, была настолько крепкой и жизнеспособной, подчеркивает Анисимов, что ни бездумно-жестокая вакханалия бироновщины, ни елизаветинское легкомыслие не остановили развития страны. К 1780 году по выплавке чугуна Россия чуть ли не втрое превосходила экономического лидера западного мира — Англию. Россия блестяще выдержала испытание на прочность в противоборстве с военной машиной Фридриха II — лучшего полководца того времени. Наука (в лице Ломоносова) вышла на мировой уровень. В культуре исподволь готовилось появление Пушкина, Гоголя, Толстого... Экстенсивный путь развития за счет предельного ужесточения эксплуатации крепостного населения, с одной стороны, еще обеспечивал экономический рост страны, с другой — приближал предел, закладывал основы грозных потрясений. «В елизаветинское время уже родились те, кто позже встал под знамена Пугачева» — такими словами заканчивается книга Анисимова.

А. Гангнус.

★

И. Е. БАРЕНБАУМ, Н. А. КОСТЫЛЕВА. Книжный Петербург — Ленинград. Л. Лениздат. 1986. 447 стр.

Книг по истории русского издательского дела и книжной торговли выходило очень мало, а по истории книжного Петербурга — Ленинграда не было практически ни одной. М. О. Вольф, П. П. Сойкин, К. Л. Риккер, А. Ф. Девриен, В. С. Эттингер, Н. П. Карбасников, Ф. Ф. Павленков, Н. И. Новиков, А. Ф. Смирдин, Я. А. Исаков, А. Ф. Базунов и многие другие издатели, типографы и книгопродавцы, о которых рассказывают И. Е. Баренбаум и Н. А. Костылева, показали выдающиеся примеры преданности книге и приверженности делу просвещения. В свое время А. Я. Бруштейн, хорошо знавшая многих русских издателей предреволюционной поры и отмечавшая их фанатическую веру «в высокую полезность книжного дела, в святость его предназначения», писала: «Для людей, не заставших уже дореволюционного прошлого, это, быть может, покажется даже странным, маловероятным, но люди моего возраста хорошо помнят, что среди книгоиздателей это встречалось, среди них бытовало такое отношение к своему делу, такая вера в его высокую чистоту. Нужно сказать, что это не было лишено смысла и основания. Ведь представлять себе книгоиздателя того времени только как некоего «хапугу-капиталиста» с единственной целью ограбастать деньги, обманывая потребителя и эксплуатируя своих рабочих, нелепо...»

Сейчас, когда у нас появился ряд книг о русских издателях, эти слова могут показаться анахронизмом. Но еще лет двадцать назад, когда мы вместе с А. М. Адмиральским написали книгу об издателе П. П. Сойкине «Рыцарь книги», нам пришлось пять лет доказывать, что нельзя считать книгоиздателей «хапугами-капиталистами». К сожалению, рецидивы такого подхода, ставящего во главу дела не выпущенные книги, а капитал, полученный от их продажи, до сих пор дают себя знать в некоторых работах об отечественном книгоиздании.

И. Е. Баренбаум и Н. А. Костылева показывают, что с именами многих русских издателей и типографов, доживших до революции, связано и зарождение советского книжного дела. Уже в преклонном возрасте они все свои силы и весь свой богатейший опыт отдают молодой Советской стране. Вот лишь несколько примеров. Петр Петрович Сойкин, издатель известного дореволюционного естественнонаучного журнала «Природа и люди», после Октября работает в различных советских типографско-издательских учреждениях, назначается заведующим полиграфической секцией ВСНХ, а с 1922 года, после введения нэпа, снова становится во главе издательства «П. П. Сойкин», выпуская такие популярные в 20-е годы журналы, как «Вестник знания», «Мир приключений», «Природа и люди». Продолжает работать Николай Павлович Карбасников, прославившийся до революции выпуском учебно-педагогической литературы, фирма Василия Сергеевича Эттингера по-прежнему выпускает журнал «Практическая медицина», функционируют издательства А. Ф. Маркса, Брокгауза и Ефрона.

Особый интерес представляет в книге обзор кооперативных и частных издательств Петрограда, возникших в первые годы советской власти. О них мы пока очень мало знаем, а ведь эти книгоиздательские фирмы также внесли существенный вклад в развитие просвещения и культуры. После октября 1917 года начинали свою деятельность Ф. И. Седенко (издательство «Колос»), И. Р. Белопольский («Начатки знания»), А. А. Белопольский («Научное книгоиздательство»), Ф. Ф. Нотгафт («Аквилон»), Л. М. Клячко («Радуга»), С. М. Алянский («Алконост»), да и не только они. В преемственности лучших демократических традиций русского и советского издательского дела я вижу основной пафос книги «Книжный Петербург — Ленинград», написанной с большой любовью и теплотой по отношению к книжным старателям России.

С. Белов.

Ленинград.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О социалистическом строительстве 463 стр. Цена 95 к.

А. Зурабов. Тетрадь для домашних занятий. Повесть о С. Тер-Петросяне (Камо). («Пламенные революционеры») 231 стр. Цена 90 к.

Октябрем мобилизованные. Женщины-коммунистки в борьбе за победу социалистической революции. 286 стр. Цена 90 к.

В. Усов. Огненное предзимье. Повесть о Степане Разине («Пламенные революционеры») 334 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Баратынский. Стихотворения. («Русская муза») 303 стр. Цена 1 р. 20 к.

Изборник. Повести Древней Руси. Вступительная статья Д. Лихачева. («Классики и современники») 447 стр. Цена 1 р. 90 к.

Луций Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. Перевод с латинского. («Библиотека античной литературы. Рим»). 543 стр. Цена 2 р. 90 к.

Русская классическая эпиграмма. 359 стр. с илл. Цена 2 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Воронский. Искусство видеть мир. 701 стр. Цена 3 р. 50 к.

День поэзии. 1986. 254 стр. Цена 3 р.

Л. Зорин. Странник. Роман, повесть. 349 стр. Цена 2 р. 10 к.

Е. Книпович. Об Александре Блоке. Воспоминания. Дневники. Комментарии. 143 стр. Цена 65 к.

«ПРОГРЕСС»

Ф. Гарсиа Лорка. Самая печальная радость... Художественная публицистика. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 505 стр. с илл. Цена 1 р. 20 к.

А. Карпентьер. Превратности метода. Роман. Перевод с испанского. 334 стр. Цена 2 р.

М. Фриш. Листки из вещего мешка. Художественная публицистика. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 320 стр. с илл. Цена 1 р. 30 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Болгарин, Г. Северский. Адъютант его превосходительства. Роман 440 стр Цена 1 р 70 к.

А. Збых. Ставка больше, чем жизнь Повести Перевод с польского 638 стр. Цена 4 р. 90 к.

Ле Тян. Операция «Альфа». Повесть. Перевод с вьетнамского. 235 стр. Цена 1 р. 60 к.

Г.-Г. Хайден. Фальшивые друзья. Роман. Перевод с немецкого. 168 стр. Цена 1 р 20 к.

«ИСКУССТВО»

С. Асеннн. Мир мультфильма. Идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран. 307 стр. с илл Цена 2 р.

А. Боткина. Павел Михайлович Третьяков. 3-е изд. («Жизнь в искусстве») 367 стр. с илл. Цена 2 р. 10 к

Ю. Рихтер. Фиктивный брак. Рассказы, монологи, сценки, драматургия. 143 стр Цена 35 к.

«НАУКА»

Я. Голосовкер. Логика мифа. («Исследования по фольклору и мифологии Востока») 218 стр. Цена 1 р.

Т. Пострелова. Творчество Сюй Вэйхуна и китайская художественная культура XX в. 264 стр. с илл. Цена 2 р. 10 к.

Н. Шмелев. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия. 205 стр. Цена 1 р 60 к.

Д. Эттенборо. Под тропиком Козерога. Перевод с английского. («Рассказы о странах Востока») 375 стр. Цена 1 р. 90 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Веселый. Россия, кровью умытая. Роман. М «Правда». 446 стр Цена 2 р. 60 к.

И. Знедонис. Поэма о молоке. Поэма о хлебе. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 222 стр. Цена 80 к.

Е. Ростопчина. Талисман. Избранная лирика Драма. Документы, письма, воспоминания. («Московский Парнас»). М. «Московский рабочий». 319 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Черкасов. Из записок сибирского охотника. («Литературные памятники Сибири»). Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 576 стр. Цена 2 р. 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, А. И. Стреляный, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.03.87 г. Подписано к печати 28.04.87 г. А 08950.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п. л (23,8 усл.-печ. л.) 27,03 уч.-изд. л.

Тираж 490.000 экз. (1-й завод 1 — 210.000 экз.). Зак. 1075.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1987, № 6, 1—272.